

Александр Овчаренко



**В КРУГУ
ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА**

Из записок 1968–1988-х годов

•

Александр ОВЧАРЕНКО

В КРУГУ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА

Из записок 1968-1988-х годов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В записках А.И. Овчаренко собраны разговоры, беседы ученого с великим русским писателем Л.М. Леоновым с 1968-го по 1988-й годы.

В 1968 году была начата работа по изданию Полного собрания сочинений М. Горького. Главным и почетным редактором его назначили Л.М. Леонова, которого в начале его творческого пути заметил и поддержал Горький. Один из самых известных горьковедов — А.И. Овчаренко, — по существу, вел это издание. Он участвовал и в первом послевоенном издании произведений Горького, теперь же возглавил Полное собрание сочинений писателя, которое должно было издаваться на солидном академическом уровне сотрудниками Института мировой литературы им. А.М. Горького Академии наук СССР.

Постоянные разговоры о Горьком, отразившиеся в записках, могут быть объяснены не только интересом к нему, но и существованием чисто «рабочих» вопросов, возникавших при подготовке издания.

А.И. Овчаренко был знаком с Л.М. Леоновым еще в студенческие годы и посещал его творческий семинар. Но впоследствии общения между ними не было, и только с 1968 года оно стало постоянным, почти повседневным. Многие из записанного А.И. Овчаренко не вошло в этот сборник. Но и того, что вошло, вполне достаточно, чтобы судить, сколь жизненными и разнообразными были беседы этих двух людей. Почти служебные отношения постепенно переросли в дружеские, доверительные, свидетельствующие о поддержке этими людьми друг друга в тяжелые моменты. Из записок видно, что в них отражена не только главная для писателя и критика литературная тема, но и множество других — философские, политические, бытовые, семейные проблемы, хотя, конечно, литература всегда занимает в этих беседах главное место.

Записки отражают целую эпоху — двадцатилетие — в жизни советского общества, но в них есть постоянный ретроспективный и перспективный аспект. Достоверность их доказуема не только наличием хронологически последовательных записей, но и тем, что в них как бы документально запечатлены те или иные события, факты, персонажи того времени.

Насколько точно передаются в записках мысли, слова, рассуждения Леонова? Каким образом удалось это сделать? Ведь известно, что Леонид Максимович Леонов не любил, чтобы его записывали. Но в данном случае он согласился, чтобы ученый всегда что-то фиксировал по ходу обсуждения горьковских материалов. Иногда он иронизировал по поводу того, что Александр Иванович отразит в своих записках, то есть он как бы соглашался с тем, что его речи будут запечатлены. Кроме того, все, кто был знаком с А.И. Овчаренко, поражались его феноменальной памяти, которая давала ему возможность абсолютно точно воспроизвести не только суть разговора, но и передать стилистическую окраску фраз, слов, изречений реплик. После долгого периода знакомства Леонид Максимович спросил А.И. Овчаренко, почему тот, будучи крупнейшим специалистом по советской литературе, не напишет книгу о нем. Ему хотелось, чтобы человек, которому он доверял и которого ценил, написал о нем объективно и со знанием дела. Александр Иванович отвечал, что обязательно будет писать о Леонове и готовится к этому всерьез, ибо хотел бы сказать о Леонове так, чтобы писатель признал это равным тому, что он сам грозился о себе написать, «если бы не надо было сочинять романы».

Иногда А.И. Овчаренко просил Леонида Максимовича дать ему интервью, хотя классик не очень любил этот жанр. Но остались эти интервью, завизированные самим Л. Леоновым.

По запискам можно судить о сложности времени, в которое жили эти нерядовые люди, неординарности их взглядов, о том, что они были тесно связаны со своей эпохой, но их взгляды не были закамуфлированы или полностью подчинены господствующим доктринам. Это были в высшей степени мыслящие люди, а об увеличении в обществе числа людей мыслящих, способных самостоятельно анализировать вопросы, которые выдвигает жизнь, всегда мечтал Л. Леонов. Все его творчество доказывает необходимость для каждого развивать в себе способность к высокому мышлению, единственной возможности независимого самосознания.

Перед нами беседы двух думающих людей, интересы которых охватывают весь мир. Один из них — член партии, а другой — беспартийный, но нет ограниченности в их подходе к тем или иным вопросам. Они хорошо видят все, что происходит в стране и мире. Критерием оценки происходящего для них становится только одно — насколько оно соответствует интересам народа, Родины. Стержнем всего является патриотическая, а не идеологическая доминанта.

Постоянная забота о судьбе России, русских. Предчувствие трагических катаклизмов, потрясений пронизывает собой все беседы двух сынов своего времени, верных сынов России.

Не исключено, что теперь, после ухода из жизни Л.М. Леонова, появятся попытки представить многое в его творчестве не таким, каким оно было на самом деле. Прежде всего, это отношение великого писателя к советскому обществу, к идее социализма. Сейчас стало правилом изображать, как, живя в СССР, многие якобы были во внутренней эмиграции, как бы в подполье, держа камень за пазухой, но не демонстрируя своей сути из чувства боязни за собственную шкуру. Были такие двурушники, прежде всего, среди членов КПСС верхушечного слоя. Они стали неистовыми «демократами», когда им это оказалось выгодно.

Л. Леонов был чистым и честным человеком. Он понимал значение нового мира, ставшего вехой в истории человечества, сам участвовал в его становлении и говорил о своей ответственности перед обществом. Он лучше других, с горних высот большого художественного таланта, видел искажения и уродство в реализации великого замысла, начиная с первых шагов революции — наверно, уже с тех дней, когда он вместе с другими красноармейцами оказался на Сиваше.

Он на протяжении своего творческого пути пережил столько необоснованных нападков, травли, угроз, что на собственном опыте научился прекрасно разбираться в истинной цене вещей. Его ненависть к несправедливости, злу, тупости не была абстрактной, она насыщена не только эмоциями, но и глубокой трагической мыслью о крушении, постигшем страну из-за предательства бюрократической верхушки, продажной интеллигенции, попрания высокого народного идеала. Не было инфантильности в этом сверхмудром человеке, когда он не терпел проявлений всего этого и в Союзе писателей, где тысячи примазавшихся к литературе во главе с бюрократическим руководством мешали работать талантливым писателям. А ведь литература для него была главным делом жизни. При советской власти наиболее благоприятные условия создавались в литературе для тех, кто ловко пристраивался к Союзу писателей, схема управления которым копировала государственные властные структуры. Это были родоначальники одолевших литературу и культуру современных тусовщиков. Их тогда называли по-другому. Но саранча остается саранчой, как ее ни назови. И тогда талантливым русским писателям, в особенности молодым, жилось нелегко. Не говоря уж о самом страшном — репрессиях, которые уничтожили многих, какую травлю своих «коллег», доносов братьев-писателей пришлось выдержать многим талантливым русским писателям! А сколько из них сложило голову, подобно Павлу Васильеву!

Судьба самого Л. Леонова с бесконечными нападками критиков-групповщиков — знамение времени. Он как-то сказал, что смерть

проходила рядом с ним не менее двенадцати раз. Параллельно разворачивалась история гениального М. Шолохова. Сколько он писал свои произведения, столько и ходил в плагиатчиках «Тихого Дона». А разве гению не больно? Стоит только вообразить себя на его месте и станет так тоскливо жить русскому в России, что удивись, как этому человеку удавалось выдерживать все обрушившиеся на него испытания. И как теперь удастся другому нобелевскому лауреату — А. Солженицыну — делать вид, что он не участвовал в этой травле гения? Или хуже того — он до сих пор, похоже, считает, что по справедливости благословил своим предисловием изданный в Париже пасквиль на Шолохова. Теперь он раздает премии русским писателям — может, замаливает грехи молодости?

Если уж столь великие русские писатели, как Шолохов и Леонов, не могли защититься от травли, то что оставалось молодым, таким, как Николай Рубцов?

Есть много способов травли. Для Л. Леонова был избран особый метод с соблюдением внешней атрибутики — дескать, классик, но на самом деле путь его сопровождался постоянным замалчиванием — ни на телевидении, ни в периодике почти не упоминался этот патриарх литературы. А в это время любую посредственность могли возвести в «великие», провозгласить мерилom мерил. Два поистине великих русских писателя — Шолохов и Леонов — не всегда упоминались даже в дни своих юбилеев. Случайность? Нет, политика уничтожения настоящей русской литературы, ныне приобретающая невиданный размах. Сила русского народа — в его духе, который воспитывается не без участия русской культуры, прежде всего литературы. Вспомним поколение победителей, состоящее из людей разных национальностей, но воспитанное со школьной скамьи на приобщении к классической русской литературе. Сегодня же молодежь стараются изолировать от нее, от добрых живительных истоков.

Думаю, что Леонид Максимович всегда переживал то, как власти относились к деятелям литературы. Он болезненно воспринимал, что его мнением о состоянии литературы не интересуются в «верхах». Он был приручен Горьким и даже Сталиным к вниманию к своей персоне. Но позже власти не баловали классика даже в юбилейные дни. Однажды к нему домой, кажется, препожаловал зав отделом культуры ЦК КПСС В.Ф. Шауро, а потом и М.С. Горбачев изволил посетить его в дни юбилея. Но часто, в дни рождения престарелого классика, даже руководство Союза писателей, видя холодность верхов, не позволяло себе снизойти до простого человеческого общения с писателем и чествования его в качестве не только литератора, но и долгожителя. И эта подлость ранила, в особенности, на фоне бесконечных чествований, открытия музеев всех подряд, памятников тем, кто имеет косвенное или вообще не имеет никакого отношения к русской литературе. Тем же, кто ее действительно создает, поддерживает огонь в очаге, ее

жрецам суждены лишь гонения и забвение. Но гонения на них — это гонения на великую русскую литературу, на русский народ — первоисточник этого чуда. Если это не так, то чем объяснить то, что в годы перестройки исчезли с телевидения и радио подлинная литература, настоящая музыка? Классическая музыка стала восприниматься едва ли не как олицетворение похорон.

Не о поощрении со стороны властей заботился Леонид Максимович — слишком многое и многих он видел. Здесь было другое — ему казалось, что его великие знания в любимом деле, тайны литературы, в которые он проник своим подвижничеством и талантом, не должны уйти вместе с ним, а достойны стать достоянием нового поколения. В этом заключалась бы мудрая государственная политика в области культуры. Похоже, что те, кто в руководящих органах занимался литературой, не воспринимал даже зарубежных оракулов, ценивших русскую литературу как источник духовности для нравственно опустошенного и бездуховного западного мира. Нет, они на Западе искали и находили не лучшее, а ту «массовую культуру», с помощью которой из новых поколений, населяющих наши территории, можно вырастить разве что разбойников.

Из записок видно, что, заботясь о судьбе русской литературы, и писатель, и критик выступают всегда патриотами, но хочется заметить, что их подчеркнутая любовь к русским писателям не означает неприязни к литераторам других национальностей — «пусть расцветают все цветы». Конечно, была с их стороны и реакция на русофобию, безумное западничество, когда не культуру с Запада ввозят в страну, а подделки под культуру, а все свое чернят и охаивают.

Что касается русофобии, то началась она в давние советские времена (лично Л. Леонов испытывал ее не раз во враждебных нападках «собратьев» по перу), а расцвела в первые годы перестройки. Даже некоторые русские усомнились, надо ли им принадлежать к племени дикарей, давших миру Пушкина, Толстого, Достоевского, Шолохова, но отставших от американской цивилизации с ее убийствами, наркотиками, верхоглядством и другими прелестями.

Профессор А.И. Овчаренко, начиная с 1964 года, часто бывал в Америке по приглашению американских университетов. Он начал налаживать культурные связи между двумя странами в годы «холодной войны», когда ни одного советского ученого или писателя не подпускали не только к престижным, но и к рядовым университетам. Он смог показать студентам американских университетов величие русской и советской литературы и вызвать уважение к себе, благодаря своим знаниям, чувству собственного достоинства, умению не приспосабливаться к аудитории, не скрывать своих убеждений и своей веры в социалистический идеал, объективности и научности. Более десяти раз он выступал с циклом лекций о русских и советских

писателях в американских университетах и чувствовал себя там уважаемым человеком. Зато у себя на Родине он достаточно хлебнул от русофобии и в Институте мировой литературы, где проработал более 40 лет, и в Союзе писателей, где до него всегда дотягивалась «рука» очередного «интернационалиста» из ЦК, отнюдь не стремившаяся погладить его по голове. Но особенно тяжким было его пребывание в редколлегии «Нового мира», куда его почти насильственно отправили по решению ЦК. Из шести новых членов редколлегии, пришедшей на смену команде А. Твардовского, было двое славян — Д.Г. Большов и А.И. Овчаренко. Именно их до сих пор клеймят как «губителей» журнала. Вездесущий А. Солженицын, не зная истинного положения дел в журнале, считал А. Овчаренко особо опасной фигурой. Почему же не В.А. Косолапова, сменившего Твардовского на посту редактора? Странно, но Д.Г. Большов и А.И. Овчаренко таинственно ушли из жизни.

Среди множества тем, затрагиваемых в записках, немалое место занимает вопрос о национальном самосознании русского народа. Мне кажется, что для Л. Леонова оно было связано с утверждением приоритета высокого мышления, к которому должен стремиться каждый человек, завоевывая трудом и знаниями уровень личности с нестандартными качествами.

Мыслящая личность, способная разобраться в обстановке, не поддаваться лживой пропаганде, к сожалению, не была преобладающей в советском обществе. Наверно, в этом его главная вина перед человеком.

Л. Леонов обладал даром предвидения. Это выразилось больше всего в его романе «Пирамида» (1994 г.). Работая над ним около сорока лет, он увидел еще до перестройки многое из того, что в дальнейшем постигло нашу страну. В записках это предвидение также пульсирует. Как часто Леонид Максимович повторяется (при подготовке записок к печати многие повторы приходилось «ужимать»)! Не потому, что у этого мудреца «память сдавала», а потому, что он как бы вкладывает в наши головы главные свои наблюдения и мысли, оставляя нам свои заветы, свою боль и радость от жизни и предостерегая нас.

Ольга Соловьева-Овчаренко

ПИРАМИДА БЛАГОРОДНОГО ДУХА

Леонид Максимович Леонов прожил среди нас долгую и славную жизнь, венцом которой стал роман «Пирамида» — произведение глубочайшего философского и психологического анализа социальных семейных и личностных явлений жизни, зеркало и одновременно

художественный символ эпохи, итог только что завершившегося XX русского столетия. Наша славная и многострадальная Россия выпукло и ярко отразилась на страницах романа в художественно убедительных образах русских людей, в их помыслах, свершениях — порой неоднозначных и весьма противоречивых, во всегда присущих нашему человеку прекраснодушных мечтаниях о долгожданной эре всеобщей гармонии, мира, добра и справедливости.

Казалось бы, такой замечательный роман должен был, что говорится, прямо из-под писательского пера тотчас переключиться в типографию и оттуда, без промедления, разойтись по всей читающей России. Но нет, ко дню его завершения, в стране нашей наступили иные времена, иные нравы в ней восторжествовали. У честных и благорасположенных к читателям издателей, кто готов был выпустить в свет леоновскую «Пирамиду», на это попросту не оказалось средств!

Говорю об этом столь убежденно, ибо по просьбе издателей-патриотов непосредственно занимался тогда привлечением средств, для того, чтобы замечательное, во многом итоговое, творение величайшего мыслителя и мастера слова, совести земли русской Л.М. Леонова роман «Пирамида» все же увидел свет...

С тех пор прошли годы. И вот в обширной депутатской почте выделяю новое обращение с просьбой о помощи. На сей раз — в издании записок и воспоминаний известного отечественного ученого-литературоведа, верного многолетнего друга и неизменного редактора Леонида Максимовича Леонова — Александра Ивановича Овчаренко. Бережно систематизировала их, снабдила комментариями и вступительной статьей вдова Александра Ивановича Ольга Михайловна Соловьева-Овчаренко — литературовед, член Союза писателей России.

Что сразу же пленило душу в «Записках...», подвигло на продолжение углубленного чтения и затем на серьезные раздумья? Прежде всего, удивительное по нашим эгоистическим временам творческое бесребреничество автора. Волею судьбы оказавшийся близким человеком столпам отечественной литературы А. М. Горькому, Л. М. Леонову, М. А. Шолохову и ряду других, А. И. Овчаренко сознательно определил свой недюжинный талант служению этим великим именам. Литературоведа и редактора Овчаренко прежде всего заботит как с минимальными потерями донести до современников и сохранить для потомков суждения наших литературных классиков XX столетия о самых животрепещущих проблемах страны и общества в контексте жизненных реалий, как передать неповторимость их речевой и текстовой стилистики, как точнее, верными штрихами и красками, живописать их гражданский, социальный, писательский портрет? Многие ли из бесспорно талантливых людей готовы, добровольно оставаясь в тени, на такой многолетний подвижнический труд во имя литературы и науки, во имя общего дела?..

Я рад, что, благодаря возглавляемому мною Московскому интеллектуально-деловому Клубу, в котором проведена кропотливая работа по предиздательской подготовке рукописи, благодаря моим добрым товарищам из издательства ЗАО «Элике Интернейшенл», увидит свет и найдет своего заинтересованного и благодарного читателя новая фундаментальная работа, которая дополняет обширный, но далеко не исчерпанный раздел отечественного литературоведения — «леоноведания», книга А. И. Овчаренко «В кругу Леонида Леонова».

Рад также тому обстоятельству, что совместная работа над этой книгой приблизила к Клубу еще одного интересного человека, литературоведа и радетеля за судьбы Отечества, доктора филологических наук Ольгу Александровну Овчаренко — дочь автора книги. Благодаря ее стараниям, между литературоведческим сообществом, ведущими филологами столицы и Московским интеллектуально-деловым Клубом установились тесные, обоюдные плодотворные контакты.

Первые результаты их мы уже увидели и по достоинству оценили в ходе проведенного в этом году Клубом Первого Всероссийского литературно-театрального конкурса премии имени нашего Почетного члена, замечательного российского драматурга и гражданина Виктора Сергеевича Розова — «Хрустальная роза Виктора Розова».

Хороших добрых людей на свете много. Беда, что зачастую они разобщены, недостаточно знают друг о друге. Общее дело и призвано объединять, спланивать достойных людей.

Вчера это изданная вопреки конъюнктуре уродливого рынка книга русского классика. Сегодня — существенно дополняющая его творчество солидная работа ученого-литературоведа, пополнившая наши книжные полки, или получивший высокую оценку литературной и театральной общественности конкурс премии имени выдающегося современника-драматурга. Завтра...

Дела завтрашние подскажет день грядущий. Так день за днем, шаг за шагом, ступенька за ступенькой предначертано нам судьбой подниматься к заветной, хотя и в принципе не достижимой, как всякая прекрасная идеальная цель, вершине символической пирамиды благородного человеколюбивого духа... И да осилит этот нелегкий крестный путь идущий!

Н. И. Рыжков,

Президент Московского интеллектуально-делового Клуба, депутат Государственной Думы РФ

Александр Овчаренко

ИЗ БЕСЕДЫ С ЛЕОНИДОМ ЛЕОНОВЫМ

21 декабря 1970 г.

А. ОВЧАРЕНКО: Дорогой Леонид Максимович, сейчас мы готовим XIX и XX тома Полного собрания сочинений Горького. В тот и другой входят рассказы, очерки, наброски с натуры, заметки советского периода. В этих томах Горький не раз вспоминает и ваше имя. Это связано с тем, что именно в 20-е — 30-е годы Горький особенно внимательно следил за развитием советской литературы, за молодой порослью советских писателей, которые создавали, как он говорил, совершенно новую литературу. Горький внимательно читал молодых, следил за их творчеством, очень интересовался ими, как новыми людьми, переписывался, приглашал их к себе, записывал беседы с ними. Некоторые из этих записей войдут в XIX том.

Одним из первых советских писателей, замеченных Горьким, были вы. До того, как вступить с вами в переписку, он опрашивал своих знакомых, писателей, приезжавших к нему в Германию, затем в Чехословакию, а затем и в Сорренто: кто такой Леонид Леонов? Что это за человек? Очевидно, первые же написанные вами произведения его очень заинтересовали. В 1924 году он писал в одной из своих статей: «Сразу, первыми же рассказами обратил на себя общее внимание Леонид Леонов, юноша оригинального таланта и серьезных тем». После выхода «Барсуков» он без колебаний заявил: «Из Леопова со временем выработается очень большой писатель». Его восхитил ваш «Вор», особенно художественной инженерией. Горький неизменно отмечал своеобразие вашего языка, очень специфического, подчеркивая, что вы всегда видите действительность в ее противоречиях. Весной 1927 года он писал Груздеву: «В Леопова предчувствуется большой русский писатель». Если не ошибаюсь, со второй половины 1924 года началась переписка с вами и продолжалась вплоть до смерти Горького. В связи с некоторыми не ясными для нас и недокументированными моментами ваших взаимоотношений я прошу разрешить мне задать несколько вопросов. Ваши ответы помогут нам правильнее прокомментировать отдельные упоминания в произведениях Горького, связанные с вашими взаимоотношениями.

Передо мной несколько записей Горького. Если хотите, я вам их прочту. Вот запись, которая относится, по-видимому, к июлю 1927 года, когда вы гостили у Горького в Сорренто. Мне кажется, в ней причудливо соединился какой-то ваш рассказ Горькому с чем-то похожим, что он слышал от Вольнова еще на Капри. Я так думаю, вспоминая то, что вы однажды рассказывали мне. Вот как записано у Горького:

«Иван Вольнов рассказал мне, что ревнивый старик, умирая, подозвал к себе молодую жену свою и, подняв подол ее, пытался вырвать волосы на Венерином холме. Эта изумительная сила ревности прикончила его — умер.

Вчера Леонид Леонов рассказал, что бандит, приговоренный к расстрелу, увидав свою жену в тюремное окно, тоже предложил ей поднять подол, и нагота ее даже на расстоянии успокоила его возбужденную чувственность. Это — из рассказа Леонова, замаскированного Лебедевым-Полянским. Полянский — глуп. Леонов плохо воспользовался рассказом Вольнова. Не понял трагического смысла в жесте старика, не понял последней вспышки в человеке слепой воли к жизни».

Л. ЛЕОНОВ: На самом деле этого эпизода не было в романе «Вор». Тут Горький запамятовал. И что-то добавил. Когда я собирал материалы для романа «Вор», мне попались эти люди на глаза. Я бывал в разных вертепах и видел ужасных людей. И они, а не Вольнов, рассказали мне такой эпизод. Мне понравилась эта лапидарность образа. Эпизод этот я рассказал Горькому и думал, по правде сказать, что он глубже поймет его. У Вольнова это грубо подано. Был в рассказанном мною эпизоде настоящий налетчик, бандит. Когда я делал «Вора», то на Урале гремела банда Оськи Кульдяева. Он мне пригодился для Агейки. Оську Кульдяева разгромили, от него осталась банда «Ткачей», которая работала в Харькове. Остался Жорж Матрос. Это был страшный человек с приплюснутым носом. И вот тогда мне рассказали, что когда пришла его любовница к тюрьме, он крикнул из окна «Подними юбку!» Она подняла. Он прильнул к решетке, глядел. Может быть, это длилось полминуты. Потом махнул рукой и отошел от окна. Это было прощание с жизнью. Это было не просто половое переживание. Для него закончилась вся радость жизни. Это было, как затухание на кресте.

А. ОВЧАРЕНКО: Вы ведь не использовали этот эпизод в романе?

Л. ЛЕОНОВ: Нет, в романе не использовал.

А. ОВЧАРЕНКО: А причем здесь Лебедев-Полянский?

Л. ЛЕОНОВ: Это был странный человек. Он говорил о детях: «Это цветы жизни, их надо скорей закопать, закопать, закопать в землю!» Он подбривал себе лоб, чтобы он казался крупнее. Это был какой-то соловубовский тип.

А. ОВЧАРЕНКО: А вы случайно не рассказывали эпизод с Жоржем Вольнову?

Л. ЛЕОНОВ: Я его видел только однажды у Есенина, с которым был тогда близок. Зашел к Гале и увидел: в комнате сидел совершенно пьяный Вольнов, а пьяный Есенин, уткнувшись в колени, дико плакал.

А. ОВЧАРЕНКО: Быть может, нечто похожее Вольнов рассказал Горькому независимо от эпизода, рассказанного вами?

Л. ЛЕОНОВ: У Вольнова это был просто похотливый старик. А Жорж был в полном расцвете сил. Его должны были расстрелять. Когда я эту

заметку прочел, то меня удивило, что Горький не уловил этой разницы. Это алгебра, мой-то случай.

А. ОВЧАРЕНКО: Следующая запись тоже относится к июлю 1927 года, когда вы гостили у Горького в Сорренто. Судя по записи, вы вместе с Горьким посетили Помпейский зал в Неаполитанском музее. Разрешите мне, прежде чем напомнить вам содержание этой записи, спросить вот о чем: по-видимому, уже тогда у вас был какой-то внутренний спор с Горьким? Может быть, в вас говорило какое-то молодое озорство? Хотелось удивить Горького? Уже в то время не было тайной, что выше всего Горький ценил уважение к культуре прошлого, ко всему ценному в ней. Был убежден, что там можно найти ключи ко всем загадкам мира. И очень удивлялся, если не все, кого он ценил, разделяли его веру. В записке чувствуется раздражительность, вызванная тем, что вы своей реакцией на все, что было экспонировано в Помпейском зале, сознательно не хотели попасть «в струну». Горький записал «Леонид Леонов ходил в Помпейском зале Неаполитанского музея и, глядя на фрески, бормотал: «Не понимаю. Не понимаю». Должно быть, заметив, что его нежелание понимать несколько огорчает меня, он продолжал уже более задорно и как бы с целью посмотреть: а что же дальше?

— Не понимаю, — повторял он настойчиво. Раз двадцать слышал я это слово, печальное и неуместное в устах талантливого художника. За обедом я сказал ему:

— Леонид Леонов интересен и значителен не тем, что он отказывается что-то понимать, а тем, как он понимает и почему не понимает.

Мальчик обиделся на меня. Самолюбив он не очень умно. Невежествен — очень.

Но — талантлив, я уверен, что соседство с Достоевским не повредит ему, он — «сам по себе».

Л. ЛЕОНОВ: Вся живопись Помпейского зала мне не нравится. Я люблю эти сухие тона. Я считаю великолепным Неаполитанский музей. Там стоит Праксителева Психея. Это усеченный торс... и эти девственные ключицы... изумительно! А Помпейский зал... Да, я говорил: «Не понимаю, не понимаю», но говорил так мягко только из уважения к Горькому. Фрески мне просто не нравились. Может быть, не надо было мне этого говорить, так говорить. Это по моей молодости. Вам же я скажу так, как я это понимаю. В Помпейском зале чувствуется какая-то сухость, от температуры, может быть, придающей всему сухость. Но, правду сказать, все ведь сделано графически плохо, сделано примитивно. Портреты, которые там есть, — такие же, как в Лупанарии гадкие картины. Помните, гадкие картины, которые в Помпее не всем показывают? Они же — не вне этой живописи. Конечно, это старинная живопись. Но мне кажется, что не все в искусстве одинаково хорошо и подлежит обожествлению.

А. ОВЧАРЕНКО: Разговор в тот раз продолжался и за столом?

Л. ЛЕОНОВ: Я не помню. Если бы вы мне не напомнили сейчас эту запись, то я бы и не вспомнил, что был в Помпейском зале: мне этот зал не понравился и потому не запомнился.

А. ОВЧАРЕНКО: Быть может, Помпейский зал не понравился так сильно потому, что его живопись не сравнима с шедеврами, демонстрируемыми в музеях Ватикана?

Л. ЛЕОНОВ: Нет, в тот раз я не видел Ватикана. В Ватикане я был уже в 1968 году. О! Возрождение! Это была эпоха, когда боги простили людей и пришли к ним. Для романа мне нужно было вспомнить Челлини. И не только художника, но и людей, которые окружали художника: Медичи, Павла VI, Александра VI. Об этом, когда он умер, говорили, что умер наместник дьявола. А Помпея была городом провинциальным, и там все, в общем-то, примитивно. Даже эротика и то примитивна. Эротика бывает разная. Вспомним офорты Роббса. Вы видели? Даже Дикий, который писал для Александра II... Это одно. А есть эротика, которая переходит в похабщину. И вот в Помпее она такова. Может быть, не будем больше возвращаться к разговору о Помпейском зале?

А. ОВЧАРЕНКО: Разумеется. Но вот я о чем думаю: Горький еще в каприйский период внимательно изучал итальянскую живопись, все этапы ее. Естественно, что он воспринимал ее как целое, в котором Помпея была необходимым звеном. Он видел, от чего шли художники и на какие вершины поднимались. Вы же увидели ее как фрагмент. Создался резкий контраст между восприятием двух людей: один восхищался, другой — отвергал. К тому же, один находился на вершине мировой культуры, прочел тысячи книг, знал лично Толстого, Чехова, Ленина, Плеханова, другой только начинал свой путь к вершинам и не мог удивить его блеском эрудиции...

Л. ЛЕОНОВ: Я думал, для чего нужно было столько книг Горькому. Он искал в них Истину. Горький ценил людей в зависимости от их начитанности. Меня он назвал невежественным юношей только потому, что как-то стал пересказывать эпизод из своего произведения, а я этого произведения не знал. Между тем, если Горький принимал кого-то в свою орбиту, тому полагалось ей соответствовать. Больше того, полагалось быть в плане его вкусов. Чуть пойдешь в другую сторону и ты уже недруг. А на самом деле истина не в книге, а в сердцах людей. Она пропорциональна величине сердца. Она — в рисунке губ, в зрачке вот этом. Она — в жизни. Книга же лишь пристрелка к истине. Я говорю так не потому, что Горький назвал меня невежественным. Рядом с таким книгочеем, как Горький, в первую встречу с ним я действительно был чудовищно невежественным. Говорю об этом потому, что в одном из неопубликованных набросков Горький назвал серым, невежественным человеком... Чехова. И опять только потому, что Чехов

читал меньше, чем Горький. Мы должны это объяснить. Не объясним — это может остаться пятном на Горьком.

Мне Горький представляется очень тонким человеком. И мне порой казалось, что по развороту, по внутреннему аристократизму, по глубине понимания он как человек больше, глубже, чем как художник.

А. ОВЧАРЕНКО: Хотелось бы услышать, какие беседы о литературе были у вас с Горьким в 1927 году.

Л. ЛЕОНОВ: Я очень мало об этом помню, кроме тех разговоров, которые имели сюжетный смысл. Я был тогда одержим тем, что мне предстояло писать, я был до такой степени захвачен тем, что мне предстояло сделать! Я не знаю, оправдывает ли хоть в какой-то степени то, что я потом сделал, ту несправедливость, которую я допустил в отношении Горького. Ведь я и в ту, и в последующие встречи никогда не сказал ему ни одного комплимента. Я ни разу не похвалил того, что он писал. И я ужасно каюсь. А кроме того, я как-то считал себя не вправе говорить Горькому о его работе. Я всегда с благоговением думал о другом: как стать достойным той литературы, с которой нас связывает Горький? Ведь Горький жал руку Толстому, Толстой — Тургеневу, Тургенев — Гоголю, Гоголь — Пушкину. Так оно и шло, и идет в русской литературе вот это теплотание. Мне Горький жал руку, и я ценил это. Мне Горький был в этом плане очень нужен. Меня всегда, а теперь тем более угнетает горечь, что я работал плохо. Я мог бы доказать, что я работал плохо не всегда по своей вине. Но я не могу этого сделать потому, что кормлюсь на этом деле. Я никогда с Горьким не торговался. Я делал тогда ужасно трудные композиционно вещи. Я высшего образования не имел. Меня в университет не приняли, но я чувствовал нюхом, что происходит то же, что в байроновском Каине, когда он с небом разговаривал, чувствовал, что нужно очень много знаний. И когда для меня это было очень рискованно, когда я боялся, что делаю ошибку, то Горький мне тогда говорил: «Хорошо, хорошо, хорошо». И я был уверен, что это лучшее, что могу. Он мне придавал уверенность. Я глубоко признателен ему, что в трудные голы, когда я делал первые вещи, которые очень сложные композиционно, он так щедро поддержал меня.

Когда я был во второй раз в Сорренто, у меня уже сложился замысел «Дороги на Океан». Вы знаете, что я иногда графически могу изображать свои вещи. Изображал я и «Дорогу на Океан». Для меня это был не роман, а что-то вроде пружины, которая раскручивается. Это такой же важный музыкальный ключ, который стоит в начале музыки, его нужно послушать, и он тебя заставит идти куда-то дальше. Когда я показал Горькому графическую схему «Дороги на Океан», он сказал мне те самые поразительные слова, которые меня зарядили на всю жизнь.

А. ОВЧАРЕНКО: А когда произошел разговор, в ходе которого вы сказали Горькому, что запевная фраза «Детства» по образной структуре рисунка может служить манифестом реалистической школы?

Л. ЛЕОНОВ: Тоже в 1931 году. Я восхищался неповторимой выразительностью — помните! — описания того, как мать Алеши стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой. Я добавил: «Есть чему поучиться!» Он сказал: «Вам-то чему учиться у меня?».

А. ОВЧАРЕНКО: Как Горький отнесся к вашей оценке «На дне»? Может быть, он кокетничал, когда говорил: «Не удалось!»?

Л. ЛЕОНОВ: Мне трудно, я был недостаточно умен, — поймите меня правильно, чтобы не решаться тогда оценивать «На дне». Первая вещь, которая шла во МХАТе, я имею в виду мою вещь, была ужасна! Но Станиславскому она очень понравилась. И он дал таких актеров, как Лужский, Москвин, Ливанов, Кедров, Соколов, и они, конечно, придали пьесе блеск. Я был тогда молод. И я мог только удивляться, как такое Горькому удалось.

А. ОВЧАРЕНКО: Горькому было 35 лет, когда он написал «На дне».

Л. ЛЕОНОВ: Помню, много рассказывал ему о «Воре», рассказывал такие куски, которые были вокруг «Вора».

А. ОВЧАРЕНКО: Особый интерес Горького к «Вору» понятен. «Вор» сделан с исключительным инженерным мастерством. Горькому же труднее всего давалось композиционное мастерство.

Л. ЛЕОНОВ: У него великолепные характеры. Великолепная кисть и мазок, но никогда у него в вещах не было никакой тайны. Всякая вещь должна иметь корень квадратный — нужно искать, думать, я должен перестать понимать, как это делается. Я попытался сделать с Достоевским, с «Братьями Карамазовыми», так: я помнил роман в общем, а детально — забыл. И я решил так его читать: положил книгу, начал читать, затем закрывал страничку и думал, как бы я дальше это сделал, совпадет ли мое решение с тем, как у Достоевского. И что же? Совпадает раз, два. А потом вдруг невообразимый полет: он ложится на крыло и мчит так, что только перышки трепещут. И дух захватывает. И не верится, что он не имел возможности подолгу сидеть над своими произведениями. Вот мы сидим, переписываем, переделываем. А он не имел такой возможности, сдавал издателям свои произведения чуть ли не в черновых вариантах. А какие органы играют в них? Что бы он мог сделать, если бы у него были другие условия для работы?!

Я недавно читал разговор Кириллова со Ставрогиным. Это просто записная книжка. А какие глубины! И он никогда ничего не менял.

А. ОВЧАРЕНКО: Вы уже утомились. Для разрядки, хочу напомнить еще об одном документе, которым мы также располагаем.

Как-то я видел у вас «Папскую грамоту, пожалованную Леониду Леонову». Мы располагаем черновым наброском ее. Он сделан рукой Горького. Не понимаю только, почему Архив А. М. Горького датирует

его 1927 годом, да еще июлем, после 15-ого. По-моему, в 1927 году вы были в Сорренто с Татьяной Михайловной и потому не нуждались в таком свидетельстве. Прежде чем прочесть удостоверение, я хочу сказать вот о чем. Как-то вы познакомили меня с записью Горького о русской бане. Она тоже, если не ошибаюсь, была сочинена в ваш второй приезд в Сорренто. Сопоставляя эти два документа, я не могу не заключить, что в то время у Горького было очень хорошее, веселое, жизнерадостное настроение. Вот черновик удостоверения:

«Канцелярия Его Католического Святейшества и властителя града Ватикана папы Пия XI по наблюдениям за благонравным поведением литераторов Союза Советов Сим удостоверяется, что литератор Союза Советов Леонид Леонов, пребывая в Италии, вел себя примерно, благонравно, на особ женского пола внимания не обращал и греховного желания исследовать оных не обнаруживал, пил умеренно».

Л. ЛЕОНОВ: Таня, принеси, пожалуйста, эту грамоту. Это удостоверение было для моей жены, которой тогда со мной не было. Я не раз жалел, что жена не с нами. Тогда Горький написал это удостоверение. Это было в 1931 году. В 1927 году я и Катаев были у Горького с женами. Второй раз я был один. Это, конечно, 1931 год. (Т.М. Леонова приносит подлинник удостоверения, выполненный очень красочно, на большом листе бумаги. Под удостоверением подписи Грохало, М. Пешкова, Халатова, Ракицкого, Крючкова...)

А. ОВЧАРЕНКО: Как складывался ваш день в Сорренто?

Л. ЛЕОНОВ: И в первый, и во второй раз я останавливался в отеле... как его?

А. ОВЧАРЕНКО: «Минерва»?

Л. ЛЕОНОВ: Вот, — поражавшем полным безмолвием. Горький кончал работать в два часа, и я к этому времени приходил к нему. Мы сидели с ним, разговаривали. Иногда гуляли...

А. ОВЧАРЕНКО: Леонид Максимович, не приходилось ли вам говорить с Горьким о книге, в которой рассказывается о том, как избирают и посвящают пап?

Л. ЛЕОНОВ: Разговор этот был, потому что у меня есть книжка такая.

А. ОВЧАРЕНКО: Разрешите показать вам запись Горького. Помнится, я что-то подобное слышал и от вас. Вот запись Горького: «В 1645 году издана была книга «Roma Triumphans», посвященная описанию избрания и посвящения пап. Рассказано, между прочим, и то, как удостоверяется конклав в годности избранного возглавлять католическую церковь. Избранного сажают на мраморное седалище с отверстием в оном, и один из кардиналов, просунув руку свою в отверстие, исследует половой орган папы, после чего удостоверяет конклав: «Первосвященническое — имеется». В книге это изображено. И на картинке.

В основе лежит случай папы Иоанна, который якобы оказался дамой.

Л. ЛЕОНОВ: У меня есть монография XVIII века, где изображено это самое кресло. Это называется «целлюм перкурариум» — такой стульчик с особым вырезом. Перед тем как провозгласить имя папы, через это отверстие обследуется папа. Это потому, что произошла страшная история. Однажды на папский престол взошел не папа, а взошла папесса Иоанна. Вы знаете эту историю? Она относится к XII веку. Ею интересовался Пушкин, собирался писать. Это ужасная история. Ее отец — бродячий проповедник, он был слеп, и дочь сопровождала его. Когда же он умер, то у нее не было другого выхода. Других средств пропитания. Она надела мужское платье и стала проповедником. И ее вскинуло очень высоко — ее избрали папой. Потом была какая-то любовная история, и с ней случилось ужасное. Во время торжественного входа в Иерусалим (а, как вы знаете, папа въезжает на осле), она упала с осла и родила. И народ ее растерзал. В книжке есть такая гравюра, где она лежит в тиаре и родит. Ватикан скрывает этот эпизод своей истории...

А. ОВЧАРЕНКО: Расскажите, какое впечатление произвели на вас встречи со Сталиным.

Л. ЛЕОНОВ: Нам теперь трудно себе представить, какое ошеломляющее действие производили слова Сталина. Он говорил тихо, а казалось, что очень громко. Вероятно, надо какую-то специальную вещь писать, чтобы объяснить эту механику воздействия, иначе это все будет непонятно. Я Всеволоду Иванову об этом рассказал. И еще сказал: «Покуда Горький жив, мы все маленькие вокруг него». У меня тогда вышла статья «Нил». Есть скульптура — крокодил и вокруг него все ползают. Всеволод Иванов передал наш разговор Горькому, но передал так, будто я желаю смерти ему, чтобы поскорее выглядеть крупнее.

Я хорошо понимаю Горького последних дней. Это содержание целой пьесы, сюжет ее громаден. Это может изменить биографию Горького. И в этом плане я не допускаю ни на минуту, что он мог поверить тому, что ему сказали обо мне.

А. ОВЧАРЕНКО: Пьеса, о которой вы только что сказали, видится вам как драма или как трагедия?

Л. ЛЕОНОВ: Как трагедия. Что же касается наших отношений, то окружающие условия содействовали обострению их. Александр Иванович, если завтра мне скажут про вас, что вот, мол, Овчаренко говорит то-то, неужели я не спрошу сам: «Может быть, я мог случайно обидеть вас?» Были отягчающие параллельные обстоятельства, и они помешали этому.

А. ОВЧАРЕНКО: Он рассказал — вы не возразили?

Л. ЛЕОНОВ: Работа была длительная перед этим. Тут были и Киршон, и Авербах, были и другие. Так что когда я писал

«Скутаревского» (а я не имел в то время привычки скрывать тему, содержание книги, над которой работал), вдруг ко мне приезжает Крючков и говорит: «Алексей Максимович хотел бы видеть, прочесть рукопись». А она была у меня вся перечеркана после того, как была отпечатана. Я сказал: «Ничего сейчас не могу дать. Первый же экземпляр, который выйдет в журнале, обещаю». Крючков настаивал: «Он очень просил!» Я отказал. По-видимому, Горькому сказали, будто там что-то про него: отец знаменит, а сын выпивает. Но у меня было совсем другое — Арсений политически протестует против отца. У Горького же в семье ничего подобного не было. Сын, Максим, был его альтер эго, это была его тень. Он хороший был мужик, доброжелательный, искренний, добрый, отзывчивый, но он не обладал чердаками Горького, который имел в своем распоряжении громадные подвалы и чердаки.

Словом, там тогда работа велась. Был ведь Ягода. Что делал Ягода? Какая система была? Писатель беседует с Горьким. Горький говорит: «У нас писатели мало знают. Вчера разговаривал с одним, так он, знаете ли, не имеет никакого представления о том, кто такой Торквато Тассо». Горький нас соединял, как мост, со старой литературой, требовал ее знания, и мы всегда уходили от него взволнованные. А вот выходит такой писатель от Горького и сталкивается с идущим навстречу человеком. «Ну как Алексей Максимович? О чем говорил?» — «Да вот о литературе. А я тоже не знал, что Торквато Тассо родился в Сорренто!» Все правильно. А через час Горькому доложили, будто писатель сказал: «Опять старый черт учил, что Торквато Тассо родился в Сорренто! Старый дурак». Очень трудно было нам тогда.

В одной из моих статей есть фраза: «Будем надеяться, что литературоведы, которые будут писать потом о нас, будут видеть на фоне той эпохи наши произведения, на которые мы иногда оглядываемся с чувством неизбежности исполненного долга и отчаяния».

А. ОВЧАРЕНКО: А может быть, это и помогало вам расти от книжки к книжке?

Л. ЛЕОНОВ: Это имело действие: я всегда стал застегиваться на все пуговицы, когда выходил на публику.

А. ОВЧАРЕНКО: Спасибо вам, Леонид Максимович, за обстоятельную и откровенную беседу, за мужество, с которым вы поддерживаете великое звание русского писателя.

ИЗ ЗАПИСОК

Годы 1968—1972

14 марта 1968 г.

Сегодня поехали в издательство «Наука» утверждать макет Полного собрания сочинений М. Горького.

— Вот и мой заместитель, — сказал обо мне Л. Леонов. — Ну, рад, что будем издавать Горького. Вы говорите, что я должен сделать доклад о нем. Мне очень трудно писать. Вы же знаете, что в последние годы своей жизни Горький относился ко мне холодно. Кто-то поссорил его со мной. Правда, он не послал своего отрицательного письма ко мне. Что-то его остановило. Я тяжело переживал разлад с человеком, которого боготворил. Я видел его после этого много раз во сне, вел бесконечный диалог с ним. А объясниться так и не пришлось. И сейчас мне очень трудно перебороть эту обиду, чтобы сказать максимально объективно об этом человеке-титане, но постараюсь.

Вошли в кабинет Самсонова. Рассмотрев проекты-макеты, Л. Леонов взъерился:

— Это вы так Горького хотите издавать? Неужели для него у вас не нашлось ни хорошей бумаги, ни хороших шрифтов, ни оригинального оформления? Нет, ныне люди разучились издавать книгу, оформлять ее. А надо же делать свое дело, оформлять книгу так, чтобы ее было радостно держать в руках, чтобы сам ее вид приобщал человека к искусству. Дайте больше воздуха, дайте шире поля, сделайте книгу достойной Горького...

И не надо на титул писать так много. Напишите просто, одно слово — Горький... Вы же так оформили, что выглядит том, как положение во гроб. Почетно, официально, а читать не хочется.

Выбрали наиболее приемлемый вариант. Договорились.

По дороге спрашивает, много ли я читаю современных писателей. Нет, говорю, не очень много.

— Почему?

— Писатели многие не владеют русским языком, нет настоящего языка.

— Я могу с вами сейчас говорить на настоящем мужицком, ярком, выразительном языке час, два, пять. Но когда я оказываюсь в деревне, заговорю с настоящим мужиком, он усмехается, молчит. Потом вкруг скажет одну косноязычную фразу, но она настолько своеобразна, выразительна, что все мои знания перед ней оказываются никуда не годными. Откуда эта сила народного языка? И как раскрыть его тайну?

А доклад — доклад я попробую написать. И попрошу вас принять участие в его предварительном обсуждении. Приглашу 2—3 человека. Не откажетесь?

5 октября 1968г.

Были у Н.А. Михайлова. Говорили о Полном собрании сочинений М. Горького. Л. Леонов резко высказался о существующих изданиях, их полиграфическом уровне. Одно собрание сочинений похоже на другое. Все у нас пошло на уравниловку. Всех издают одинаково. Так сказать, отпускают по килограмму за произведения. Но ведь не все писатели безлики... У нас на писателя смотрят как на человека от слова — писец. Вот смотрю на это грубо(гробо)-ватое оформление и думаю: «И ради этого я 70 лет стараюсь, не ведая ни сна, ни отдыха, без выходных? Ради того, чтобы мне потом выдали вот такой гроб?».

И еще:

— Меньше золота на титуле. Автограф дайте узлом, а не так размашисто. Ведь Горький — это сгусток энергии. И не старайтесь, как некоторые писатели на Новодевичьем. Увидишь постамент-монумент колоссальный, прочтешь: «Писатель N». И ахнешь, оказывается, какой громадный писатель жил рядом с тобой, а ты и не знал.

После встречи у министра, я сказал Л. Леонову, что в Японии, откуда я только что приехал, читают его. Он стал рассказывать о том, как писал «Барсуков», а потом спросил:

— А вы заметили, что там есть недоговоренное?

— Да. Это заметил не только я.

— А что в моих произведениях интересует японского читателя?

— Стремление разобраться в муках, болях, желаниях нашей эпохи в целом.

— Во время моего пребывания в США Артур Миллер сказал, что самое тяжелое в нашей профессии то, что мы не можем не думать о будущем, об устройстве мира, не можем не мучиться над разгадкой проблемы: как переделать мир. Мое положение еще труднее. Я знаю, что надо переделать весь мир заново. И я знаю, как его переделать. Но я не могу сказать об этом. У нас некому сказать об этом.

13 января 1969 г.

Сегодня я позвонил Л.М. и сказал, что пришел сигнал первого тома. Он пригласил прийти на ул. Горького, д. 54, кв. 44, но первый его вопрос меня ошеломил:

— Вы находите что-либо интересное в моих произведениях? Меня это очень мучает. Если бы мне дали деньги, чтобы кормить детей и внуков, я бы написал самую глубокую статью о Леонове, в которой бы обнажил все его промахи, наивности, целые главы, которыми прикрываются в его романах пустоты и зияния. Мне кажется, вот теперь я познал настоящие секреты мастерства, приемы внутренних связей, обязательных в подлинно художественном произведении. Сюжет — не лучшее средство внутренней связи. На чем строятся, по-вашему, мои произведения?

— Очень трудно отвечать на такие вопросы самому автору. Мы, критики, предпочитаем действовать из-за угла, стрелять из ружья с кривым дулом.

— А кроме шуток?

— Мне кажется, что в «Барсуках» все-таки главное средство связи — сюжет и «притяжения и отталкивания» характеров. В «Соти» вы прибегаете к связи, основанной на гармонической соразмерности различных компонентов, в том числе и мелодических периодов. Еще более причудлив в этом плане «Вор».

— Вот в нем-то и было у меня особенно много пустых «прикрытий». Я часто показывал следствия, не объясняя причин...

Тридцать лет спустя я сделал то, чего не делал ни один писатель. Я переписал роман, но так, что совершенно не тронул его концепцию. Я только прочертил то, что не было до сих пор прочерчено... Я думал, что переработка не возьмет у меня больше полугода, а потратил 2,5 года. Как-то летом, сидя над развенчанным романом, я даже плакал... Не скучно меня слушать?

— Что Вы! Я слушаю с величайшим интересом.

— Я никогда не был счастливчиком, всю жизнь трудился, не зная выходных. И всю жизнь бился над разгадкой тайны: как это получается что вот я выхожу, подтягиваю штаны и, назвав себя Генрихом IV, готовлюсь умирать. И... зритель уже видит не меня, не мои штаны, а Генриха IV. И вот только теперь, мне кажется, узнал эти секреты. И многому удивляюсь. В частности, моим отношениям с Горьким. Вы знаете, что, в отличие от многих моих современников, я никогда не спекулировал на своих отношениях с Горьким. Я и письма Горького отдал только после упорных просьб и даже угроз. И вот я думаю о себе, человеке, который пришел в литературу малограмотным. В университет меня не приняли. Я чуть не плакал, составляя фразу за фразой в произведениях. Наивные, совсем беспомощные в художественном отношении («Конец мелкого человека») и неровные, изобилующие пустотами в «Записках Ковякина» — чем они привлекли Горького? Что он нашел в них? Может, они в чем-то перекликались с его исканиями того времени? Не знаю до сих пор. Но тогда, в 1927 г., я приехал к нему в Италию, он принял меня необычайно тепло. «Хорошую литературу делаете, сударь», — сказал он мне. И еще сказал фразу настолько лестную для меня, что я и до сих пор не решаюсь ее повторить.

Я не повторил ее, даже рассказывая о своей встрече с Горьким.

— И мне не скажете?

— Сейчас — нет. Быть может, когда-нибудь потом, но и то при условии, что вы ее не огласите.

Я был окружен исключительной заботой и вниманием. Почти каждый день Горький приглашал меня на прогулки и относился, как к сыну. Он был заботлив до мелочей. Он не позволил мне заплатить за гостиницу. Я тоже любил Горького больше всего на свете и необычайно

гордился тем, что в день, когда в 1928 г. он прибыл в Москву, он тотчас позвонил мне и пригласил в Машков переулок на обед. Он читал мои книги, писал о них. Он был действительно влюблен в литературу и неутомимо искал людей талантливых, поддерживал их в трудную минуту, словом ободрял, советом. Я видел в нем колоссального писателя и еще более колоссального человека. А вы читали дневники А.Н. Тихонова, его мемуары? Говорят, умирая, Горький страшно матерщинничал?

— Нет, не читал. Я не думаю, что это было так. Тихонов, насколько я знаю, не присутствовал при кончине Горького.

— Удивительная фигура — Горький. Человек редкостно удачли вый. Вы только подумайте, в 38 лет он едет в Америку с любовницей, попирая буржуазные нормы морали, затем пишет «Город Желтого Дьявола», плюет в лицо «прекрасной Франции», вступает в поединок с царями, королями, говорит с ними резко. Но это не дерзость. Чувствуешь, что за его спиной есть нечто громадное, что позволяет ему именно так говорить, указывать, требовать. Это нечто — громадная сила революционного народа и непререкаемый авторитет самой правдивой и бескомпромиссной литературы...

Он был очень большой человек. Думаю, что человек в нем был крупнее, нежели писатель. Но и писатель громадный. Однажды я ему сказал о «Детстве» и был искренен. И как я уже говорил, лично я обязан своей жизнью его слову. Вы помните историю со рвом в Библии? Так вот, мы, писатели, сидели в том рву. А он нас ругал, чтобы защитит, охранит, спасти нас же.

И снова пытается подойти к этой же мысли с другой стороны.

— Как вы думаете, в каком ряду стоит Горький как писатель? Если применить пятибалльную систему, то сколько баллов получит Горький рядом с Толстым и Достоевским? Вы все-таки ставите его в этот ряд? Говорите, что в «Климе Самгине» есть страницы, не уступающие Толстому и Достоевскому? А я, знаете, вижу в русской литературе несколько линий. Наиболее сильная — это линия Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Щедрина.

— Да, Щедрина я ставлю в этот ряд. А есть еще линия революционно-народническая. Линия Чернышевского, линия общественнописательская. Я не считаю ее сильнейшей, думаю, что когда-то, в будущем, она будет переоценена. Именно это я имел в виду, когда в «Слове о Горьком» сказал, что времени еще предстоит определить прочность славы этого писателя.

Затем как-то незаметно мы вернулись к разговору о Сталине. Я сказал, что 1937-й год никогда не простится Сталину.

— Да, — согласился Л.М. задумчиво. И вдруг стал рассказывать о Фадееве, который «часто бывал в нашем доме, пил вино, от души смеялся. Но однажды вдруг исчез. Я почувствовал, что надо мной нависают тучи. Не выдержав, попросил сходить жену к Саше и узнать,

скоро ли меня возьмут. Она пошла. Благо дача Фадеева была рядом. Подойдя к даче она, как обычно, крикнула: “Саша!” Раз, два. Нет ответа. И когда она собралась возвращаться, он вдруг появился на балконе. Сухой, замкнутый, как будто ни с кем и ни с чем не знакомый. Сухо поздоровался. Сказал какую-то неопределенную фразу. Исчез. Но тут произошло нечто фантастическое. Через день или через два после этого разговора в “Известиях” появилась обширная хвалебная статья обо мне. Первым прибежал с поздравлениями Саша, хохотал, пил вино, хлопал меня по плечу. Кажется, он не помнил своей встречи с моей женой Таней. Что, он был честолюбив? Что значит честолюбив? У писателя может существовать лишь одна форма честолюбия. Написать так, чтобы это не уступало Толстому, Достоевскому, а может — превосходило их. Вот я никогда не занимал никаких постов и не жалею. Жалею лишь обо одном, что не написал лучше то, что написал. А ведь мог бы занять пост».

И вдруг, оживившись, со смехом стал рассказывать:

— Знаете, у меня была возможность занять пост. Как-то ко мне приехал режиссер Чиаурели, он стал рассказывать, что у «самого» возникла идея выпускать серию эпических кинополотен, рассказывающих о России с древнейших времен до сегодня: битва на Куликовом поле, на Чудском, Иван Грозный, Октябрь, Ленин: кажется, сорок или семьдесят картин. Предполагалось создать специальную студию. Привлечь сценаристов. “Сам”, — шепотом сказал Чиаурели, — считает, что ты должен встать во главе. Нет, нет, ты не будешь писать.

Ты будешь только возглавлять. Четыре машины дадут тебе и — все необходимое». Я спросил его: «Ты мне друг?» «Да, конечно!» — «Прошу тебя, отговори как-нибудь, чтоб я не пострадал». Он удивился, настаивал, уговаривал, потом уехал.

И, возвращаясь к теме о Сталине, продолжает:

— Для меня эта фигура все еще трудна. Не подумайте, что чувство обиды мешает мне его рассмотреть, хотя были в моей судьбе трагические периоды. Был один, когда я буквально голодал. Этому предшествовал период увлечения наших театров моей драматургией. Сразу два театра в Москве готовили премьеры моих пьес. И вдруг — подписанное Молотовым постановление, признававшее мою пьесу «Метель» вредной. Началось нечто ужасное. Театры переругались, начали искать виновных. Тогда я написал Сталину. Я просил не искать виновных, объясняя все тем, что люди положились на мое имя. И поэтому за, все надо спрашивать с меня. Не дождавшись ответа, позвонил Поскребышеву. Он ответил: «Сталин говорит, что вы не к нему должны обращаться, а к Жданову». Через несколько дней меня принял Жданов в присутствии Маленкова. Жданов кричал на меня, топал ногами, Маленков смотрел же на меня пронзительным взглядом готового наброситься бульдога, но, видимо, без слова Сталина они не решились что-нибудь сделать со мной. А Сталин, может быть помня

слова Горького, промолчал. И вообще, когда вы говорите, что Сталин часто вел себя двусмысленно, говорил одно, а делал другое или делал вид, что не замечает, как его окружение делает другое — я тут с вами не согласен. Мне кажется, что в этом отношении Сталин отличался от своих помощников и соратников. Расскажу вам один эпизод. Вам не скучно? Нет, ну слушайте:

— Я уже много лет депутат Верховного Совета, но меня почти никогда и никуда не приглашают. Однако однажды вызвали, привезли в Кремль, провели в какой-то кабинет, где уже сидело человек двадцать. Вошел Молотов. Не поздоровавшись, стал читать проект договора с Австрией. Я понял, что это ратификация. Он читал холодным голосом, иногда смотрел суровым, даже каким-то угрожающим взглядом.

Сталин же любил шутку, хотя внешне был иным. Он и беспощадность свою умел прикрывать. Говорят, что был такой эпизод: Косарев противился аресту комсомольских работников. И вот, на одном из банкетов Сталин поднял тост за его здоровье. Косарев подошел к нему с бокалом. Чокаясь с ним, Сталин обнял его и сказал на ухо: «Не противься. Убью!» И выпил. Косарев же, побледнев, поставил бокал и, позвав жену, покинул банкет. Ночью он был арестован.

Но слышал я и другие эпизоды. Как-то Сталин пришел на ВДНХ. На выставке он увидел громадный помидор, взял его в руку, оказалось, что с другой стороны он гнилой. Положив на место, пошел из павильона и сказал: «Убрать!» Через минуту добавил: «Помидор убрать, а не директора!» В другой раз в театре, после только проведенного ремонта, он взялся за дверную ручку, дернул ее, и она оторвалась. Подняв ее вверх, он усмехнулся и сказал: «Какая сила, а!» Сидя на просмотре кинофильма «Великий Моурави», он слушал речь полководца, который говорил: «Если Бог мне поможет...», сказал: «Зачем он так говорит? Он должен сказать: «Посмотрим, кто кого обманет». Много таких историй я слышал, может быть, это фольклор? Такие же легенды народ слагал и об Иване Грозном. Иногда в них больше правды, чем в исторических фактах. Как бы то ни было, я за войну Сталину многое простил. Много у него страшных дел, но о нем все-таки так нельзя писать, как пишет Солженицын.

Я не много писал о нем. Статья, написанная о Сталине сразу после войны, далась мне мучительно, но я писал ее от всей души и сегодня не отрекаюсь от нее. Сталин — часть нашей трудной, тяжелой, но исторически обусловленной судьбы. И писать о ней надо так, чтобы никому не дать повода ни для злорадства, ни для хихиканья, ни для плевков в нашу священную кровь. При всех наших ошибках, драмах, мы накопили такие психологические богатства, какими не располагает ни один народ в мире. Они, эти богатства, дают нам право на благодарное уважение человечества. И о наших трагедиях писать надо так, чтобы они вызвали благоговейный трепет, чтоб перед ними человечество

снимало шляпу, памятуя, что это наша кровь, наши слезы, наши горести, наша вера, наше уважение к ним должно быть тем сильнее, что, проходя через них, мы принесли победу миру все-таки.

— Вы сейчас пишете об этом?

— Да, пишу, хотя не знаю, осилю ли тему, смогу ли написать так, как хочется.

И вдруг, без всякого видимого перехода, спросил:

— Вы много читаете, говорят?

— Нет, Л.М., читаю только выдающиеся произведения.

— И много их?

— Нет, не очень.

— Что там произошло с Шолоховым?

— Говорят, редактор «Правды» М. Зимянин испугался, не решается печатать его главу из романа «Они сражались за Родину», посвященную событиям 1937 года. Шолохов считает, что если мы не скажем всю правду об этих событиях, литература наша потеряет свой авторитет в народе. А еще он считает, что знает, что от него ждет народ, лучше, чем Зимянин или Брежнев. Зимянин перенес разговор наверх. Шолохов пробивался к Брежневу, прождал час или больше но у Брежнева не нашлось времени для беседы с Шолоховым. У Сталина находилось, у Брежнева — нет. Что поделаешь, чем выше человек, тем меньше у него времени остается для... человека.

Л.М. засмеялся. Потом спросил:

— А кого из молодых вы цените?

— Многих. Большие надежды возлагаю на Шукшина, Белова, Чивилихина, Липатова и других. Хотя некоторым навредит то, что они уже почувствовали себя классиками...

Я рассказал ему, что только что вернулся из Киева, где общался с украинскими писателями, подолгу беседовал с О. Гончаром.

— Гончар? Я считаю его очень романтичным писателем и честным человеком, искренним и простым. К сожалению, я не знаю украинского языка и не могу поэтому разобраться в шуме, поднятом вокруг его романа «Собор». Вы читали роман?

Выслушав подробный мой пересказ романа и оценку его, он недоуменно спросил:

— Есть художественные недостатки? За это надо его критиковать, но ведь ругают не за это?

Я сказал, что ругают за «искажение правды жизни», выраженное в том, что Гончар считает, что мы неправильно относимся к природе, когда затопляем плодородные земли, леса, превращая все в болота, когда заводы выбрасывают тьму ядовитого дыма. Он осуждает уничтожение исторических памятников, да и искажение человеческих душ.

— Но ведь он прав! — воскликнул Л.М.

— Это вы так думаете! Я тоже так думаю! А вот некий товарищ Ватченко, секретарь Днепропетровского обкома, думает иначе. Он поднял шум, мобилизовал общественное мнение. Кстати, говорят, будто Ватченко освирепел, потому что в одном из персонажей, отправившем отца в дом престарелых, уловил намек на свою персону. Шелест в личных беседах сочувствует Гончару, а 150-тысячный тираж не выпускают со склада. За границей печатают «Собор», а у нас под запретом его распространение. Вот почему нам надо не объезжать прошлое, ибо это все инерция прошлого. И есть только одно средство нейтрализовать силу этой инерции — познать наше прошлое до конца и сказать о нем правдиво все. В этом Шолохов прав. Как говорит поэт (В. Федоров):

Закрытое плитой надгробной,
Уже зарытое навек,
Непознанное зло способно
Недобрый выбросить побег.

И не один роман Шолохова не печатается. Роман Гончара лежит на складе. Ваше «Слово о Горьком» понравилось Косыгину и Подгорному, но вызвало «сомнения» у Брежнева. Федину, Маркову это стремление поспорить писателей с советской властью кажется нормальным? Они ничего ж предпринимают. Уверен, что Горький так бы не поступил.

— А как вы относитесь к писателю К. Федину?

— Противоречиво. Лучшее, что он написал за всю жит, — «Города и годы». Артист в жизни, он артистически погубил свой талант. Он стал холоден, не трогает. Несколько превосходных страниц в «Первых радостях» не спасут роман от забвения.

Из личных встреч вспоминается, как я уговаривал его выступить да вечере 90-летия А. Луначарского. Он тактично рассказывал о своей первой встрече с ним, изображая все в лицах. И сказал: «Я был рад, сам нарком пожал мне руку». — «Что вам, писателю, до того?» — «Как что? Всегда было и всегда будет так, что, чем выше пост занимает человек, тем больший интерес он вызывает у людей». Меня, по меньшей мере, удивили эти слова, тем более, когда я услышал их от писателя. А писатель мне казался всегда высшим титулом среди всех.

Жена Леонида Максимовича Татьяна Михайловна спросила меня о другом корифее — Паустовском, сказав:

— В критический момент 1941 г., когда Леня, оставшись в Москве, отправил меня вместе с женами писателей в эвакуацию, я встретила впервые с Паустовским в Чистополе. Я прибежала на станцию, чтоб узнать, как Леня в Москве. Он сказал мне:

— Я лично с ним не знаком, но он, кажется, сошел с ума.

25 января 1969 г.

После заседания редколлегии остались Л. Леонов, Б. Сучков и я, сидели в кабинете директора и беседовали:

— Я ведь не стремился быть писателем, — говорил Л.М., — я хотел стать художником. Мне доставляло большое удовольствие художественно, изящно оформить рукопись. Если бы я собирался быть писателем, я бы вел записи, например, необычайно интересные впечатления периода Гражданской войны. А какие бывали встречи! На всю жизнь запомнилось. В небольшом городке делаю армейскую газету. Тут и редакционный стол, «верстак» и проч. Вдруг входят буденновцы. Впереди — богатырь с усами и в папаше — Шевченко. «Можно тут переночевать?» «Можно, — говорю. — Только прошу ничего не воровать. Знаете, казенное имущество». Смеются, но обещают. «Старшой» долго беседовал со мной перед сном. Никогда не забуду неповторимость, мощь и силу и лаконизм его насмешливой речи. «Ворвались мы в город N. Пилсудчиков порубали! Водки выпили и вперед! Сейчас идем на Врангеля». Много было таких встреч, незабываемых по колориту, неповторимости фигур того времени.

Перешли к разговору о творчестве Леонова. Б. Сучков спросил:

— Л.М., вы составляете план романа, прежде чем начать его писать?

— Да, обязательно. То есть я, может быть, не пишу на бумаге, но я всегда его продумываю во всех его опорных точках. И всегда вижу «узлы», которые бросают отсветы на то, что написано уже, и на то, что будет. В большом романе легко заблудиться. Я могу графически вычертить архитектуру любого своего произведения.

На мой вопрос он ответил, что не может писать роман «кусками», пишет последовательно, главу за главой. Завершив вчерне, делает бесчисленные вставки, переписывает все заново. С изматывающим напряжением подходит к тем фонтанирующим точкам, которые скрыты за стеной в углу и которые определяют внутреннюю энергию во всем произведении. И — «постоянно переписываю. Надо переписывать, а не перепечатывать. Глаз — барин, рука — труженица. Глаз может снисходительно пропустить строчки, сделанные и кое-как, а руки этого не допустят, то есть не станут переписывать сделанное кое-как, а начнут переделывать».

25 января 1969 г.

Л.М. спросил меня:

— Не кажется ли вам, что Горький всегда тщательно продумывал произведения от начала до конца так, что, например, прочтя первый акт «Вассы Железновой», вы можете с уверенностью сказать, чем закончится вся постройка?

Я ответил, что Ромен Роллан, едва ознакомившись с первыми главами «Жизни Клим Самгиа», написал Горькому, что с неизбежной

ясностью Самгину предстоит совершить предательство или полупредательство.

— Да что вы? А я после чтения первого акта «Вассы Железновой» сказал себе, что дальше все ясно. Но вот были у Г. моменты подлинного горения, волнения, когда он мучительно воевал со своими героями, когда они не поддавались ему, а он не осиливал их, они вставали, как живые. Я таких героев вижу в «На дне», в автобиографии...

У него не все равноценно... Правильно ли мы делаем, печатая теперь даже то, чего он сам не печатал? И зачем все тащить в собрание сочинений?

9 мая 1969 г.

Л.М. по телефону:

— Вы знаете, я весьма обеспокоен организацией каких-то монументальных конференций в связи с моим 70-летием. Как вы думаете, если я направлю письмо с просьбой не устраивать шумихи, это не истолкуют как кокетство?

— Не советую вам. Мы великие мастера подчеркивать друг у друга недостатки, промахи. И очень неохотно говорим о находках, достижениях. В свое время все плохое было сказано о вас, вы испили до дна чашу сию. Теперь же позвольте, хотя бы с опозданием, сказать вам доброе. Конечно, будет немало елея, немало не от сердца. Пренебрегите. Но пусть скажут и хорошее. Это нужно не только вам, но и нашей литературе, народу. Поэтому я просил Н. Потапова заказать хорошую статью о вас либо К. Федину...

— Нет, нет, только не ему... Человеку театральному, неискреннему...

— Он может написать и искренне... Но я назвал еще В. Чивилихина, напечатавшего хорошую статью о вас в «Огоньке».

— В ней много неточностей...

— Да, но в ней есть более важное — неподдельная любовь к тому, о ком он рассказывает.

15 октября 1969 г.

Провел три часа с Л.М. на даче. Встретив, он сразу спросил:

— Не понимаю, что у нас происходит. Никакой дисциплины. Я думал, что после Хрущева дальше идти некуда. Оказалось, можно идти дальше. Что же это творится?

Я перевел разговор на литературу, рассказал о недавней поездке в Италию, о писателях.

— Мне кажется, что слишком увлекаются писателями, которые скользят по поверхности, подчеркивают печальные стороны нашей жизни. Между тем, мы накопили такой колоссальный духовный

моральный фонд, с которым ничто несравнимо. Да, у нас был 1937-й год, был Сталин, и при всем при том наши духовные психологические накопления стоят столько, что нам нечего отводить в сторону глаза. Пусть наверху не боятся вступать в прямой спор с противниками. Все, что сидят в отделе культуры ЦК, — туда ли направлен их ум, куда следует? Кто там — чего они стоят? Хотелось бы побеседовать.

Вспомнил в связи с чем-то о Симонове.

— Да, у него нет языка и нет умения строить характеры. Остальное все у него есть. Коновалов, «Былинка в поле»? Не читал. Вы знаете, нашим русским писателям недостает подлинного мастерства. Мне кажется, что я в кое-какие тайны проник, но я — не Горький. Я поражаюсь, когда он успевал читать и править. Я не успеваю. Но вот что можно было бы сделать. Собрать человек десять лучших писателей. Собрались бы у вас, а я к вам нечаянно пришел бы и побеседовал. Скажем, поговорил бы всесторонне о книге одного из них. Но так, что это и другим полезно. Только пусть они не знают, что это делается по моему желанию. Какой я в самом деле учитель? Но кое-что я могу им и подсказать.

14 ноября 1969 г.

Сегодня Л.М. и я на квартире у него давали интервью корреспондентке Елене Сергеевне Медведевой («Известия») по поводу Полного собрания сочинений Горького.

9 декабря 1969 г.

Пришел к Л.М., чтобы он внес исправление в интервью. Он долго отговаривался, потом начал правку, причитая: «Ну, кому это надо! Мало ли что по глупости наболтаю. А как записано! Длинными, совсем не разговорными фразами. Неужто это я так говорил? Мог, мог!» Раза три бросал работу. Я вновь приневоливал его. Наконец первая часть была закончена. Дальше он все зачеркнул. После его правки я начал читать текст и вносить поправки уже своей рукой под его диктовку. После долгих споров удалось согласовать и ответы на заключительные вопросы.

Л.М. сказал:

— Прошу вас, завтра с утра пройдитесь еще раз по тексту, вычеркните всю пышную бутафорию, все неестественное, промойте как следует вату...

Только у меня в записной книжке осталось интервью в первозданном виде. Сравнивая это с газетой, можно судить о том, как Леонов ответственно относился к каждому написанному слову.

Угощал меня заливным поросенком, нахваливая блюдо. Затеял шуточный разговор, но, как всегда, быстро перевел его в русло

серьезных раздумий. Говоря о том, что в мире плохо, что об этом надо бы кричать, чтобы народ не был в неведении, Леонов сказал:

— Солженицын, конечно, талантлив. Но раньше он был более талантлив, чем теперь. Разболтал свой талант в произведениях, написанных не без мелкого политиканства. Он кто по национальности? Не знаете? Что-то его усиленно защищают «те». С людьми других убеждений обычно они так не носятся.

Когда в 1946 г. я писал «Золотую карету», то ничего контрреволюционного в ней не было. Но мать Маленкова увидела в старухе, выходящей за молодого, намек на себя. Дальше — цепная реакция, которую заканчивала угрожающая фраза Жданова: «Пусть Леонов попробует только поставить свою пьесу...» Решил написать письмо с отказом от профессии русского писателя, но, оглянувшись на народ наш, его подвиг, не написал глупости... Русскому писателю не выстелят дорогу коврами, всегда найдут, за что ударить... Вспоминаю и гражданские годы — чего там не было пережито — как больной желтухой шел за тачанкой... но и мелодии революционных песен... Изымите из меня это — и меня не будет, как писателя и человека. И ведь все это заставляет любить свою землю такой мучительной и все же непреходящей любовью. Вот что должно быть в человеке. И это обязывает не только к искренности, но и к целомудрию, не позволяет повторять поступок бойкого библейского мальчишки. Когда же С. Аллилуева пишет о собственном отце то, что она пишет, это страшно... Может, я консерватор? Никто не может сказать, что я не хлебнул горя и страха от Сталина вволюшку...

Говорят, будто Солженицыну намекнули, что могут выслать, на что он ответил: «Это значит обречь меня на смерть!» Если он так сказал, то это многое значит.

Леонов устает от своих серьезных мыслей. По телевизору показывают цейлонского слона, лежащего в воде, Л.М. с завистью: «Вот как надо жить: ни тебе мыслей в голове, ни забот никаких, тебе интервью давать не надо. А тут как собака...»

Я засмеялся, вспомнив, как в первый раз приехал к Леонову на дачу в Переделкино. Небольшой рыжий пес неопределенной породы с лаем бросился в открытые ворота. Я приготовился обороняться, а он, не обращая на меня внимания, промчался мимо меня.

— Вы чему смеетесь?

Я рассказал.

— Вы это — с намеком? Нет? Шутите вы как-то своеобразно. А пса этого я купил щенком за 1,5 рубля. Он знает, что ничего не стоит.

Тут вмешался в разговор старый друг Л.М., заступившись за пса:

— Умница. Не бегают в ваш розарий.

Л.М., весело захохотав, сказал:

— Он не бегают, когда я дома. Но стоит мне на час отлучиться, мотается, как исступленный, по всей территории. Знаю я его, а все потому, что чистая цена ему полтора целковых.

12 декабря 1969 г.

Звонок Л.М. в 8 утра с просьбой о помощи:

— Рабочий из Бузулука прислал письмо. Вспоминает, что еще мальчишкой видел книгу Горького. На обложке нарисован человек, прикипший ухом к земле. А в книге такие стихи...

Я знал это издание повести Горького «Трое», где герой Павел Грачев сочиняет стихи. Л.М. понравились они. Сказал, что рад ответить рабочему, и благодарил меня.

14 декабря 1969 г.

Из выступления на встрече с преподавателями в МОПИ

Леонов начал с того, что у нас в литературе пропала сортность, работа над художественной тканью. Этот недостаток часто заслоняется общественной важностью темы. В литературе меня интересует не погоня за последней формой, а то, как проступает рисунок из неизвестности.

Солженицын талантлив, но меня больше интересует не описание лагерной жизни. Важнее другое — как это могло образоваться в XX веке, почему, генезис. Какова причина подобных дел и поступков. Ведь никто не приказывал приносить страдание, звереть, терять человеческий облик, терзая других. Как могло это случиться?

Вопрос: Есть ли реальные прототипы у Евгении Ивановны?

— Я никогда не пользовался прототипами.

— Мышление затруднено сегодня... В «Золотой карете» переделан конец. Второй раз в жизни поддался гражданским мотивам, а художник должен оставаться художником.

Четвертый акт в «Нашествии» писал тоже под влиянием сообщений о Зое.

Вопрос: Как относитесь к традициям Мейерхольда?

— Я — против. Зритель ошеломлен и верит в искренность и честность этих приемов. Жизнь так сложна, что ее изобразить без выкрутас — гения не хватит. А новаторство — высокое звание, которое народ присуждает потом.

Вопрос: Какое влияние на ваше творчество имеет связь с читателем?

— Никакого. Я не знаю, что это такое. Я, например, не знаю до сих пор, дошло ли до читателей «Дороги на Океан» мое несколько ироническое отношение к будущему.

Вопрос: Отношение к факту, документу?

— Сомнительное. Нужна экстракция из факта, а не факт. Сам же факт может завести в такие трясины, из которых не вырвешься.

Вопрос: Какое отношение к спорам о реализме и романтизме?

— Меня они не интересуют. Сороконожка ползет, она не думает, какую ногу поднимать.

О трудностях в судьбах Маяковского, Горького говорить не буду.

Я никогда не писал воспоминаний.

В том числе и о Горьком не люблю воспоминаний. Дневников не веду. Музыка? Осенью в Румынии в церкви слушал Баха. Здорово!

— Читал ли Кочетова «Чего же ты хочешь»? Нет, не читал.

— Бабель — интересен, но очень неровен. Одна книга достойна внимания. Все остальные — ниже ее.

— Есенин — человек непривлекательный, мало работал над собой, окружал себя не теми людьми. Умнее себя человека не любил. Норовил затеять с ним скандал. Пьянство и искусство — не совместимы. Губил свой талант.

Я видел руки Достоевского, Толстого - такие не схватятся за рюмку.

— Клюев — поэт с большим подпольем, т. е. внутренним содержанием, а в этом главная ценность произведения. Да еще во внутренних креплениях, психологических связях, в словесной чеканке.

— Обо мне много пишут, но никогда не читал о процессе — как делается вещь. Речь идет об инженерии произведения, как писатель бисеринка за бисеринкой, слово за словом создает произведения.

21 декабря 1970 г.

Л.М. о Достоевском. — И вдруг ложится на крыло. И так летит, что только крылышки трепещут. Крыло орла, распахнутое до предела. Подумать только, что он с первой редакции нес свои произведения в издательство! А что бы он написал, если бы имел возможность, как мы, сидеть, переделывать. Его диалоги — черновики, но какие!

Я пробовал как-то, зная общий план романа, прервать чтение и представить себе дальнейшее раскрытие характера, действия... Нет, все неожиданно.

Человеческая истина — не в книге, она в зрачке человека.

— Папесса? Иоанна? Она была. Ею интересовался Пушкин. Я достал книгу XVIII в. Католическая церковь скрывает. Пушкин хотел о ней написать. Ее толпа растерзала.

29 декабря 1969 г.

Позвонил по телефону Л.М.:

— Сегодня я говорил с Н. Михайловым по поводу писем Горького. Вы знаете, я против того, чтобы выносить на всеобщее обозрение то, что писатель не предназначал для печати, что составляло его личное

достояние. Михайлов согласен со мной и просит обдумать, как лучше это сделать в собрании сочинений... Помните, у меня в «Слове о Толстом» есть фраза о «подкроватной литературе»? Можем мы от нее спасти Горького?.. Дотошные «последователи» норовят показать писателей совершенно голыми... Надо бы вам выступить со статьей о праве писателя обороняться от вторжения следователей и пошляков Я сказал, что уезжаю вечером в Киев.

— Увидите Олеса Гончара?

— Да, он — мой друг.

— Он очень хороший человек. И по-настоящему талантлив. Я читал его романы, ездил с ним в Америку. Хорошая у него сердцевина. Порядочность. Скажите ему, что я эгоистически заинтересован в том, чтобы ему было хорошо.

16 января 1970 г.

Позвонил Л.М., заявив, что без меня не поедет на совещание к Михайлову, куда приказано представителей ИМЛИ не приглашать.

Встретившись перед совещанием, мы заехали инкогнито на выставку Р. Роллана (25 лет со дня смерти). Л.М. долго стоял перед фотографией, запечатлевшей его выступление на юбилее Р. Роллана в 1936 г. в Париже. В президиуме Л. Блюм, М. Кашен. Сказал: «А в Париж тогда Р. Роллан не приехал!». Я, рассматривая фото, заметил: «С каким пафосом, воодушевлением, верой вы произносите приветствие!» Л.М. ответил: «Он тоже верил!» И вдруг спросил:

— Правда, что Горький уговаривал его переехать в СССР?

— Правда!

— А вдруг его в 1937 году? А? Представляете — сидит величайший гуманист за решеткой и думает о своем товарище: «Удружил!» Вот в чем главная вина Сталина, он подорвал веру в гуманные начала нашего общества. Вот это ему никогда не простится.

Вернувшись к мыслям о Роллане, вдруг сказал: «Все-таки скучным человеком он был. И творчество его скучное — а?»

Стоим у Библиотеки иностранной литературы. Валит хлопьями сырой снег. Л.М. говорит на свою излюбленную тему — о необычайной остроте ситуации в мире.

— Самое страшное в современной жизни — полное бессилие человека перед обстоятельствами, неумолимым ходом событий. Помню, в 1912 году я стоял на углу, где ныне музей В.И. Ленина, и смотрел на проезжающего императора Николая II. Он весь сиял довольством, а через четыре года сняли с него голову какие-то большевики. Он был уверен, что они не представляют собой никакой силы. А если бы он в 1916 году собрал представителей народа и заявил им: «Все ваше!», то по нему застрочили бы из пулеметов те самые помещики, капиталисты,

что шествовали за ним в качестве его свиты. Выходит, что и царь не мог?

— Вообще-то царь кое-что может сделать для народа, если поймет и захочет.

На совещании у Михайлова сидел молча, хотя речь шла о перспективах издания. Сообщение почему-то было поручено сделать не ему, не мне, а Корчагину и Зиминной. Между тем, решалась судьба собрания сочинений. В конце заседания Леонов высказал то, что говорил накануне мне в связи с письмами. Ему возражал М.Б. Храпченко. Неожиданно дал очень положительную оценку первым томам издания главный редактор Гослитиздата А.И. Пузиков, а недостатки его назвал «блохами». Он явно не подыгрывал Михайлову, а вот главный редактор Комитета Емельяников стал говорить, что издание плохое, комментарий трудный, не продуман тип издания, но он не смог переломить общего положительного отношения присутствующих. Когда как-то я сказал жене, что ее диссертант по Золя вдруг предстал великим горьковедом, она с досадой ответила, что та книжонка, из которой они лепили диссертацию, свидетельствовала, что уж Емельяников никак не должен бы быть ни в чем «главным».

Л.М. молчал. Михайлов с досадой закрыл заседание — похоже, что кому-то нужный разгром не получился. Когда мы шли по Петровке, Л.М. сказал:

— Кому-либо одному наверху что-нибудь не понравилось или кто-либо в редколлегии не подходит, и вот уже угодники готовы не только зачеркнуть работу, но и самого Горького... А почему такие, как Михайлов, или те, кто в данном вопросе его ориентировали из верхов, вернее выражает мнение народа, чем мы? Когда и где народ уполномочивал его быть моим руководителем, наставником и даже хозяином?

— Л.М., — сказал я, — надо сопротивляться и давать отпор, а не отступать перед наглой силой...

26 января 1970 г.

В девять часов вечера звонок Л.М.:

— Александр Иванович, я знаю, что у вас врагов не меньше, чем у меня. Поэтому вы меня должны понять. Я очень в тяжелом настроении, на краю отчаяния.

— Леонид Максимович, успокойтесь, ничего не произошло. Еще много будет всякого по изданию. Я ведь работал в первом после войны издании Горького и знаю, как начальство держит руку на пульте. Сейчас еще более трудное время. Мы им будем противостоять своими знаниями и умением дело делать.

27 января 1970 г.

Пришли вечером втроем с Ю. Барабашом и Ю. Мелентьевым. Оба они работают в ЦК, и мне хотелось, чтобы Л.М. пообщался с «цекачами». Тем более, что он их знал. Барабаш спросил Л.М., не забыл ли он их совместного похода в Ботанический сад в Монреале.

Ю. Барабаш рассказал, как в последний день пребывания в Канаде, когда все идут в магазины, они посетили Ботанический сад, где сотрудники с удивлением их сопровождали, поражаясь компетентным вопросам писателя о каждом растении.

— Когда мы вышли из Ботанического сада, я увидел под забором действительно редкое растение — редкий сорт вороньего глаза, не с черной, а с красной горошинкой. Воровски оглядевшись, я тут же сорвал его и положил в карман. Посадил его у себя на даче, но то ли обронил корешок, выросло совсем другое...

Он еще много рассказывал о растениях. Вспомнил академика Комарова, который описывал редкие растения Сахалина, Камчатки. Л.М. размечтался побывать на Курилах, где есть редкостное растение. «Конечно, если не отдадим Курилы, как отдали уже многое». Поговорили о кактусах. На какое-то время меня отвлекли, а когда снова стал вникать в разговор, то услышал:

— Там господствуют Грацианские. Я боюсь приходить в Союз писателей, потому что почти никого не знаю. Между тем, эти неизвестные люди задают тон в СП, говорят от имени русской литературы. Дело доходит до того, что Демичев делает доклад, а Тамара Иванова, от которой когда-то И. Бабель, мой хороший товарищ, сбежал во Францию и сидел там несколько месяцев (вы представляете, что в то время значило задержаться за границей?), рискуя собой, до тех пор, пока она в его отсутствие не окрутила Всеволода Иванова, так вот эта Тамара Иванова кричит Демичеву: «Факты давайте! Документы!» А он принимает это за голос писателей. Сколько там таких «писателей»?

— Л.М., но почему вы ничего не предпринимаете, чтобы СП сделать «писательским»?

— Бесполезно. Теперь уже ничего нельзя сделать.

— Так может сделать то, что предлагал Горький в одном из писем Молотову, — закрыть!

— А что вы думаете? Я бы решительно реорганизовал ССП, хотя бы на время закрыл, дал бы писателям повысить свою квалификацию в объединениях драматургов, прозаиков, поэтов...

Но «те» сильнее. Еще исключат из ССП Леонова, Шолохова, Федина... А надо что-то делать, чтобы поднять авторитет писателя, который уронили преуспевающие дельцы от литературы. Надо резать ту макулатуру, которая наводняет журналы... И в театрах — то же. Не дописав пьесы до конца, предоставив дописывать диалоги начинающим режиссерам, этакий мордатый драматург с дамой катит на юг или за границу, отдыхать.

Вот в телевизоре сценка: небрежно развалившись в кресле, Р. Рождественский бросает: «Нет, я не собираюсь писать о Москве». Даже если Р. Рождественский уже классик, почему он позволяет себе в такой позе встречаться с народом, говорить таким тоном?

До сих пор литература считалась самым тяжким трудом, а писатели — цветом народа, его честью, достоинством... Литература выжимает из человека все соки, не давая взамен ничего, кроме мучительного чувства неудовлетворенности и — редко — сознания хорошо выполненной работы...

Есть много причин, которые привели к снижению авторитета писателя. Одна из них та, что наверху нас не читают, мнением русских писателей не интересуются те, от кого зависит ход дела в нашей стране. К властям приближены не лучшие писатели. Верхушка СП часто идет на поводу худших членов организации, раболепно подчиняется всяким руководящим инстанциям, в которых допущены сидят проходимцев и русофобов. Сталин, как бы к нему ни относиться, интересовался культурой, много читал. Когда я встречался с ним, то чувствовал, что он не только знал обо мне, но и кое-что из написанного мной читал. Сталин вообще был странным человеком, в нем сочетались огромный ум, хитрость, но и какая-то непосредственность. На просмотре фильма он сказал по поводу гибели детектива: «Чуть не так и — готов!».

Я помню и другое: в Подмоскowie, на приеме писателей, пьяный Хрущев, этакая раскачивающаяся бочка, говорил: «Я ваших произведений не читал. Если бы я их читал, меня бы выгнали давно, потому что есть другая литература, которую я должен читать. Но вот в молодости я читал книгу о Бове Королевиче, вот это была книга, до сих пор помню...»

— Когда я произносил «Слово о Толстом», Хрущев сидел, подперев голову обеими руками, и слушал. После окончания торжественной части М.А. Суслов пригласил нас в небольшой зал, где был накрыт стол. Подойдя ко мне, Хрущев сказал: «А вы, Леонов, опасный человек!» Я снял очки, заморгал и, изобразив простачка, сказал: «Ну чем же я могу быть опасен, Никита Сергеевич, — я говорил только то, что есть». Он ответил: «Опасный. Полтора часа зал слушал вас, почти не шелохнувшись!» Вот это он сказал, а о самом докладе — ни слова.

— Великий вред, трудно поправимый, нанес этот человек нашей стране. Великий! Еще не раз мы ощутим это. Никто не сыграл большей роли в обесценении всего, что у нас есть, чем этот человек и, главное, в обесценении труда.

И, снова помолчав, спросил:

— С вами можно совершенно прямо? Ну, так вот, Хрущев ушел, но я не чувствую особых перемен в нашей области. Не чувствую заинтересованности в нашем труде. Знаете, даже Екатерина создавала нужную атмосферу, нужное окружение. Я уверен, что писатели нужны

советской власти, народу. За пятьдесят лет наша страна накопила могучий мыслительный капитал, мощные психологические ресурсы, которыми не обладает никто в мире. Я не исключаю 1937-й год, ничего не исключаю. Кто может принести их миру в их подлинном значении? Не Евтушенки же. Но для этого нужно писателей окружить вниманием, создать соответствующую атмосферу, чтобы каждый работал над своей любимой темой, в своем ключе. Леонов любит философию и психологию, Шолохов — эпическую насыщенность... И мы работаем, но я не чувствую доверия, заинтересованности даже со стороны издательств. Когда-то владелец издательства «Шиповник» встретил А. Волынского, предложил ему деньги, чтобы он поехал в Италию на два года и написал книгу об итальянском искусстве. А у нас редакторы газет и журналов редко снисходят до звонка даже известным писателям. Скорее, через секретарей и помощников... Они ведь тоже номенклатурные, а там уж соблюдение уровня общения — закон. Вот тебе и демократия социализма!

— Я всегда твержу: «Ничего не выбрасывайте за окно — подберут другие». Оказывайте уважение писателям, ибо у них всегда есть какие-то внутренние токи, связывающие с глубинами жизни, ничего не скрывают от них. Ведь мы все знаем больше, чем номенклатура. Но почему мы должны получать информацию из плохих источников из грязных, мутных, слушая Би-би-си, «Голос Америки» и др., где этот материал готовят ненавистники СССР, бежавшие диссиденты и им подобные? Не лучше ли пить из чистых источников? Ведь тогда и наши удары по противникам будут сильнее. Когда-то я об этом сказал Сталину — о необходимости информации. Он ответил фразой: «Дать десять мандатов!» Я не совсем понял ее смысл, решив, что он просит назвать десять человек, которые могут быть допущены ко всем источникам. Каюсь, растерявшись, я назвал три человека. Он ответил: «Пять мандатов!».

— Поменьше бы правители ездили на охоту и рыбалку, а больше думали... Надо поставить диагноз. Пусть и писатели, хотя бы пять человек, соберутся и выскажут свое мнение о главном, что определит будущее нашей страны. Сталина знали во всем мире, боялись. Но на третий день войны этот человек плакал... Что же может случиться, если мы не предотвратим новую войну?

Он стал говорить о возможной угрозе стране и с Запада, и с Востока...

— А у нас бесхозяйственность... Мы уничтожаем в Сибири кедровые леса... У нас вообще выработался какой-то особый тип руководителя, которому нет дела до пользы дела, до интересов страны и человека... Я уж не говорю о том, что ни один из наших государственных или партийных деятелей не догадывается пригласить с собой в поездку по стране писателей (вы понимаете, что я не о себе хлопочу, мне не по возрасту). А ведь из-за его плеча писатели своим особым взглядом

могли бы многое увидеть не так, как видит он. От сопоставления же впечатлений общая картина получилась бы куда более объективной. Когда-то А. Воронский рассказывал мне, будто на Политбюро Л. Троцкий предлагал, чтобы члены его дружили с отдельными писателями, встречались с ними, ездили по стране, предлагал как бы «раскрепить» писателей по высшим государственным деятелям. При всем негативном моем отношении к этому человеку, я не считаю его предложение плохим.

Сегодня надо поставить диагноз ситуации, сложившейся в мире. Решается судьба доктрин. Надо думать, что происходит в мире и что надо предпринимать. Писатели — не худший мыслительный отряд, способный лучше многих политиков понимать происходящее и определять, что на пользу стране, а что — во вред.

Надо пересмотреть всю пропаганду — изгнать убожество, трафаретность, общие слова. Может, вместо таких передач по радио пусть звучит хорошая музыка?

А что творится с историей? Разрушение общества начинается с разрушения святынь. Это из «Золотой кареты». Фразу пропустили по недосмотру. Сколько мы сожгли храмов, икон, распродали и растащили национальных ценностей? Посмотрите у Брокгауза, у нас было 55 Рембрандтов, — где они? Где иконы? Мы уничтожали их как предметы религиозного культа. А ведь это святыни, которыми от имени русской земли матери благословляли своих детей на борьбу с монголами, немцами, — об этом мы забыли? Есть «чувство локтя», но еще большее значение имеет связь по вертикали — со своими предками и потомками... Предки наши видят все, видят, как ты идешь, и кричат: «Не крути хребтом, не криви, не хитри, иди достойно!»

Прошлое? Уничтожив святыни, получают право бить человека по морде.

Помню, написал в «Дороге на Океан» фразу, что «ее очаровала наша русская зима» — и замер — что мне пришьют защитники нашей ортодоксальной идейности за слово «русская»? Ведь вот недавно я написал на эту тему статью, и ее не пропустили.

Я сказал об этом Зимянину. Он ответил: «Важно, что такая статья была написана. И ведь, Л.М., не только думают над этим, но многое уже делается. Например, во Владимире».

— Что во Владимире? Соборы, исцарапанные внутри словно гигантскими граблями? Все равно, что подштанники без тела.

Вообще сегодня Л.М. не принимает никаких возражений. Нападает на театр, говорит, что он утратил свое бывшее значение, квалификация актеров низкая... Надо, чтобы актеры играли не по долгу службы, а по призванию, играли в тех пьесах, которые бы отвечали внутренним склонностям актеров. Режиссеры подавляют актеров... «Я знал: В.И. Немирович-Данченко — большой режиссер, широкая артистическая натура. Идет однажды по улице Горького, а я стою с Ливановым.

Немирович одет с иголочки. Поравнявшись, говорит Ливанову: “Вот бы мне ваш рост. Впрочем, нет, не надо!” Но даже Владимир Иванович, часто встречавшийся в МХАТе со Сталиным, не сказал ему, что театр должен иметь право ставить пьесы, которые нравятся только театру и зрителям.

Я возразил: «Л.М., дело не только в актерах и режиссерах, но также в недостатке хороших пьес, в утрате драматургического мастерства».

— А кто им интересовался? Кто из критиков написал хоть одну статью об инженерии моих пьес? Только раз, в статье В. Ермилова, я встретил рассуждение автора о том, что надо задуматься над тем, как Леонов строит свои пьесы. Одна фраза — и то я благодарен критику. Между тем, пьеса — это сложный и живой организм, в котором все имеет свою определенную функцию. Часто в современных пьесах не диалог, а треп о малозначительном. Писатели недостаточно работают над произведением... Я карандашом переписываю каждую свою страницу не меньше семи раз, прежде чем начинаю писать чернилами.

— Да, вот еще беда. Пьют. А пьющий писатель для меня — алмаз с изъяном.

Вспомнили о таланте А. Твардовского, о том, что пил по какой-то причине.

Л.М. сказал:

— Видите ли, мне кажется, что он когда-то был сильно уязвлен. И это где-то внутри саднило. Потом он попал в определенное окружение, потом с этим окружением скрепил связи родственно. И теперь запутался так, что вряд ли что можно уже сделать.

Перешли за стол. Выпили по рюмке «леоновки». Я пошутил: «Приобретем и мы изьянец». Он отшутился: «Ладно — ловить меня?» За столом он рассказывал об аресте отца в 1908 году. Шкулев прибежал, сказав матери, что он не имел никакого отношения к тому, что печатал Леонов в журнале: «Мадам, вы меня в это дело не втягивайте!» Мать стояла в ночной рубашке. Пристав извинился, сказав, что не смотрит в ее сторону.

Вспомнил, как сотрудничал в военной газете. О Фурманове говорил тепло. Показал свое собрание сочинений, изданное М. Бабовичем в Югославии. Потом показал 2 тома, выпущенных в Гослитиздате, в разных переплетах, на разной бумаге... Эти тома, как сообщила мне Татьяна Михайловна, привели его в отчаяние.

Провожая, она сказала мне: «Спасибо, кажется, ему легче. Он опять шутит, смеется».

7 февраля 1970 г.

Сегодня работали целый вечер над трудными документами, которые следует включить в Полное собрание сочинений Горького. Много говорил о Горьком, то восхищаясь, то споря с ним.

— Конечно, Горький — настоящий богатырь. Он был на редкость щедро одаренный человек, энциклопедически образованный. Он мог поразить вас рассуждением о космических лучах, о монете времен Митридата. Удивительная политическая темпераментность. Но думаю, что его политическая ярость все же мешала ему как художнику, мешала быть художником, расширяющимся на века, как Л. Толстой. И, знаете, социальная острота порой тоже перерастала у него в свою противоположность: садясь за стол, он заранее знал судьбу своих героев. А вот я не знаю.

— И вот на вершине мировой культуры и славы — ошеломляющее письмо М.И. Будберг, письмо, почти унижающее его: «Вы относитесь ко мне, как “барыня” к “плебею”, позволяете покрикивать на меня, а ведь вы — единственная женщина, которую я люблю и ближе которой у меня нет человека»... Он — ей? Как это случилось? Чем она его держала? Быть может, как женщина умная, она подсказывала ему, как художнику, нечто интересное? Нет? Легкомысленная? Не говорите так о ней. В ней была своеобразная красота. Ну как вы можете говорить «лошадиная»? Ведь я видел ее, когда ей не было сорока. И, знаете, однажды при ней он сказал мне, что Марья Игнатьевна ведет свою родословную прямо от Петра Великого. «Мария, пожалуйста, продемонстрируй!» Она вышла, сбросила юбку и вышла в розовеньких рейтузах, поставила одну руку на бедро, другую отвела в сторону, откинула голову назад и правда — мы увидели Петра. А вы — некрасива! А письмо А.М. — неожиданность. И когда оно было написано — осенью 1925 года? Вскоре после этого я приехал к нему в Сорренто. Он был похож на короля, который получил королевство не по наследству, а сам создал его. Широкий жест, шляпа с полями на 2—3 см шире обычных, легкость, стройность, непринужденность — красив, величествен и артистичен он был в каждом своем движении. И это тоже не позволяет мне согласиться с вами, что в случае с М.И. ему изменило чувство прекрасного. Видимо, было в ней что-то, что либо ушло с годами, либо мы не прозреваем его через ее старость.

Я рассказал о Сорренто, где только что побывал, работая со студентами в семинаре русского языка... Побывал в доме, где жил Горький. Он высится над Сорренто. Отсюда, увидев все, я понял, почему это «Сорренто», что означает в латинском — «улыбка».

Л.М. прочитал мне шутливое «удостоверение», выданное ему Горьким, в котором говорилось о благопристойном поведении Леонова.

— В тот мой приезд он был как-то по-особенному мил, заботлив предельно внимателен. Тогда же, в один вечер, когда мы возвращались, Горький сказал ошеломившую меня фразу: «Вы — великий писатель, а я только интересный литератор». Я никому не доверял этой фразы и вас прошу не говорить об этом. Впоследствии я часто задумывался, что могло у Горького вызвать эти слова...

— Но и ругать он умел. Рассердился за то, что герой говорит у меня: «Мысль — вот источник страдания». А я, грешный, и сейчас думаю, что познание мира — процесс мучительный и многослойный, в котором разум — один, но не единственный рычаг — а?..

Мы вернулись к рассмотрению заметок Горького.

— Тут много такого, что можно рассматривать, как наброски для памяти, своего рода записную книжку. Давайте так их и дадим. В письме к Ленину упрек в барстве он бросил сгоряча, говорите, что в «Несвоевременных мыслях» повторит? Видимо, кто-то ему подбросил этот аргумент. Возможно, Богданов?

— Что ж, надо откомментировать. Но мы не безответственные люди. Важно, если сам автор не предназначал для печати, соблюдать его волю. Брать лишь то, что не только обогащает писателя, но и народ, страну. Мы живем в этой стране, исповедуем господствующую в ней идеологию, должны беречь ее достоинство. Как говорили древние: «Пусть консулы будут бдительны» (Леонов сказал это по-латыни). В бытность нашу в США я заявил: «Вас интересует наша литература только с точки зрения того, не начинается ли у нас стрельба? Между тем, у нас создана большая и честная литература. Вся наша страна — одна громадная лаборатория».

— Мы не наживались на слове. Мы писали так, как думали, верили так, как написали. Вот наши раны, вот — шрамы, смотрите.

— Не знаю, останется ли что после меня? Надолго ли то, что написал? Но я честно старался осмыслить путаницу нашего столетия, протуберанцы, проносящиеся из края в край нашей страны, сотрясения вулкана, на котором мы живем.

— Если вулкан чувствуется в произведениях талантливого писателя, они надолго, — сказал я.

— Я боялся, избегал прямолинейности. Не верю, что лобовое, прямое отражение явлений может обеспечить произведению долгую жизнь.

— А чем вы все-таки объясняете такую ненасытную жажду чтения у Горького? Ведь он даже Чехова подозревает в невежестве, Толстого? Интересно, что, великолепно образованный, он как-то внутренне робел перед дипломированными людьми, перед «аристократами», боялся, что может показаться им недостаточно культурным. Сложным человеком был Горький. Противоречивым. В последние годы в его голосе нет-нет да и прорывались нотки снисходительности...

Прервал рассказ и, любуясь выступлением фигуристов, говорил:

— Вот и в нашем деле: часто молодой писатель не владеет тайнами мастерства, неопытен, но... один жест юности, удачный, верный, непосредственный и — все получилось.

14 февраля 1970 г.

Продолжаем работу над материалом из архива Горького. Но еще вчера по телефону он разыграл меня. Изменив голос, он спросил:

— Это член редколлегии «Нового мира»?

— Простите, с кем я разговариваю?

— Я — писатель. Написал роман объемом 157 авторских листов и хочу предложить «Новому миру». Моя фамилия — Леонов.

Сегодня он с этого начал:

— Редакцию журнала надо было обновить. Хорошо, что вы согласились. Но редактором надо было назначать писателя. Косолапое — недостаточно авторитетная фигура.

— Л.М., я «согласился» поневоле, как член партии, по приказу. Я не верю, что линию этого журнала, групповщину его можно изменить, если аппарат там остается. И зачем мне это? Я бы с удовольствием пошел в новый журнал, если бы его создали, где редколлегия состояла бы из значительных русских писателей и критиков, которые способны думать не о личных и групповых интересах, а об интересах нашей литературы, нашей страны. А так — я ведь член многих редколлегий, но ни один журнал мне не кажется лучшим. Можно бы поднять уровень журналов, их значимость для культуры.

— Это верно. Журнальное дело очень важно и для писателя, и для читателя.

Перешли к Горькому.

— Знаете, то, что рассказывали близкие о последних днях Горького, — страшно. Я был ошеломлен холодом и безразличностью рассказа П. Крюкова, записанного Тихоновым, ссорами между Будберг и Екатериной Павловной, тем, что передала Олимпиада Черткова... (переданные Леоновым подробности опускаются).

Снова говорим о современной литературе, о Солженицыне.

— Не обидели мы его чем-нибудь? Я спросил у П.Н. Демичева — не допустили ли в отношении Солженицына небрежности? Он ответил, что беседовал с ним будто мирно и обнадеживающе.

— В литературе не должно быть запретных тем. Кто-то думает, что народ можно заставить вычеркнуть из своей памяти, из своей истории то или иное десятилетие. Мы должны говорить безбоязненно обо всем. Я в своем романе касаюсь самых острых проблем нашего времени... Но в «Раковом корпусе» — страшная тема: люди гниют и, чтобы не задохнуться, чтобы как-то уравновесить страшное, нужно широкое и очень глубокое небо. Без этого человека только можно удушить, а это не дело писателя. Без нас в мире человека есть кому душить. У нас же совсем другая задача: помочь ему разгадать и себя, и мир. Я уверен, что этот большой смысл может быть раскрыт, выражен каким-то золотым иероглифом. Разгадать его стремился Л. Толстой, Достоевский, Чехов. Его можно разгадать. Думаете, Горький разгадал? Да, он принимал идею коммунизма, как принимаем мы с вами. Но он чувствовал, что она лишь открывает путь к разгадке этого иероглифа.

И он лихорадочно листал книгу за книгой, надеясь найти тот специфический ответ, который от него ожидается как от художника. Именно в поиске этого иероглифа подлинный Достоевский, перехлестывающий все идеи и идеалы, которые маячат в его творчестве. Он чувствует, и мы чувствуем, что эта энергия, эта страсть, эта устремленность порождаются чем-то большим во имя чего-то большего. Для меня искусство есть квадратный корень, выведенный из всех наших знаний о мире и помноженный на минус единицу, под которой понимайте талант, интуицию, непосредственность видения мира и еще многое другое. Подсознание тоже не исключается, ибо оно есть то, чего мы пока не разгадали, как вы правильно где-то написали.

И стал рассказывать о снах, предчувствиях, сетовал, что психологи наши ленивы и не любопытны. Вспомнил, как жил в годы войны.

— Осенью 1941 года получил, после долгих бедствий, первый, после запрещения «Метели», гонорар, 16 тысяч. Пришел в банк и попросил, чтобы 8 тысяч у меня приняли в фонд обороны. После долгих выяснений приняли. Три тысячи выслал семье в Чистополь. Полторы забрал Панферов, на остальные купил подарков и решил 7 октября выехать в Чистополь. Поехал и — был отрезан от Москвы. Квартиры там не нашлось. Снял полуподвальное помещение бывшего квасного заведения. В деревянном полу огромные щели, из которых выглядывали рыжеватые крысы. Одна особенно назойливо и ехидно следила глазом за тем, как я, скрючившись, писал «Нашествие». Вот откуда в пьесе мышь — помните? Холод и нужда, но написал.

17 февраля 1970 г.

По телефону сообщил, что читает «В круге первом». «Вернее, перечитываю. Очень трудночитаемое произведение. Откуда у Солженицына такое знание подробностей? Выдумывает? У него Сталин — рыжий. А я видел его черным. Многие выдумывает? У меня в «Русском лесе» есть фраза, что «все правдоподобно о неизвестном».

20 февраля 1970 г.

Разговор по телефону:

— Очень плохо чувствую себя. Есть вещи, являющиеся показателем духовного здоровья государства. Литература среди них стоит на первом месте. Если сейчас в литературе так мало светлого — это должно обеспокоить государство. Между тем, как плохо к нам относятся. Подумать только, два года тому назад я сделал доклад о Горьком, и до сих пор его не могут выпустить. Книгу бы пьес отдельным изданием? Ничего нет!

4 марта 1970 г.

На мой вопрос, прочел ли он «В круге первом», ответил:

— Дочитываю. Солженицын не умеет вычеркивать. Между тем, вычеркивание — могучий усилитель таланта.

— Нет отбора?

— Да, он дает все, с сукровицей. Он не знает, что художники не пользуются черной краской. И не знает, ниже чего искусство не может идти. Вот, например, слово «труп» — противопоказано. Ниже этого слова уже не может быть, разве что «гумус». И только Пушкин соблюдал художественную меру его употребления: «Как труп в пустыне я лежал...» У Л. Толстого же «Живой труп» безвкусно. «Труп» — это чисто полицейский термин.

— Все думаю, не допустили ли мы ошибки с Солженицыным. А в искусстве чего-то ему очень не хватает.

— Души. Широты души. Только человек с широкой душой может подняться над этим всем, как Достоевский. Что-то в нем искусственное. Язык, например, перенасыщен знанием словарей, а не народной речи. Патриотизм ущербный какой-то. В первом талантливом рассказе о русском человеке Иване Денисовиче униженность доведена до предела, кафкианство будто. Что, Андрею Соколову было легче в плену у немцев, чем Ивану Денисовичу? Однако шолоховский герой сохранил человеческое достоинство, а солженицынский — только умение выживать, стать насекомым, но выжить.

— Согласен, — сказал Л.М., — Достоевский не снимал горечи, ничего не утаил, но не мучил по-садистски. Человеку с широкой душой немного надо тепла, чтоб согреть душу. А этого ничем не согреешь. Заметьте, он не умеет смотреть на свое прошлое как материал для художественного произведения. Он в плену у него, не может подняться над ним.

— Это вы верно. Он не умеет переплавить это в слитки искусства, отобрать, эстетически освоить.

— О текстологии... У меня в романе «Соть» было: «Великие титаны, вроде Бруно, Галилея, великие мертвецы правят нами сильнее живых», а в тех изданиях было набрано «мерзавцы».

13 марта 1970 г.

Была очень длительная беседа о сем, о том... На мое замечание, что надо бы ему вмешаться в дела СП, ответил категорическим отказом:

— Я всегда боялся оставлять свою чернильницу. Им только и нужно, чтобы я влез в дразги и потерял способность писать. А там они сильнее меня.

— Кто — они?

— Не только толстомордые литераторы. Болят раны, нанесенные мне в прошлом. В 1939 году, когда у меня в один день состоялись две

премьеры, — в МХАТе и в Малом театре — «Волк» и «Половчанские сады», это вызвало взрыв бешеной зависти. В. Катаев выступил в «Крокодиле» с издевательским фельетоном. Тучи сгустились... Я тогда дружил с Фадеевым. Вообще он был человек сложный. Идем с ним со второго съезда. Он говорит: «Знаешь, Леня, печатать твою “Дорогу на Океан” нельзя». — «Почему?» «У тебя там про аборты, мрачно, дверь черная». «Но мне жить не на что, я взял аванс и половину потратил. Может быть, ты позвонишь, чтоб хоть не требовали возратить аванс?» — «Ну, что ты, Леня, так расстраиваешься?» И полез целоваться, говоря: «А ты все же подумай». — «Так ты, может, сам там исправишь?» И он позволил себе сделать в моем романе вычерк. Такое ведь не забывается и не прощается. Но были у него и открытость, и человечность, и честность. Однажды, напившись, он со слезами на глазах сказал Пастернаку: «Боря, ведь там никто и ничего не понимает». Как-то я, уже при Хрущеве, спросил его: «Что же, Саша, опять будем кричать “ура!”? Помнишь, когда следователь бил револьвером Постышева, мы пели, что «живем мы весело сегодня». Он, с незабываемой тоской глядя куда-то, поверх голов проходивших мимо нас людей, сказал: «Сажали, сажали...».

Заговорили о драматургии:

— Текст пьесы — это тщательно отработанная партитура. Никогда не забуду, как Рыжова спросила меня, можно ли вставить союз «и». Имеет значение все: стилистика, ритм фразы, ее рисунок.

Заспорили о емкости образа:

Я сказал, что у Достоевского за видимыми словами бездна смысла, в паузах, точках, запятых. Он согласился.

— Солженицын в «Круге первом» обвиняет всех, кто не сидел, — сказал Л.М. — Он всех подозревает в преступной причастности. Роман невероятно растянут. Хорошо начало, свидание с женой. Но чрезмерно нагнетение мелочей и нет большой идеи, во имя которой все это пишется.

20 апреля 1970 г.

Состоялось заседание редколлегии издания Горького. Разгорелся спор: все ли нужно печатать? Л.М. доказывал, что не нужно всего печатать:

— Среди прочитанного мною есть такие заметки, которые нельзя назвать даже черновиками. Это какие-то «пометки» для себя, узелки на платке для памяти. Горький был большим учреждением, громадным строением, в котором существовали многочисленные чердаки и подвалы. И не все их следует выгребать. Я не понимаю, как у него появились такие вещи, как записи о Распутине. Хорошо, если после твоей смерти твои бумаги будут читать любящие тебя. А вдруг возьмутся розоволицые любители сенсаций? Что они наделают?..

Вот, например, его запись о Чехове, о том, что будто бы Чехов был человеком не очень начитанным. Мне она понятна. Сам Горький был неутомимым книгочеем. Он добивался истины в книгах, а не внутри себя, как Чехов. Что я этим хочу сказать? Только то, что умный человек, знающий писателя, сможет многое объяснить. Велика роль комментариев... Я был потрясен письмами Горького к Будберг. Вдруг они открыли одну очень человеческую черту в Горьком. Я увидел его оголенным. Это любовь на закате. Это последняя женщина, которую полюбил Горький. Надо ли это печатать? Не знаю...

Прислал мне записку:

— Чувствую, что не то сказал, что надо, но я вообще шибко выбит из тарелки в последнее время.

Я ответил:

— У нас демократическая редколлегия... Но говорили вы правильно.

После редколлегии начался «козери». Он вспоминал о «странностях» писателей.

— В 1931 году я часто бывал у Горького. Однажды он сказал: «Я вот тут пьесу соорудил. Не угодно ли вечером послушать? Тимоша, поставьте вечером шерри-бренди. Он любит, и я почитаю».

Вечером я сознательно сел за лампу, за торшер. Прочел Горький пьесу. Пауза. Потом одобрительные высказывания. «А вы что скажете?» — обращение ко мне. «А.М., если я буду говорить неправду, вы все равно это обнаружите. Я живу среди этих людей. И не могу понять, как человек, делающий машину, построивший мост, может взорвать создание своих рук. Для меня это непостижимо».

Через несколько дней он сказал, что хочет послушать мой рассказ, которого он не читал. А после чтения он, пробарабанив пальцами по столу, спросил: «Что же, Л.М, хотите сказать, что русский народ жесток?» Я не закричал, что он когда-то сам это утверждал. Я был поражен, смят. Только спустя некоторое время понял, что я уже вырос, что по мне наносится ответный удар. А когда много лет прошло, мне рассказал П. Марков, что однажды он попросил у Горького пьесу. На что Горький ответил, показав на стол: «Вот она здесь лежит, но я ее не дам, ее Леонов обругал».

Спросил Новикова:

— Как вы считаете, Маяковский — великий поэт? Откровенно скажите, словно не знаете об отзыве «усатого гения».

— Нет, — ответил тот, — говорят, у него половина мозга гения, другая половина — идиота.

— А я, знаете, думаю, что он все-таки большой поэт. Есть в его стихах такие строки, которые являются настоящей поэзией.

В связи со статьей Бурсова в «Звезде» он рассказал о Достоевском и Тургеневе, как первый одолжил деньги.

Звонит по телефону:

— Сажу на завалянке, в треухе, старь дед. Но все остальные деды пишут романы. Не с кем словом перекинуться. Приходится прибегать к цивилизации. Хочу купить длинный шнур и тогда буду вести разговоры, сидя на завалянке.

29 мая 1970 г.

По телефону:

— Чего-то тоска заедает. Что нового в литературе? Приезжайте. Получил отличное письмо из Парижа по поводу «Евгении Ивановны». Человеческий документ.

6 сентября 1970 г.

Звонит по телефону. Возмущен «романом-размышлением» Бурсова о Достоевском, начало коего опубликовано в «Звезде».

— Сегодня важно не только что, но и как писать о Достоевском. Надо понять то, что одним фактом своего существования Достоевский сделал многое для России. Достоевский имеет сегодня символическое значение. Если его разменяют на мелочи — это не уронит его, но будет портретом эпохи... Доклад? Мне никто не предлагал, но я не буду делать доклада и ничего писать не буду. Есть у меня в столе небольшая статья о нем, но и ее печатать не буду. Повторяю: Достоевский — одна из главных карт России, вторая фигура после Шекспира.

Осторожность и такт — таким должно быть наше отношение к нему. Вот Бурсов поднимает легенду о «девочке», бросая тень на самого писателя. А он выдумывал самый страшный грех для великого грешника, купол такого греха он видел в растлении. Помните, он и рай отказывался принять, если вход в него будет стоить хотя бы одной слезинки ребенка. А тут — по контрасту — самый большой грех, надругательство над ребенком приписывается писателю. Надо соорудить письмо-протест. Я готов подписать. Нельзя прощать!

27 сентября 1970 г.

По телефону:

— Поедьте со мной в Болгарию? Ну, чего вы в этой Америке не видели? Если уж поедете, то передайте им, что Леонов до сих пор молит Бога, что благополучно уехал из США, что у него самые жуткие воспоминания, когда в Техасе чуть было не выбросили советскую делегацию. Потрясла меня и жадность издателей. Они много раз издавали мои книги, но не нашли возможным хоть сколько-нибудь заплатить мне. Сказали, что могу купить книг на 75 дол., но потом позвонили: на 50.

30 октября 1970 г.

Через несколько дней Л.М. уезжает в Болгарию... Договаривался я с друзьями болгарам, что его там встретят по первому разряду.

Сегодня, когда мы беседовали, пришли режиссер и его помощники из провинциального театра. Готовят к постановке «Половчанские сады». Они спрашивали, Л.М. объяснял суть своей пьесы.

— Мне повезло, что в театре я работал со Станиславским и Немировичем-Данченко... «Сады» — это оправдание жизни, и то, что человек сделал все и еще немножко ко всему. И вдруг тот содрогнулся — а что не сделал? Не шаржируйте. Один раз только мне хотелось включить в пьесу находку театра: этот герой спорит, он неожиданно засовывает руку в аквариум: рыбки мечутся, как... мечется его душа.

Я не бытописатель. В русской литературе нет человека, который бы был менее бытописателем, чем я. Но я очень люблю бытовую, точную деталь. Вот они едят картошку в мундирах — это не только тепло жизни, чистота ее, но и еще многое другое.

Позвонил по телефону. Только что вернулся из Софии. Говорит радостным тоном: «Все было отлично. Какие замечательные люди, кая прекрасная страна! Приходите!»

Пошел.

— Вы верите в чудеса прорицания?

— Нет, Л.М., я верю в то, что еще очень многого мы не знаем, не догадываемся о многом.

— Ну, вот, я тоже считаю, что, когда природа дала нам мозг, она дала нам его с многократным запасом. Он работает, конечно, весь, но нами освоены небольшие звенья его. Другие же как бы еще вне нашего контроля.

В Болгарии мне была оказана самая высокая честь. Замечательные встречи с людьми, они не были подстроены. Я останавливался по собственному выбору. Люди спрашивали меня о моих книгах, некоторые читали их. Понравился ваш друг Борис Михалков. Он все понимает, с ним легко было ездить по стране. Мне устроили встречу с «бабой Вангой». Она приехала в гостиницу: я спустился вниз, поцеловал ей руку. Она с 15 лет слепая, неграмотная женщина. Прорицательница.

Беседовали мы в другом доме. Она спросила, почему я до сих пор не посетил могилу отца. Еще сказала, что «большой писатель», большая слава, но должен писать больше. О романе сказала: «Сейчас не надо печатать... Года через три напечатаете». В разговоре она говорила о таких фактах, которые я знаю только один... Встречался с «бабой Вангой» я и еще.

20 ноября 1970 г.

По телефону. Л.М. говорит об одиночестве. Перебирает прошлое. Снова заговорил о Горьком:

- Горький ценил людей в зависимости от их начитанности. Меня он назвал невежественным юношей потому, что я не читал одного его произведения. Он был неколебимо убежден, что истина скрыта в книге. Между тем, истина в сердце людей, в жизни...

Что же делается у нас? Работают не столь вдохновенно, как надо бы.

23 февраля 1971 г.

Длительная беседа Л.М. с Юрием Бондаревым, которого я представил Л. Леонову.

— Рад с вами познакомиться, — сказал он, принимая от автора книги «Батальоны» и «Тишину». — Вы — человек талантливый. Только что в Барвихе видел «Освобождение». Очень понравился фильм, вот стоящее искусство. Форсирование Днепра, устремленность, а на втором плане, как неглавное, танкисты спасают горящий танк. Как будто несущественная деталь на масштабном фоне, а она-то и главная, создает настоящее представление о бое, а не прямые эпизоды. И впредь старайтесь в искусстве выбирать для себя самые трудные ракурсы, искать труднейший вариант ситуации, изображения. Изображая стакан с водой, не говорите, что он стоял, а, скажем, покажите отсвет в нем вон того огонька.

— Вы как относитесь к Достоевскому?

— Мне ближе Толстой, с его плотскостью, мясистой, жизненностью. Достоевского тоже люблю, но он меня часто смущает алогичностью.

— Алгебраичностью?

Долго молчал, потом сказал:

— У него не алогичность. Сила искусства достигается другим — наибольший эффект дают ходы шахматного коня. Я пишу три главы, все развивается последовательно, читатель ждет дальше того-то. И вдруг я делаю резкий, непредвиденный им поворот, все летит черепками... А между тем внутренне именно это обусловлено, а не то, чего ждал читатель. Это — ход конем.

— Сознательно?

— Да, я заранее тщательно продвигу, тщательно разрабатываю план... (Татьяна Михайловна шепчет мне: «За судьбу Поли я сражалась, просила не убивать ее»). Хотя я не знаю судьбы своих героев. Я — следователь по особо важным делам. Я не предрешаю судьбы своих героев. Вернее, для меня нет заранее виновных или невиновных. Это Горький заранее знал: вот этот положительный, а тот — отрицательный... Потом он их писал великолепно, мы их видим,

осязаем, но судьба их с первой страницы ясна. У меня так не бывает. Даже если мне говорят: Ленин сказал. Я почтительно выслушиваю. Но, садясь за стол, я забываю обо всем. Я должен исследовать сам все. А как вы работаете? Как работает современная молодежь?

Ю. Бондарев рассказал, что вначале работал рывками, часов по 18 в сутки, пытаюсь все взять кавалерийским наскоком. Л.М. всплеснул руками:

— Но это же гибель для писателя. Не знаю, у меня нет странички которую я бы не переписал меньше 8 раз.

Бондарев сказал, что теперь он работает медленнее, все дается труднее. Леонов обрадовался, заметив, что работа над каждым новым произведением дается все труднее. И если ему это-то неясно, работать не может.

— Л.М., а бывает так, что возникают два разных варианта развития действия, вы оказываетесь перед двумя различными сиенами?

— Это значит, что вам самому что-то неясно. Нет, у меня так не бывает. Почти не бывает. Если сажусь за стол и мне не пишется, значит, я чего-то не уяснил, не знаю.

Речь зашла о языке. Л.М. сказал, что у Бондарева очень весомые, емкие диалоги.

— Народ ежедневно, ежеминутно создает яркое в языке, умея в золотинку слова влить максимум золота. Писатели не всегда это умеют, у народа не учатся и теряют бриллианты.

Л.М. показал два листа рукописи «Русского леса», написанные карандашом, юмористически заметив:

— Раньше я писал свои рукописи на самой плохой, серой бумаге, чтобы не обольщаться, видеть недостатки написанного. Знаете, когда пишешь на хорошей бумаге, то и плохо написанное кажется не таким плохим, а переписанное на машинке кажется еще лучшим. Теперь пишу карандашом, чтобы неудачно написанное можно было стереть резинкой и написать заново. Пишу на больших листах, ибо придаю значение не только тому, что написано, но и сколько места отведено вот этому по сравнению с этим: проходных мест не признаю. Каждый эпизод пишу как самостоятельное произведение, как законченное. Очень ясно прочерчиваю внутренние своды, внутренние балки, связывающие все. По-моему, это главное. У Толстого вы не увидите этих балок, но именно они держат произведение так, что над ними не властно время. Этих балок читатель не замечает, как не замечает многого. Вот я сделаю этот завиток, ну как узор вот на этом стуле. Но вы замечаете, что мастер кое-что прорезал и отшлифовал на той стороне, изнутри, куда ничей глаз никогда не проникнет. А мастер все-таки отшлифовал и там. Вот также мы должны работать. Это трудно, читатель этого не оценит, а мы должны. Знаете, меня Бог не обидел талантом, но иногда делаю вот этот узор, провожу раз — не

получается, два — не получается и, кляня все, думаю: «Эх, что бы стоило дать мне побольше таланта, ну еще бы копеек на сорок».

И снова вернулся к тому, что план вычерчивает четко, долго продумывая его. Над произведением, которое пишет сейчас, сидит уже много лет, задумав его еще в 1939 году. Сказал, что вначале Вихров и Грацианский мыслились как одно лицо. Нарисовал графику «Русского леса», «Дороги на Океан». Горькому он тоже чертил «Дорогу на Океан», рассказывая о романе. Тот сказал ему: «На моих глазах растете...».

Разговор о «Воре». Бондарев сказал, что ему «больше нравилась первая редакция. В новой все же нарушается атмосфера, то, что я называю воздухом».

Леонов возражал:

— Я многое изменил в Векшине, усилив в нем негативное. Помните крик: «Есть ли у тебя сердце хоть с горошину?»

Конечно, все мы фанатики. Я тоже, когда пишу, ничего другого не слышу. Когда писал «Барсуков» (за 9 месяцев), дочь родилась, росла. Жена обижалась, что мне и до нее не было дела.

Долго спорили, почему не встретились Толстой и Достоевский. Леонов:

— Им бы не пришлось ни о чем говорить. Они бы поняли друг друга с полуслова. Помните: Денис Давыдов встречается с Блюхером. Они пили пиво, вино, один говорил только по-немецки, другой немецкого не знал. Повторял: «Тут», но Блюхер в конце жизни сказал, что за всю жизнь он по-настоящему поговорил с одним человеком... Д. Давыдовым.

Потом Бондарев рассказал о своей поездке в Н. Тунгуску, о людях, их интересах. Когда они заговорили о спиритизме, Бондарев сказал, что он верит в «первый элемент». Я отключился, разговаривая с Татьяной Михайловной.

Ю.В. Бондарев за чаем спросил:

— Л.М., вот вас и многих других зачинателей советской литературы в свое время заметил и поддержал Горький. Вы знаете, как необходимы молодому писателю слово поддержки и критическое слово. И вот прошу понять меня правильно: почему вы не высказываетесь о нашем творчестве? Или вы не видите в современной литературе ничего заслуживающего внимания?

— Что вы? Разве можно так думать? Но я вам искренне скажу, что я очень виноват перед своими младшими братьями, очень. Дело в том, что Горький был просветителем и обладал редкостным талантом не только радоваться появлению каждого нового дарования, но и литературно-критическим талантом. Я же, и не только я, но и Шолохов и другие мои сверстники лишены литературно-критического дарования. Я не умею писать статей и писем.

— А ваша публицистика, статьи о Чехове, Грибоедове, Горьком?

— Это не литературно-критические статьи. Это рассуждения о моем восприятии таких больших явлений, как Толстой и Горький.

Потом разговор вновь переключился на главную тему, постоянно его мучающую:

— А может, русский народ уже кончился?

1 марта 1971 г.

Позвонил Л.М.:

— Не обиделся ли Бондарев? Только что прочел его «Горячий снег». Опыт громадный. Материал колоссальный. Психология? Не всегда глубоко. Хорошо написана смерть Веснина. Надо уплотнять ткань за счет промывки. Монологи надо ставить как сцены в театре.

— Когда же будет готов ваш роман?

— Не тороплюсь. Потороплюсь — не буду уважать себя.

6 мая 1971 г.

Сегодня по телефону:

— Что жаловаться на посредственность нашей литературы? Все дело в том, что исчезла сортность. Все идет одним сортом... Наше время требует от литературы жестокого анализа всей жизни человечества. Отсюда рост интереса к социально-философской литературе. Бытовизм не удовлетворяет.

29 августа 1971 г.

Пришли на дачу к Леоновым. Со мной дочери Оля и Лена. Л.М. долго водил их по саду, показывая необычные растения. Прогулка по саду завершилась оранжереей кактусов.

Неожиданно зашел Ираклий Андронников. Как всегда блестяще рассказал о Толстом, о Маршаке...

Л.М. попросил рассказать о нем, но Ираклий не решился.

Долго не записывал бесед с Л.М., хотя разговаривали очень часто. Жаловался на невнимание руководящих товарищей к литературе и к нему. Иронически встретил присуждение Государственной премии В. Кожевникову за «Особое подразделение».

6 ноября 1971 г.

Сегодня с Ольгой Михайловной пошли к Леоновым. Л.М. встретил нас «при параде» — в костюме, галстук, предельно любезен и галантен — джентльмен! Он рассказывал о своей поездке в Полухино, в этой деревне он жил, когда отца посадили в тюрьму. А деревни нет, все заросло бурьяном по грудь. Один дом купил летчик за 50 р. и летом живет с женой и детьми. Подошел паренек к машине и спросил: «Вы, дядя, настоящий Леонов или его сын? Настоящий Леонов посадил здесь

вот те четыре дерева». Церковь вся обобрана. Кладбище сокрушено так, будто над ним трудился полк дьяволов. У меня там похоронены прабабки, бабки, две тетки. Помните, Вихров ребенком несет икону? Это я нес ее, когда хоронили мою прабабку. Там же, недалеко, находился и родничок, к которому мы ходили с братом в Пестово.

Заговорили о рукописях. Он стал жаловаться, что сам своего почерка не разбирает и тогда из-за этого выбрасывает целые страницы.

— Вчера выбросил две, а потом стал просматривать заново, батюшки, там же одно особенно дорогое мне место.

О «Русском лесе»:

— Да, вначале Вихров и Грацианский составляли одно лицо. Сергей перед фронтом забежал к Вихрову. После его ухода через 15 минут Вихров должен был покончить с собой. Внутри началась борьба хорошего в Вихрове с подлым. Вот тут-то они и расслоились. Возник новый образ. Определился и Вихров.

Рассказал он о находках в «Евгении Ивановне».

Ольга М.:

— Пушкин как-то заметил, что Малерб и Ронсар истощили себя в увлечении формой. Возможно это?

Леонов:

— Я понимаю их. Это не только возможно, но это и бывает. Нужна мера.

Она заговорила о «Воре», о том, что вторая редакция потеснила непосредственность. Л.М. спорил:

— Я ведь только кое-что сильнее прочертил. Почему она изменила в тот вечер ему? Надо было пояснить читателю. Нет, я не менял духа произведения, пафоса характеров. Я только кое-что сделал яснее.

Как всегда, говорил много о снах, о религии, о том, что нужен Сергей Радонежский. Процитировал слова Ключевского о нем... Сказал, что мечтает написать о дьяволе.

— Хочу сделать его одним из персонажей романа. У финнов есть легенда: когда Бог поднялся над морем, осмотрелся, он не увидел ничего, кроме воды, а в ней свое отражение — дьявола.

Снова о Достоевском:

— Я тут перечитывал «Бесов». Одна глава в наборе, вторую пишет, а третья еще не вышла из замысла... А как написано! Мы же... А ведь у нас какие условия. Шесть лет назад у меня мой последний роман, по существу, был уже закончен, надо было перенести только на бумагу. Перенес. И вот уже пять лет работаю над совершенствованием и что получится?

Л.М., вспоминая о прошлом, описал предпасхальную и пасхальную ночь, которые сами по себе обновляли людей.

А продажа грибов! Кадки с грибами от Охотного до Устьинского моста. Стоит дед в треухе с позеленевшей бородой, и ты от одного

вида его витаминизируешься. Но идешь дальше, чтобы на все полюбоваться.

Когда мы шли домой, Ольга Михайловна под впечатлением заметила:

— Что бы ни говорили об этом человеке, о его характере, его настроениях, даже капризах, как бы он ни вел себя, искренне или чуть играя, — он не сравним ни с одним современным писателем. Мы же многих из них знаем. Он живет какими-то более высокими интересами, чем все остальные, несравнимы его мысли, настроения. В его обществе ты сам уходишь от бытовизма, задумываешься о жизни, смысле ее, о смерти, о мире и даже вселенной. Это не кухонные разговоры, породившие «кухонную литературу», кино, пьесы, интеллигентскую обывательщину. Это совсем другой мир, с недостижимыми для многих высокими сводами.

6 ноября 1971 г.

Постоянный вопрос: «Что нового в литературе?» На его (в очередной раз) утверждение, что нужна литература мощных и глубоких синтезов, я сказал, что огорчают вторые и третьи книги молодых авторов которые начинали талантливо.

— А по ним-то и можно только судить, насколько может быть серьезным писателем начинающий. В первой книге не все заслуга автора, многое — от деда, отца — понимаете, о чем я? А во второй книге проявляется по-настоящему, насколько глубоко копает писатель и способен ли он что-нибудь поднять с глубины.

Я сказал, что многого можно ожидать от средней генерации — Абрамова, Шукшина, Распутина, Бондарева, Белова, Астафьева...

— Да, это талантливые ребята. Но все зависит от того, сумеют ли они перевалить через описательность, орнаментику, выйти на подлинно психологические ситуации, передающие свое время, на емкий диалог, философские обобщения. Смогут ли совершенствоваться, не щадя сил, остаться чернорабочими, каторжниками? Искусство не выносит барства, гибнет от регалий. Оно требует непрерывного труда. Искусство — слово Божье. Чернила писателя не дешевле крови, а талант — тяжесть, за небрежное отношение к нему надо наказывать.

— Л.М., сейчас много талантливых писателей, но где же великие? Я отношу Шолохова и вас к другому поколению, а где же великие послевоенных времен?

— Это сложный вопрос. Только время определяет величину того или иного таланта. Задатки у некоторых есть, но как будет? Трудно предвидеть.

1 ноября 1971 г.

Беседовали перед отъездом Л.М. в Югославию. Близится юбилей Достоевского. Л.М. явно уязвлен тем, что ему не поручили доклада на юбилейном заседании. Представляю убожество этого доклада, выполненного порученцем ЦК. Я бы отказался, помятуя, что есть Леонов, для которого Достоевский понятнее и ближе, чем для всех нас, хотя я тоже имею свое мнение об этом писателе. Смеется, узнав, что в Лейпциге был доклад «Достоевский и Леонов». Но поясняет: «Конечно, в своих произведениях я пользовался методом Достоевского, разумеется, по-своему, в своих целях».

15 декабря 1971 г.

По вечерам звонит Л.М. Собирается выступить перед молодыми писателями РСФСР. Волнуется: надо ли выступать? Не примут ли они это за попытку поучать? Все-таки решился выступить и ответить на вопросы.

Блестящее выступление на Пленуме, в котором он обобщает многое из того, о чем говорил со мной. Есть и повторы, но Л.М. всегда допускает эти повторы — это его стиль в беседах.

Ответил на вопрос о начале творческого пути. Не раз я слышал об этом, но всегда это звучало как-то по-новому, с новыми красками.

О Достоевском не могу не записать.

— Мне всегда бывает не по себе, когда меня сравнивают с Достоевским. Это, конечно, несравнимо. Но учился я у Достоевского, пользовался его методом, конечно, по-своему, со своими поворотами, в своих целях. Я очень хорошо понимаю то, чего боялся Достоевский. У одного из моих героев есть стихи: «За перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал». Вот это «за перевалом» я хорошо понимаю...

У советских писателей задача колоссальной сложности. Сложен материал. Народ наш имеет колоссальные интеллектуальные, душевные, моральные накопления. Существует громадный опыт, в который входит и Гражданская война, и пятилетки, и 1937-й год, и Хрущев, и многое. И этот опыт ставит нас выше Европы. Об этом опыте нельзя сказать, хорош он или плох. Этот опыт требует художественной обработки. И писатель, который сумеет правильно подойти к этому опыту, к этому материалу, сумеет возбудить его — такой писатель сделает величайшее дело. Такой опыт требует могучих синтезов.

Не забудем, что на кв. см ныне выпадает такое количество информации, что все это в обычные формы не вмещается. Мне кажется, что надо искать какие-то новые средства. Самое же главное: все это должно проходить предварительно через глубокое и всестороннее осмысление. Оформлять же это надо не так, как когда-то Пильняк или Джон Дос Пассос... Язык наш могуч и может выразить все. Поэтому я отношусь отрицательно к конструктивизму и т. п. От авторов требуется

большое повышение интенсивности слова... Важна также не только расстановка слов, но и словесная расстановка, умение использовать все цвета и все возможности, скрытые в слове. Ведь, когда мы говорим, мы же не говорим всего, что думаем. Но мы хорошо понимаем, о чем идет речь. Часто в пьесе герои повторяют общие слова, а за ними скрывается большой смысл. Поэтому я всегда говорю артистам: «Играйте суть, а не слова».

Чтобы быть на уровне сегодняшних требований к литературе, — не торопитесь!.. Когда у вас есть интересная тема, не торопитесь с ее реализацией... Нет хороших тем. Есть темы неплохие, но наполнять их нужно изнутри. Все зависит не от темы, а от того, чем вы ее наполните. Тема — как бутылка: одни наполняют ее вином, другие — водой. Писать же нужно с хорошим чувством неудачи. Художники растут на отчаянии. Конечно, Пушкин однажды бил в ладоши, Толстой говорил: «Хорошо написал, старик», но тут же зачеркнул написанное. Если художник испытывает полное довольство сделанным, о нем пора писать некролог...

Говорил о Горьком. На вопрос, как он оценивает им написанное, Леонов ответил: «Правду сказать, все, что я написал — все это испорченные замыслы. Есть неплохие страницы, но как их мало...»

Насчет критики заметил, что она «отучала меня писать», но «критики приучили меня, прежде чем выходить в люди, долго осматривать себя в зеркало... за что я им благодарен».

13 марта 1972 г.

За эти месяцы часто говорили по телефону и общались, но я не записывал бесед. Прислал поздравительную телеграмму в день рождения, обещал прийти на юбилейный банкет. Сообщил, что избрали академиком Сербской академии. (Зато у нас он не академик, хотя кому бы быть им, как не ему!) 5 марта я должен был зайти к Л.М., он ждал, а я не смог из-за непредвиденных обстоятельств. И не смог позвонить, чтобы предупредить. Л.М. очень обиделся и не принимал моих объяснений и извинений. Наконец-то сменил гнев на милость. Давно мы не встречались, что-то он постарел заметно.

— Все думаю... думаю. Куда же мы идем? Люди пьют, очумело пьют. Уже за станками бывают пьяными, что случилось?

Я спросил:

— Может быть, исчерпаны ресурсы самой идеи социализма? Или что-то мешает этим ресурсам фонтанировать с такой силой, чтобы захватывать и увлекать? Или кто-то мешает? Посмотрите на руководящих товарищей, их соответствие нашей идее... А ведь от этого зависит ровность напряжения, которое создает вольтову дугу идеи и энтузиазма миллионов.

Л.М. углубился в ассоциации идеи коммунизма и теорий физики.

— Да, не выгорел ли «водород» в идее коммунизма, которая Лениным рассчитана на тысячи лет, а не на 20—30? Но идея предполагает в тех, кто ее реализует в жизнь, могучий интеллект и неиссякаемую революционность, в чем Ленину не откажешь, а вот теперешним ленинцам...

— У вас где-то в «Дороге на Океан», кажется, сказано, что революция делалась во имя чистоты и правды?

— Да, этот роман — вершина моей веры. Сталин хотел, чтобы печатался с примечаниями не под строкой, а чтобы они были втянуты в текст, но я не согласился. Что касается революции, там всякой горечи было. Я высоко чтил своего тестя. Как бы ему ни было трудно, он никогда не сказал ни одного слова ей в укор. И не потому, что боялся, а потому, что считал: так нужно народу. Помню, в 1926-1927-х годах проводилась «неделя сундука»: рабочие ходили по домам и изымали излишки вещей. У тестя забрали отрез на костюм. Но, когда комиссия уже уходила, один из ее членов захватил и настольные часы, якобы в общественную собственность. Я ничего не сказал, но я не оправдываю таких поступков. А вообще-то революция не нуждается в служащих. В «Дороге на Океан» героиня говорит, что у нас начинают любить смиренных, а надо бы гордых. Эти не изменят, не предадут, не продадут.

Заговорили о фантастической литературе.

— Фантастика вырождается. Из последних талантлив — Лем. Но он вдруг стал писать фантастику сатирическую, а это фантастике противопоказано. Ирония, как кислота, прожигает ткань. Я верю в фантастику, пока мне говорят с абсолютной точностью и достоверностью.

29 мая 1972 г.

По телефону долго расспрашивал меня о ФРГ, как к нам там относятся. Потом сказал: «Помяните мое слово: все до появления нового фельдфебеля. Придет сильный человек, крикнет, и они снова начнут маршировать».

30 мая 1972 г.

Этот же разговор он продолжил и сегодня, едва мы с О.М. переступили порог дома. Как всегда, если предполагался мой приход с женой, он был безукоризненно одет, в серый костюм, галстук. Галантен.

Уговаривал меня написать книгу о Горьком таком, каким он был на самом деле. Просил О.М. убедить меня: «Ведь он знает в 100 раз больше, чем рассказывает». Она поддерживала Л.М., заявив, что давно настаивает на этом.

— А почему вы обо мне не пишете? Вы не верите в меня? Да, вы не верите. Что ж, останусь с Власовым, он верный человек. — Заспорили, чуть не поссорились. О Горьком я сказал, что собираюсь и готовлюсь заново написать, но все силы забирает подготовка собрания его сочинений, ее академический уровень.

О Леонове писать трудно, собираюсь писать, «вхожу в тему», что для меня в его творчестве важно не только то, что он говорит, но и то, о чем он молчит. «Вот в “Барсуках” я ведь чувствую, что братья молчат, недоговаривают, а в этом — вся суть. Вы скрыли какую-то фразу?».

— Да, — ответил он. — К роману должен был быть эпиграф. Одна фраза Левина о крестьянстве, но она не появилась, а в ней вся суть..

Заговорили о необходимости снять из 10-го тома одну статью.

— Но ведь мне за публицистику дали 4 ордена. Не за романы же? За романы меня всегда били. В чем моя вина?

— В том, что составляет вашу силу: в безоглядной вере в свой народ, в Россию. Это — ваша сила, но это и ваша слабость.

— Ну вот, а вы говорите, давайте роман. Нет, я не дам. Долго еще буду писать. — И, обращаясь к О.М.: — У меня есть блестящих пять тем. Какие темы? Если я смогу их реализовать...

Л.М. заинтересовался статьей в «Литературной России», где автор доказывал необходимость образов — логарифмов.

— Да, либо искусство будет логарифмировать действительность, либо бесконечно множить количество томов произведений.

13 октября 1972 г.

Были с Ольгой в гостях у Леоновых. Застали их взволнованными: в районе Арбата какой-то маньяк кирпичом по голове ударил их родственницу, когда она наклонилась, чтобы вынуть корреспонденцию из почтового ящика. Долго говорили о подобном.

— Что нового в литературе? — постоянный вопрос Л.М. И стал сам жаловаться, что пишут не художественные произведения, а информации. Так литературу профанируют, пытаются превратить в торговый дом. Что я? Кто со мной считается, кто меня спрашивает?

— Дайте новый роман, который будет противостоять литературе, поставленной сегодня в образец.

— А кто меня напечатает? Начнется свистопляска. Начнут внушать... разъяснять... Обычно у нас описывают события. Между тем, это не главное. Я изображаю здесь не предмет, а пространство, вытесняемое им. Когда сажусь за стол, я даю себе десять заданий, из которых даже опытный издатель догадается, может быть, о трех, но они, эти задания, и определяют силу написанного. Именно благодаря им, у настоящего писателя не имеет значения, что он изображает, склянку чернил или осколок, отражающий луну. Через любое его изображение будет видеться мир.

Татьяна Михайловна показала нам изумительной красоты отпечатки с дагеротипов, сделанных Леонидом Максимовичем в середине 20-х годов. Поражала образность и умелая композиция.

— У меня чутье композиции. Но я работаю над ней больше всего. Вот этот роман написан от первого до последнего слова 6 лет назад. А я каждый день работаю над ним. Переставляю, убираю одно, дополняю другое. Пишу карандашом на больших листах. И я не могу зачеркивать. Потому что зачеркнутое, как куча грязи на строительной площадке, мешает мне видеть, правильно ли я поставил вот эту капитель. 7—8 раз переписываю и переделываю. И мне надо потом увидеть, чтобы все было соразмерно. Тут нет мелочей. Некто из Ростова спрашивает меня о ритмико-интонационных особенностях моих произведений. Огромное значение имеет ритм, мелодия фразы, абзац самой своей формой, внутренним настроением должен подготовить читателя к чему-то такому, что я знаю, а он не догадывается.

Помните картину Брейгеля с двойной композицией? Луч света из окна падает на человека, который ест капусту. Он здесь в углу, но смотрит через всю картину в другой угол на человека, который поднял голову и всматривается вверх, на строение, где умирает человек. Вот это и есть искусство. Я пытаюсь так писать. Если у меня сидит человек освещенный, я должен сказать, как он освещен, чтобы в этом эпитете было уже заключено все — и как луч проникает в комнату, и почему он дает этот, а не другой оттенок. И когда мне удастся найти какую-то деталь неповторимую, я испытываю радость. Это и есть единственная радость, приносимая нашим каторжным трудом. Например, у мертвого человека открытый голубой глаз смотрит в небо, а по глазу ползет муравей — высшая степень мертвости.

19 ноября 1972 г.

Сегодня Леонид Максимович и Татьяна Михайловна были у нас в гостях. Л.М. принес мне с автографом фотографию, на которой он с Горьким в 1927 году. Пришел он в плохом настроении. Сказал, что свой почерк разбирает с величайшим трудом, а то и не всегда. «Главное найти тон. Тон — это та шерстяная нить, из которой Вы можете связать свитер, а затем потянуть за ту же нить и все перемотать в клубочек», — сказал Л.М.

Начали говорить о «Барсуках»:

— Когда я писал «Барсуков», я ездил в Ярославскую губернию, ездил под Муром. Вообще-то в романе 85% выдумки, даже больше. Но я ездил тогда в деревни. Под Муромом мужики подняли бунт. После «замирения» мой знакомый агроном (он потом был женат на сестре Т.М.) повез меня в деревню. Мы попали на «замирение»: волостное, уездное, губернское начальство и «мужики», вернее, кулаки. Какие это были колоритные фигуры, и те, и другие. Эх, А.И., как мы обкрадываем

революцию. Ведь какое было кипение крови, характеров, страстей. А какие колоритные фигуры местных большевиков. И какие силы им противостояли. Ведь в этом мощь революции, что она победила. На «замирении» сижу за столом. А они пьют, спорят такими яркими, крупными, неповторимыми словами. Лежит на полу, на соломе, перебравший заместитель предисполкома. А вот такого роста мужик — кулак пихает его слегка ногой и цедит сквозь зубы: «Когда уж мы вас резать будем?» А тот ему: «Руки коротки, сукин ты сын».

Я достал бумажку и под столом, чтобы никто не видел, пытаюсь начертить для памяти опорные слова. Но покосившийся в мою сторону мужик вдруг этак ласково спрашивает: «Из угрозыска будете?» Тут мой агроном ему: «Нет, он писатель». — «Писатель?» «Да, вроде Максима Горького». «Ну, тогда мадерцы ему». В огромную кружку наливает первача, затем туда несколько ложек меда с трудом размешивает... Всю выпил я... и все поплыло. Помню, шли через поля, луга... Потом пришли на маслобойню. Сидим. Макаем куски хлеба в свежее льняное масло, а на утро изжога такая, что хоть выворачивайся...

В «Воре» тоже реальная основа — прочная. Меня тогда, в частности, интересовала психология вранья. И вот однажды звонит Остроухов. Хороший художник. Писал он редкостно трудные пейзажи: дорожку, берег реки с камышом, но без каких-либо эффектов. Остроухов спросил: «У тебя найдется чистая манишка, надевай и поехали...» Приехали в дом, в переулке Арбата. Громадная квартира, много мебели. Дамы с этакими выгибами по моде. Вино. Разговоры. Заговорил хозяин, бывший конезаводчик с кавказской фамилией. Он рассказывал, как однажды купил черта, как тот смотрел на него, скосив глаза, как выбросил его и как весной, гуляя в саду, он обнаружил этого черта в канаве. Черт был сделан из конского волоса. Это была целая новелла... С ним состязался другой враль, книголюб и знаток редкостных изданий, эстампов. Этот брал не логикой, а вспышками пафоса, эффектами. И от того, и от другого есть кое-что в «Воре». И все это специально устроил для меня Остроухов.

Вот я говорил вам, что в 1927 году у Горького испытал настоящий праздник. Немного их было в моей жизни. Второй — связан с Остроуховым. Ему было уже 70 лет, когда он узнал, что МХАТ ставит мой «Унтиловск». Он заявил мне, что пойдет посмотреть. Я сказал об этом Станиславскому и удивился, как он взволновался, вызвал секретаршу и распорядился немедленно доставить билет. Потом я понял, что, когда Станиславский только начинал, Остроухов уже был известным художником, другом Третьякова и Васнецова, человеком, который выводил в люди Врубеля. И вот он пришел в театр без обычной камилавки, сидит в первом ряду, блестит лысая голова. В антракте Остроухов встретился со Станиславским, стал хвалить, ушли в директорский зал, сидели за столом. Остроухов спросил, что еще

собираются ставить. Узнав, что «Мертвые души», поинтересовался: «Тоже... в этаким... новом духе?»...

Яркие картины из жизни, реальности, колоритные фигуры всегда в памяти.

Перешел к Горькому:

— Горький много писал. Я так не могу, хотя тем у меня на 20 лет.

Как-то спросил меня: «Что-то вы редко стали у меня бывать? Крючков не пускает?» Но в другой раз он же сказал: «Не трогайте Крючкова, он мой верный пес». А этот «пес» был человеком Ягоды, омерзительного типа. Как-то сидим на Никитской. В центре Горький. Вон там Шолохов. По другую сторону Ягода. Он — пьян, изо рта течет слюна. Вдруг тянется через стол и спрашивает: «Скажите, Леонов, зачем вам нужна гегемония в литературе?» Я ждал: защитит меня Горький или нет. Но потом взъерился и сказал: «Мне не гегемония нужна. Мне нужно чтобы не с... на голову. А то течет, заливают глаза, не видно листа бумаги, перед которой я сижу».

Крючков ужасно много мог выпить, но не пьянел, только глаза становились страшными... Почему писателям не доверяют?.. Как Горького окружили... Неужто не понимают, что в споре Николая с Пушкиным все-таки всегда останется прав Пушкин. Николай понимал это.

29 декабря 1972 г.

Надо бы подробнее записать всю позорную академическую историю с выборами Леонида Леонова. Начиная с того, как М.Б. Храпченко советовал мне отговорить Леонова выставлять свою кандидатуру для баллотирования («Ты же знаешь, что нет гарантии... У нас он пройдет, но на большом общем собрании его снова провалят. Ты же знаешь состав нашей Академии... Восемьдесят процентов в силу своей национальной принадлежности считают его антисемитом... Провалят его, он может не перенести удара, а виновны будем мы»). Хотелось спросить, а как же он, Храпченко, прошел? Может, поэтому теперь в роли академика-секретаря он порядочных русских не пропускает — расплачивается?

С другой стороны Б. Сучков, директор ИМЛИ, как взбесился, узнав, что 18.XI документы поступили от Л. Леонова (Мне передавали его слова: «Это интриги Овчаренко... Он знает, что Леонов все равно будет провален, и тем не менее уговорил его, чтобы таким образом выбить меня»). Увидев меня, Сучков в гневе сказал: «Ты же знаешь, что преобладание еврейского элемента в Академии исключает возможность прохождения кандидатуры Леонова через общее собрание Академии». Я уже слышал эти слова от Храпченко и сказал Сучкову: «Что за антисемитизм! Надо больше верить в объективность ученых. Посмотрим!».

Однако той стороной было мобилизовано все, но и мы не дремали. Константин Прийма уговорил М. Шолохова прибыть на выборы, а еще раньше прислать телеграмму в поддержку. 15 ноября Шолохов, неожиданно для всех, прибыл в Москву и на следующий день, впервые в истории Академии, пришел на заседание в Отделение литературы и языка. Все 6 академиков проголосовали за Леонова. Позорная возня в последующие дни не дала результатов (хотя Сучков и сказал Щербакову из ЦК: «Мы этого маразматика свалим»). На общем собрании Леонов прошел двумя голосами (собрал 46), двумя, но — прошел, хотя накануне по зарубежному радио состоялось провокационное заявление: «Завтра в Академии наук будет голосование в академики кандидатуры главного антисемита Леонова». Вот так-то, ни много ни мало, ничего другого сказать о великом русском писателе у них не нашлось.

Мне говорили, что и в отделении Шолохов помог тем, что грозился выйти из Академии, если не изберут Леонова.

Вот как формировалось Отделение литературы и языка, если даже Леонову, крупнейшему русскому писателю, мастеру языка и литературы, путь был не устлан розами. Куда уж другим русским — не столь значительным людям! Если ты русский, тебя могут представить антисемитом, хотя ты ни сном ни духом. При таком большинстве можно не рассчитывать на объективность.

28 ноября мы выпили по случаю победы, были у Леонова в гостях, заезжали к Шолохову. Когда я поздравлял Леонова, он сказал, что рад, что обязан этим многим, в том числе и Храпченко. Я засмеялся, сказав, что обязан Шолохову и шолоховедам, что, по-моему, не очень понравилось.

Л.М. рассказал анекдот о человеке, который всю жизнь любил одну женщину, добиваясь ее и в 30, 40, 50... Когда ему исполнилось 70 лет, она пришла. Он обрадовался:

— Ко мне?

— Да... поставить клизму.

5 декабря 1972 г.

Позвонил Л.М. с вопросом: «Что нового в литературе?»

— Хочу спросить: куда идти, в каком направлении двигаться?

— Разрешите подумать немного, дня три, чтобы указать вам совершенно точно направление? А то дашь ошибочный ориентир, а потом отвечай за вас.

Стали обсуждать новинки.

— Начал читать Проскурина. По-моему, хорошо, добротно. Жаль, что композиционно разбросано. Материал прекрасный... я мог бы сказать ему много полезного, но боюсь учительствовать. Прочел пока половину книги. Есть у меня замечания, но научить писателя нельзя. Опыт

приобретается через свои собственные ошибки. Пишет он легко и просто. Но писать быстро нельзя. Надо уметь вычеркивать...

20 декабря 1972 г.

Леоновы в Барвихе. Едва они туда приехали, как у старшей дочери Лены случился приступ в почке, ее увезли в 52-ю больницу. Звонили Татьяна Михайловна и Леонид Максимович — нельзя ли Лену перевести в больницу Академии наук? Узнал, что можно.

Поговорили о литературе.

— Здесь В. Кожевников, но разговаривать ему со мной некогда. Сообщил, что пишет «роман о рабочем классе». Чрезвычайно осведомленный во всем человек... Я работать не могу. Потому и звоню — нет ли чего обнадеживающего в литературе? Что почитать?

21 декабря 1972 г.

— Был сегодня на торжественном заседании в Кремле. Звоню вам — нет ли в журналах чего-либо интересного. Запишите для ваших мемуаров: «В последние годы старик Леонов своими непрерывными звонками не давал мне работать». Сам не работаю и другим не даю, извините.

25 декабря 1972 г.

Долго говорили о современном оформлении книг. Этот вопрос всегда интересовал Л.М.

— Мы истлеем. Книги останутся. Они должны и формой своей рассказывать о нас и нашем времени... Надо издать Горького в лучших его образцах — пять-восемь томов. Вы верите, что и книги исчезнут? Я тоже не верю. Читаешь книгу настоящую — это труд.

Он набивал на необходимости полиграфического оформления книги, как произведения искусства.

— Будет дорого стоить? А почему книжка должна стоить дешевле бутылки водки? Дешевизна не всегда достоинство.

1 февраля 1972 г.

Мы были в Малеевке. Л.М. спрашивал, как работалось и отдыхалось. Сообщил, что ему все не работается. «Видимо, так долго обтесывали и обминали меня, что ничего не осталось. А хорошо бы довести до конца этот последний кирпич».

— И запустить?

— Нет, довести до конца работу. Но как можно работать, если сегодня некто по телевидению заявил: «Самое главное — понять, что

ты — не самый главный на земле». А у меня во «Взятии Великошумска» герой говорит: «Ты твердо должен верить, что любое дело, которое ты делаешь, самое главное и ты делаешь его для самого Сталина, и никто лучше тебя сделать его не может». Ведь это и мое кредо, а теперь вот убеждают в другом. Не понимаю...

2 февраля 1972 г.

Л.М. увидев у меня в руках журнал «Роман-газета» с повестью В. Пикуля «Реквием PQ-17» и моим предисловием, сказал: «Это я читал. Интересная книга, обжигающая. Полезная книга... Мне и «Океанский патруль» понравился, несмотря на все его несовершенства».

Годы 1974-1988

31 мая 1974 г.

Два дня писал письмо Леониду Максимовичу Леонову в связи с его 75-летьем.

Директор ИМЛИ Б. Сучков велел составить поздравительную телеграмму от сектора.

Вчера, выступая по радио, я сказал, что Леонов сейчас самый крупный писатель-психолог в мировой литературе,

В двенадцать часов мы с Ольгой Михайловной пришли в дом Леонова в Переделкине. Встретили уходящего Свиридова, который привез адрес и сувенир от Госкомиздата.

Во дворе сутились В. Чивилихин и Е. Исаев. Оказывается, они привезли три семьи муравьев в целлофановых пакетах и выбирали при участии Л.М. место для их расселения. Л.М., в сером костюме, в белоснежной сорочке, без галстука, страшно рад: теперь растения и деревья будут под надежной защитой. На прошлой неделе он и сам привез четыре семьи муравьев. Спрашиваю, как называются муравьи. Он тут же приводит латинское название.

— А по-русски?

— Да это самый обыкновенный, красный.

Присаживаемся все на террасе. Идет сложный разговор. В. Чивилихин тайком включает магнитофон, обещает мне копию записи, но я все-таки по всегдашней привычке кое-что записываю.

За столом, в соседней комнате, смотрю на большие натруженные руки Л.М. Пальцы в ссадинах, ногти как у всякого человека, имеющего дело с землей. Руки, в которых привычна лопата, ножницы, топор, молоток. Сейчас он сцепил пальцы, положив руки на стол. Его круглое, темное лицо с чуть обезображенной давней болезнью нижней губой напряжено. Хотя говорит он о том, что сегодня он счастлив: «Мне

подарили муравьев. Мне сказали столько добрых слов, сколько я не слышал за всю свою жизнь. Не буду оглядываться на прошлое. Там было столько страшного. Писали обо мне так, что и до сих пор мороз пробегает по спине».

В самый разгар беседы появляется министр лесного хозяйства РСФСР и представитель Совмина РСФСР. Они принесли адрес, личное письмо от Кочемасова и подарки: чудесные поделки из дерева. Адрес лесорубов в папке из березовой коры.

Вспоминают о «Русском лесе». Л.М. рассказал, что первоначально, задумав роман, он хотел волнующие его проблемы разобрать на материале металлургов либо нефтяников. Однако время было суровое, люди, к которым он обращался, интересуясь изображением промышленных процессов, иногда относились с настороженностью к расспросам. И тогда он обратился к лесу. И сразу же натолкнулся на энтузиастов, таких, как Анучин. Они не только рассказали все, что знали сами, но приносили ему горы книг, редкие журналы, превратили его в профессора лесных наук.

Только ушли совминовцы, как во дворе появились писатели: М. Алексеев, И. Стаднюк, А. Иванов, В. Фирсов, В. Ганичев. Чуть раньше пришел Ковалев с женой (автор книги о Леонове), а затем Ю. Прокушев с женой. Он привез подарочное издание «Евгении Ивановны»...

Сменили стол. Л.М. обратился к писателям с благодарственным словом. Он сказал, что всю жизнь думал о том, как сказать народу подлинную правду о жизни, о человеке, о времени.

— Я убежден, что наш народ достоин того, чтобы ему говорили только правду, без приукрашивания. В приукрашивании нуждается лишь то, что непригодно в своем подлинном виде. Лавровый лист более всего нужен, когда продукт недоброкачественен. Я убежден, что наш народ, его дела не нуждаются в приукрашивании; даже когда мы делали ошибки, мы их делали потому, что шли первыми.

Он закончил шуткой. Глядя в окно, вдруг засмеялся: «Я их кормлю, и, смотрите, они слетаются, когда наступает их время»...

По поводу иллюстраций Верейского к произведениям Л. Леонова, выходящим в серии «Всемирная литература»: «Он — схалтурил. Но я все-таки не понимаю, знаете, если таланту что-то даже не удастся, то все же должно чувствоваться тавро, резец, печать мастера. А тут ничего подобного нет. Быть может, он поручил работу ученику?» — сказал Леонов...

Затеялся разговор о молодом писателе Олеге Куваеве. Леонов заметил, что в «Территории» слишком много диалога, «между тем, диалог можно давать тогда, когда ты сам уже ничего не можешь сказать о героях от себя. Диалог это то, что могут сказать только герои». Чивилихин защищал Куваева, говоря, что тот долго работал в газете. «Вот вы бы, Л.М., поработали в газете, тогда бы знали, что это такое!».

Л.М. возмутился: «Дорогой мой, да я начинал с газеты, я сам писал всю газету 15-й дивизии, передовицы, стихи, фельетоны»...

Гости приходили и уходили. Только нескольких человек Л.М. не отпускал до вечера, ждали, что приедет кто-то из руководства Союза писателей, отдела культуры ЦК, с «верхов» все-таки явятся, вспомнив о юбилее великого писателя, но отнюдь... Чувствовалась горечь от пренебрежения, сознания ненужности настоящей литературы, настоящих русских писателей.

На террасе, куда еще подошли академик Цицын, Кафтанов, разговор переметнулся вдруг на Микеланджело.

«Раньше били человека поддых, но не били за талантливость. Микеланджело сбросил с помоста на Папу Юлия доску, чуть не убив его. Но Юлий приказал догнать и вернуть его, ибо знал, кого может лишиться», — сказал Л.М. Ольга Михайловна, будто в упрек и с досадой, заметила, что Микеланджело не нуждался в почестях и поощрениях и служил только искусству и Богу.

(В. Чивилихин сделал запись этого разговора).

1 июня 1974 г.

Л.М. позвонил по телефону, поблагодарив за мое письмо. «Конечно, когда юбилей, говорят только хорошее, преувеличивают все, но хоть 10% правды есть?» — сказал он. Я ответил, что в моем письме больше — 17%. Он очень смеялся, как всегда спросил, не чересчур ли он был болтлив вчера: «Знаете, все же это последняя большая дата в моей жизни. Да и сам возраст делает болтливым».

Сегодня состоялась конференция ИМЛИ, посвященная 75-летию Л. Леонова. Он сидел в своей излюбленной позе за столом, подперев подбородок сцепленными руками. Я увиделся с ним еще в вестибюле, где он сказал: «Поверьте, пришел через силу, не такое это уж удовольствие». Молча слушал доклады.

Перцов: «Мы приветствуем писателя, который ровно на сто лет и два дня моложе Пушкина».

На это Леонов заметил: «Да. Я долго выбирал день, в который бы мне удобнее родиться. Думал, как бы проскочить между Пушкиным и Бальзаком. Не удалось».

7 июня 1974 г.

На заседании по поводу 175-летия Пушкина в Кремлевском Дворце Съездов делал доклад В. Федоров. Я больше наблюдал за Л. Леоновым, который в президиуме сидел между Сусловым и Кириленко. Суслов за все время не сказал ни одного слова соседу. Кириленко раза три что-то говорил Леонову.

Сегодня Л.М. позвонил, и я сказал, что вид у него вчера был величественным. На что он ответил: «У моего окружения». Перейдя к литературе, продолжил разговор о Куваеве, роман которого я дал ему прочитать: «Читаю роман дальше, знаете, поначалу было ничего, но дальше — на первом месте золото, а не люди!»

Неделю назад узнав от кого-то о том, что Василий Белов в романе «Кануны» собирается вывести Томского и Бухарина, разволновался и сказал:

— Вы не можете, не ссылаясь на меня, отговорить его от этой затеи? Намучается он. Бухарину и Томскому не было никакого дела ни до русского народа, ни до русского мужика. Им было дело до самих себя. Это все с них началось. И пусть он не вяжет с ними судьбы народа, страны.

19 июня 1974 г.

Сегодня в МГУ конференция, посвященная юбилею Л. Леонова. 110 докладов, из которых мне понравился доклад Н.П. Анучина. Мое выступление — заключительное слово «Мировое значение творчества Л. Леонова». Интересно, что ни из МГУ, ни из ИМЛИ, кроме меня, нет докладчиков. Разве это случайность?..

21 июня 1974 г.

Речь Леонова на заключительном заседании конференции.

Он рассказал о том, что его литературная биография была нелегкой. Каждая книга, в особенности, после 1931 года, встречалась «аплодисментами по телу». Жаловался на критику, которая мало разбирается в особенностях его творчества, обвиняя его в чем угодно. Он считает, что каждый писатель хорошо знает, что ему удалось и что не удалось. Самую злую статью о Леонове мог бы написать он сам о себе... Он говорил, что никогда не изменял и не изменит ни литературе, ни своему народу. Хотя в борьбе он всегда оказывался «страдательной фигурой», потому что не прибегает к методам своих противников. «Грацианские пойдут на такие средства, на какие я никогда не пойду: они мне претят».

О работе своей:

— Меня всегда интересовали не факты сами по себе, их читатель может почерпнуть из любой научной книги, а меня интересовал живой человек, как он видит происходящее, как явление отражается в нем.

Я всегда рассматривал литературу как мышление. Комментарий к Вселенной может оказаться интереснее Вселенной. Мышление должно составлять главную сторону нашей литературы. Оскар Уайльд говорил, что самые грандиозные события происходят в мозгу...

В гигантском беге Достоевского и Толстого обгоняет все-таки Достоевский.

22 августа 1974 г.

Вечером звонил Л.М., как всегда, в миноре:

— Нет запала, когда я писал «Русский лес», был запал, теперь прошел. Пропала тяга к бумаге. Вот думаю, не напечатать ли главу из романа — концепция Вселенной. Она отличается самостоятельностью. Предложил Косолапову, а он испугался. «Надо почитать, посмотреть, прикинуть», — сказал он без всякого внутреннего желания получить главу.

21 сентября 1974 г.

Беседа с Л.М. Он был в плохом, нерабочем настроении. Сообщил, что долго работал над отрывком из романа, но, наконец, отправил в печать. Жаловался на мрачные мысли.

— У меня где-то написано: «Плоха та страна, где есть закон, гласящий: сын должен кормить мать».

По поводу литературы:

— Чтобы собирать урожай, надо сеять.

О человеке:

Упорно не соглашался со мной, что люди все-таки становятся лучше.

— Согласитесь все-таки, что человек чересчур медленно становится человеком.

— Я уже говорил вам, что не признаю за искусством узко утилитарных целей. Не дело искусства учить человека: «Не плюй соседу в ухо». На это есть милиция или там Академия педагогических наук. Искусство воздействует на человека не всегда непосредственно и во всяком случае другими средствами. Оно защищает ценности посвоему. И этого никак не поймут кое-где...

— Дорогой А.И., я не прочь защищать отечество. Но я не хочу выпрашивать на коленях себе право защищать отечество. Не пойму, почему Суслов думает, что он любит отечество вернее и правильнее, чем я? Кто дал ему это право? И чем он доказал, что он прав, а не я? Я вам рассказывал о Маслине? Нет? Была такая пьяная морда в ЦК. Не знаете, где он теперь? Так вот, во время войны или вскоре после ее окончания мне сообщили, что в Лондоне готовится постановка «Половчанских садов». Я думал, что было бы актом элементарной вежливости и культуры послать труппе приветствие. На всякий случай — время было суровое! — решил посоветоваться, позвонил. Маслин: «Хорошо, мы подумаем». Прошло две недели. Звонка нет. Я позвонил сам. Маслин мне ответил: «Лучше вы им скажите, чтобы они ставили

«Нашествие», а не «Половчанские сады», и потом, пусть они посылают приветствия советскому писателю — а не наоборот»...

Очень крупный человек (я имею в виду зависимость его крупности от поста), встретив у меня в произведении фразу: «Не презирай врага, чтобы не мешать бдительности своей», распорядился: «Заменить: мы всегда должны презирать врага своего!» Через неделю я позвонил и сказал ему: «Перебрал все синонимы. Нельзя ли фразу оставить!»

— Нельзя!

— Тогда что же вычеркивать?

— Это уж ваше дело.

Положил трубку.

25 сентября 1974 г.

Договорились, что я приеду на новую квартиру Л. Леонова. Почти десять лет решался вопрос о предоставлении ему квартиры. И вот, наконец, на улице Герцена построили дом, в котором выделили квартиру Леонову. Сколько в связи с этим треволений! Еще когда Л.М. отдыхал в Н. Ореанде, обнаружилось, что никаких документов на квартиру нет. Неизвестно, по чьему распоряжению ее определили Леонову. Его заявления тоже нет, пришлось прислать его по фототелеграфу. Только потом узнали, что до вселения еще полгода. В августе, осмотрев квартиру, Л.М. впал в уныние: протекал потолок, неисправна сантехника. Но и оставаться в квартире на улице Горького не под силу: шумит улица, над головой беспрерывно стучит отставной генерал, укрепляющий здоровье с помощью физкультуры и физического труда...

Наконец, получили квартиру, привели ее в божеский вид. Л.М. неделю возил свои книги, которые собирал всю жизнь. «Сегодня их поставил на полки. Можете приезжать», — сообщил он. Но у меня была лекция в МГУ, а когда закончилась и я позвонил, то Л.М. уже уехал на дачу. Поговорили по телефону, договорились о встрече на завтра.

26 сентября 1974 г.

В шесть часов позвонил Л.М.

— Все сгорело, Александр Иванович. Все. Ухожу от всего. Ничего мне в этой жизни не надо. Больше не услышите от меня ни одного слова. Я и раньше молчал, теперь совсем уйду от всего... К черту... Ничто... Что...

— Да что случилось, Л.М.?

— Пожар случился... Все сгорело... Все... Книги сгорели... Самые дорогие... Всю жизнь собирал... Некоторые уникальны... Олеарий сгорел... Книги с портретами дождей... Двухтомный Петербург... Я даже вам не показывал... И те, что вы видели, тоже сгорели... И портрет деда

сгорел... Куда мне деваться... Может быть, есть где-нибудь монастырь... Рок какой-то. На кой черт я согласился переезжать.

— Л.М., мне сейчас приехать к вам?

— Нет, я сейчас выпью и лягу.

— Да, ложитесь в постель и успокойтесь.

Я позвонил Беляеву, Озерову, Сучкову. Все обещали помощь, чтобы все привести в порядок, но никто «не смог съездить к нему».

27 сентября 1974 г.

С утра все тянул, не еду в Переделкино. Боюсь. Страшно тяжелая миссия. В. Чивилихин отказался ехать со мной, чтобы «не растравлять рану».

Иду на дачу. Встречает пес. Сторожиха Вера Васильевна говорит, что Л.М. «сегодня вроде бы отошел, а какой он вчера был... Долго копался в саду. Сейчас прилег».

Сажусь в плетеное кресло у входа в дом, возле флоксов всех цветов, разведенных Татьяной Михайловной. Все почти растения — раритеты. Вспоминаю, как однажды я наступил на какую-то травку

— Вы на что наступили, — завопил Л.М.

— На подорожник, кажется.

— Подорожник! А еще профессор... Не подорожник это...

И он закрутил какое-то латинское название.

— А я думал, что это «подорожничек — наш помощничек» — так говорила моя мама.

— Что? Как здорово она говорила.

Не заметил, как из дома вышел Л.М.... Вошли в дом, тут же взгромоздил на стол две бутылки. Впервые вижу его чуть всклокоченным, лицо покрасневшее. Ведь он редко пьет, а тут выпил, не дожидаясь меня. И посмотрел на меня глазами все потерявшего ребенка. Правый глаз, больной, почти совсем закрыт.

Вышла Татьяна Михайловна...

Л.М. быстро стал рассказывать:

— Вошли в квартиру, а там непроглядный дым. Я увидел, что портрет моего дедушки вздулся пузырями. Пришлось выбежать из квартиры, дым, гарь, чад... Говорят, загорелось в кабинете. Сгорело два шкафа с самыми дорогими для меня книгами. И сгорели мои записки (кое-что записывал для себя). А что еще, не знаю. Таня спрашивает куда я положил рукопись романа, а я не помню, кажется, начало его было в шкафу... Да что теперь говорить...

Он говорил без умолку... Надо было выговориться...

Потом я, не утешая, сказал: «Судьба жестоко бьет вас, но — и милостива к вам. Могло ведь случиться куда хуже. Не задержи меня три дамы в МГУ, я бы успел к вам на новую квартиру. Как всегда, вы бы

не отпустили меня допоздна. Заночевали бы и проснулись в дыму, а может, и задохнулись бы, не проснулись»...

Татьяна Михайловна перебила меня:

— А мы даже размышляли, не остаться ли нам...

— Вот, видите, могло быть и хуже.

— Да, мать, — сказал Л.М., — могли нас на днях и отпевать.

И снова заговорил, но теперь уже спокойнее. Вдруг спросил, хороший человек Лидия Петровна Быховцева. Потом также в упор:

— Как вы думаете, Ольга Михайловна хорошо ко мне относится?

— Очень хорошо... Лучше, чем я.

— Вот теперь верю! Спасибо.

Я обиделся.

— А что же, я к вам плохо отношусь?

— О наших отношениях я мог бы написать изумительный рассказ. Я вижу все: позы, лица, жесты...

— А почему вы спросили меня об Ольге Михайловне?

— Я просто гляжу вокруг себя, на кого я могу надеяться...

— Ну, знаете, Л.М., у вас столько людей, которые любят вас.

— Бросьте, А.И....

Возвратившись домой, я сказал своей жене о странном вопросе.

— Бедный Л.М., как он выбился из колеи в связи с этим ужасным пожаром. Он потерял веру даже в тех людей, которым прежде верил. Ведь это моя помощница Нина убирала после ремонта квартиру Леоновых, а он ищет причину беды... Зря, Нина — удивительно честная и работающая женщина, от нее никогда не может быть вреда, но я понимаю Л.М., как ему плохо, как он подавлен...

Эти слова были близки тому, что говорила мне Татьяна Михайловна, когда Л.М. отошел к телефону:

— Ну, чистый ребенок. Тут ему загорелось сделать отрывок из романа. Сидел, правил, сделал десять редакций. Говорю: «Не печатай. Это, как лекции Вихрова, будет на месте только со всем произведением». Не послушался, отправил. Теперь — вот этот пожар. Сгорели книги, которые он любил больше детей. Сгорели, наверное, начисто. Горели снизу. Кажется, сгорело черновое начало последнего романа. Остальные рукописи уцелели. Это потому, что я их ему не дала. А то, что он перевозил, он не помнит, куда положил...

28 сентября 1974 г.

Утром, чуть свет позвонил Л.М.

— А.И., я прошу вас простить меня. Нехорош я был вчера. Нехорош. Простите, пожалуйста.

И положил трубку.

29 сентября 1974 г.

Много времени ушло на переговоры с самыми разными людьми, чтобы квартиру Леонова как можно быстрее привели в порядок.

В этом роковом для Леонова пожаре было много неясного, но... никто не спешил разбираться в случившемся. Я слышал версии от разных людей, но где истина?

Мне кажется, что больше всех реагировала на эту беду сдержанная и мужественная Татьяна Михайловна, переживая и то, как страдал Л. М. Когда Ольга Михайловна впервые после пожара пришла в дом Леонова, где хозяйка рассказывала ей, сколько было пепла в кабинете, какие темные окна в квартире, и показывала, доставая даже из закрытых шкафов вещи или бумаги, все прокопченные, она, придя домой, все не могла успокоиться от увиденного и услышанного.

5 октября 1974 г.

Поистине, беда не ходит одна.

Позвонил Л.М.

— Выручите, помогите! Татьяна Михайловна тяжело заболела. У нее похоже, что воспаление легких. Нужен профессор-легочник. Я не знаю, что делать?

Связался с поликлиникой АН СССР, хотя Леоновы лечились в «Кремлевке». Сразу же к ним выехала врач Нина Сергеевна Коломиец, зав. диспансерным отделом и консультант.

6 октября 1974 г.

Позвонил Л.М., он немного успокоился, будто воспаления легких не обнаружили.

8 октября 1974 г.

Наступили очередные выборы в Академию. Я уже не баллотировался, но, увы, могли пройти так называемые «ученые», если они были угодны Д. Лихачеву, М. Храпченко и «цекачам». У меня же, несмотря ни на издания Горького, которые я вел, ни на мои книги, шансов не было совершенно. Но русское «авось» — и снова я участвую в выборах. Решил поговорить с Л.М., который стал не так давно академиком. Я знал, что честнейший Леонов не покривит душой и проголосует за меня, но он никогда не проявит активности, чтобы выступить и своим авторитетом меня поддержать. «Он не будет против Храпченко, а также ЦК». Он уже говорил, что поддержит, если ЦК будет рекомендовать, будто послушный член КПСС. Ведь он так и не поверил, что не Храпченко определил выборы его в Академию, а Шолохов. Вот мы, русские. Два гения, жившие в один век, так и не

удостоились встретиться хотя бы один раз — Л. Толстой и Ф. Достоевский, а теперь — Шолохов и Леонов. Хотя где-то встречались, но будто в разные эпохи живут, на разных планетах.

Когда мы стали говорить с Л.М. о выборах, он сказал, что поддержит меня, но что ему лучше не вмешиваться во все, что там происходит. Теперь он от всего отходит. «Не говорите мне ничего. Храпченко... Филин, Федоренко... Меня это не интересует! В Академии я наблюдал такое, что вообще предпочитаю не иметь с нею дела. Все решаем не мы, а ЦК. Если ЦК скажет Храпченко, чтобы избрать вас, мы будем голосовать за вас... Я уверен, что обо мне вопрос решал ЦК...».

— Но вы же знаете, кто в ЦК решает эти вопросы и как однозначно они их решают. Разве Беляев допустит, чтобы меня рекомендовать в Академию? Он костыми ляжет, — говорил я Л.М., и он соглашался.

В разговоре с Натальей Леонидовной я спросил: «Что происходит с Л.М.?».

Она ответила:

— А мы вообще боимся с ним разговаривать. С вами он говорит, а нас и видеть не желает...

11 октября 1974 г.

Мне не хотелось разговаривать с Л.М., потому что казалось, что он не может сейчас кого-либо или что-либо слушать. И очень не терпит, если говорят не то, что бы ему хотелось услышать...

Но надо было подписать протоколы редколлегии. Еще раньше купил поролоновые ленты, чтобы заделать щели в окнах... Л.М. жаловался, что дует из окон и он простудился. Я пришел и стал закрывать щели поролоном, сначала Л.М. скептически улыбался, а потом стал мне помогать.

Закончив работу, я вручил Л.М. три тома М. Горького.

— Вы думаете, что от Горького что-то останется?

— Останется.

— Ведь его изображение однолинейно. У меня есть такое выражение: побродить в окрестностях произведения. То есть изображается не только Красная площадь, Котельническая набережная, Краснохолмский мост, но и все дальше и дальше. Это умеют большие писатели. К сожалению, мне это почти не удастся. Горькому тоже не удавалось.

— Удавалось. Например, в «На дне».

— Ну, «На дне» — это просто счастливый билет.

— Но вытянул-то его Горький.

А как он знал язык!

— Да, диалог у него превосходный. Язык у него — да... А я вот не пишу. С этим пожаром выбился из колеи... Не помню даже, на чем остановился... Но все думаю: а нужно ли большое искусство, искусство

сложных проблем, трудных вопросов? Или писать о КамАЗе? Почему сегодня все упрощается, опрIMITивливается? Кому это нужно? Ведь идею социализма защищаем сегодня только мы. Почему же так примитивно, упрощенно, порой глупо... Неужели кто-то верит, что наши противники — дураки? Вот мы продаем ФРГ два миллиона тонн газа за то, что они поставляют нам трубы для этого газа. Кто в данном случае умен? Мы сбрасываем миллионы тонн воды в скважины, это по-хозяйски? На Дальнем Востоке выжигаются леса, чтобы расширить посевные площади — разумно это?

От подобных глупостей можно ждать только катастроф. Вы предчувствуете?

И этот провал. Хотелось, чтобы человек наш первым вступил на Луну. Не получилось, а нам стали говорить, что «мы и не хотели».

Жизнь не удалась. Даже в мелочах: хотел иметь оранжерею, стоит она две тысячи долларов... Нет ее. Мечтал иметь маленький трактор, чтобы рыхлить почву для растений. Нет его. Один мой знакомый сказал мне: «Вы слишком скомпрометировали себя преданностью советской власти, чтобы вам дали Нобелевскую премию». Вот и сижу, думаю. Лет десять назад я радовался бы такой квартире. А сейчас сижу и думаю, как меня отсюда будут выносить. Вот и еще друг умер — Давыдов, в гимназии он сидел передо мной с Равичем, знаете такого? Я же не антисемит, видите, кто у меня друзья. Но зачем заискивать перед евреями? Разве без этого жить невозможно?

Стал рассказывать, что хотел написать то, другое, но потом махнул рукой, — кому все это надо?

2 февраля 1975 г.

Много было разговоров в эти два месяца с Л.М. Все они вращались вокруг несчастья. То он скажет по телефону: «Вожусь с обгоревшими книгами», то — категорично: «Ничего мне больше не надо».

— Прошлый год — это моя незаживляемая рана.

Помолчал, поправился:

— С трудом заживающая рана.

Это уже лучше. Скоро поедут в Барвиху.

5-8 февраля 1975 г.

Из Барвихи Л.М. звонит регулярно. Вернулся к старому вопросу:

— Что новенького в литературе?

8 февраля сказал, что «Тане лучше».

Сказал, что его просили выступить по телевизору, а он отказался.

— Не надо, чтобы наш брат появлялся перед публикой. Мы должны быть красивы за письменным столом.

Читал стихи Сологуба в издании «Библиотеки поэта».

— Таня, поищи «ромашку», которую хвалит А.И. Напрасно Горький так изругал Сологуба, что — у Горького есть положительные отзывы? Какие? Не знал. А вы знаете, что его мать была прачкой? «Мелкого беса» я читал, мне понравилось. «Творимую легенду» не читал. И что он одним из первых стал в литературе вольно изображать женщину, обнажать ее, не знал.

Потом снова стали говорить о современной литературе.

— Распутин? Начал читать, кое-что растянуто, но показалось очень интересным («Живи и помни»), не дочитал, кто-то унес журнал.

18 февраля 1975 г.

Позвонил Л.М., сказал, что в Барвихе читал лекцию о литературе некий А. Пискунов:

— Кто это? Что-то в его лекциях я не услышал о произведениях известных мне крупных русских писателях. Подбор имен у него — только однозначный.

23 февраля 1975 г.

Ходили с Ольгой Михайловной в гости к Леонову. С нами была моя аспирантка — венгерка Роза Надь, которая сказала, что она работает над темой «Культурная революция в СССР».

Леонов посоветовал, чтобы она избегала формул, взятых из декретов, все они облеплены воском, облизаны, внешне приглажены, ужасно трудно через них добраться до того, что внутри. Между тем, людям надо знать правду о нас. Правда — единственное горячее истории. Роза сказала, что она читала «Русский лес». Вначале ей показалось, что Полина слишком мудра для своих лет, но, когда она пожила среди русских, поняла ее.

Л.М. перебил ее:

— Видите ли, я не думаю, что дело литературы отражать действительность буквально. Дело литературы — думать, учить думать... Надо давать философскую загрузку... У нас ценят подхалимство, лесть и в последнюю очередь — труд. Мои герои — люди труда.

— Говорят, что вы сейчас самый крупный писатель...

— Я знаю о своих книгах все, и меня трудно обольстить словами, знаю, вот эта сцена не дотянута, эта скособошена, вот эту надо перестроить, а вот та получилась... И мне очень хотелось видеть, как сделано мое произведение. Композиция — это кровеносная система, обеспечивающая крепость и долговечность произведения. В новом романе...

— О чем ваш новый роман?

— Это большой роман. О чем? Черт его знает, о чем...

— Читала отрывки из вашего нового романа. Написано очень трудно. Я многое не поняла. Но в своем несчастье (гибель мужа) многое передумала, даже спрашивала, а может ли человек представить себе бесконечность.

— Я должен был все зашифровать. Все боятся касаться вопросов мира, жизни и смерти, бесконечности... Мне всегда хотелось найти на координатах пространства и времени свой адрес. Вот здесь, в этой точке, я жил, живу... Мне кажется, я знаю, где мы находимся, на каком историческом перевале. Никогда человечеству так интенсивно не надо было думать, как сейчас. Будучи в США, я сказал: «Мы живем в век, не позволяющий делать ошибок».

— Вы оптимист или пессимист?

Леонов: Я — пессимист. Считаю, что пессимизм умнее оптимизма. Пессимизм позволяет предусмотрительность. Я жду несчастья, а оно — не случилось. Хорошо, случилось же — я встречаю его подготовленным.

Я считаю, когда миллионы поднимаются вверх, получают все, начинаются подлинные проблемы. И главное требование: если вам угодно отличаться друг от друга, отличайтесь умом, а не миллионами, дачами кольцами, шубами. Человечество стоит того, чтобы ему сказали всю правду. Было много ошибок, неудач. Но было немало хорошего...

Мы перешли из кабинета в столовую. Здесь уже шел другой разговор. Л.М. рассказал несколько анекдотов.

Ольга Михайловна спросила Л.М. его мнение о повести Шукшина «До третьих петухов».

— Очень интересен Шукшин, ни на кого не похож. Блистательно талантлив, но вещь не до конца сделанная. Хотя талантлив на каждом шагу. Как хорошо отвечают у него головы Змей Горыныча.

22 мая 1975 г.

Было несколько разговоров и встреч с Л.М., но не записывал, так как был очень занят подготовкой доклада о М. Шолохове, который предполагается в МГУ в присутствии самого писателя. Собирались ехать в Вешенскую и вдруг... Сообщение, что Шолохов тяжело заболел... Положение опасное.

Ряд писателей уговорили меня, чтобы я попросил Леонова выступить. Позвонил и говорил сначала с Татьяной Михайловной. Она — против. Потом у нее взял трубку Л.М.

— А.И., зачем мне выступать, когда есть Чаковский, Марков, Сурков? Последний — это Демосфен и Плевако в одном лице. О чем я могу сказать? Я никогда не был у него. У нас не было контактов. Зачем же меня выдвигать? Скажите: его кто-нибудь приглашал на мой юбилей?

Я не сомневаюсь в том, что он большой писатель, но я знаю, что, когда меня всеми средствами истребляли, этот человек летал на

самолете на охоту. Сейчас он болен. И я сочувствую ему. Вы задели мои больные раны. Я послал телеграмму в связи с юбилеем.

26 октября 1975 г.

Позвонил Л.М. и долго разговаривал с Ольгой Михайловной и приглашал завтра прийти. Мы пришли.

Заметно постарел и похудел за эти месяцы, говорит меньше чем раньше. Чувствуется какая-то моральная усталость. Показал мне книжку Олжаса Сулейменова.

— Надо бы дать отпор, — сказал я.

— А черт с ними... Они понимают, что если расшатать русский стержень, то все полезет, как гнилая материя. Ради этого и стараются. Сегодня у нас рубят леса первой зоны, т.е. защитные леса... Ну я понимаю, что в США тоже рубят, но там капитализм, фирмы стремятся взять все... А у нас почему? Для Египта или для Амина. Но ведь все равно не оценят этого. Нет, надо уходить... Погрузиться в созерцание, «куме, опускайтесь на дно», как говорят украинцы.

Я попробовал перевести разговор на литературу. Спросил, переписывает ли он роман?

- Никакого романа не будет. А хотелось бы рукопись его подержать в руках, чтобы посмотреть, как это получилось... У меня вставок огромная кipa, но не хочется переписывать. Нет внутреннего стимула.

И противно, что правду приходится завертывать в ложь. А зачем это? Ведь в этом романе нет ни лагерей, ни чего-либо такого. Ведь у меня нет злобы против нашей действительности. Наоборот, есть моя личная ответственность за нашу действительность. Я жил, что-то делал и, следовательно, есть пусть маленькая, но моя доля. Значит, и я за нее ответственен. Поэтому и хочется ее осмыслить без всякого вранья. Не описания я даю, а осмысление, размышление и обобщение, почти символы. Вы же знаете мой принцип работы. Он отличен от горьковского. Горький дает обычно изображение двухплоскостное. Изумительна у него свежесть языка. Он строит фразу блестяще, но вот так: - - -, я же строю так, чтобы каждое слово отбрасывало луч в фокус к невысказанному главному слову. Я перехожу к фантастике, почти полностью отрешаюсь от быта, потому что в фантастике есть особая символика. Когда я задумываюсь над вопросом, чтобы каждое слово отбрасывало луч в фокус к невысказанному главному слову. Когда я задумываюсь над вопросом, чем заинтересовали мои ранние, незрелые рассказы Горького, то прихожу к выводу: обобщениями, одетыми почти в мифическую форму.

Все, о чем думаю, все пошло бы на счет нашей власти. Но без вранья. Какая драма: чтобы сказать правду, приходится обматывать ее во вранье, никому не нужное. И ведь через пять лет мне же этим враньем ткнут в морду. В свое время Платон Керженцов, министр и

прочее, сказал мне: вставить надо в пьесу шпиона! Я поддался внушению, вставил и все испортил.

Возвращаясь к роману, сказал тоном безнадежности и отчаяния: «Затянул работу. Кроме основной рукописи, у меня вот столько вставок. А сейчас я беру ту или другую и не знаю, куда и зачем, что я хотел, когда писал ее. В рукописи, вот тут, ощущаю наплыв как, с помощью чего я хотел снять его, — не помню. И трудно ставить пролеты. Вы знаете, у меня это важнейший прием. Грацианский в начале романа появляется с палкой, а через двадцать листов сует палку в ключ. Кстати, вначале я сам не мог смириться с этим. Потом — смирился. Это мой принцип работы. Если я меняю цвет волос героя, скажем, белокурый на рыжий, то это скажется и вот тут, и вот там, и в третьем месте. Я стремлюсь работать в трех, четырех измерениях, а не в двух, как Горький. Развертывается повествование, все логично, ясно и вдруг — квадратный корень из минус единицы.

В этом и заключается искусство. Этого не поймут ваши друзья из руководства СП, но только в этом и заключается настоящее искусство. Помните «Черного монаха» Чехова? Что Чехов хотел сказать? Какой смысл вложен во всю эту историю? А ведь так же сделан у него «Архиерей» и многие другие произведения. Поздно я родился, надо бы родиться вместе с Горьким...

— Ну и столкнулись бы с ним, — шутя заметил я. Он не принял шутки, ответил!

— Да, еще посмотрели бы — кто кого? Он создавал характеры на двух координатах, и потому они у него плоскостные, плоские.

И вдруг, без всякого перехода.

— А что, как чувствует себя Шолохов?

Я рассказал, что знал от Фирсова, Иванова и Приймы. Они провожали его в Вешенскую. Суслов предлагал самолет, но Шолохов отказался. У него был все-таки небольшой инсульт. И — очень болят ноги. Почти не передвигается. В Вешенской он любит свой кабинет. Но кабинет на втором этаже. Три месяца не могли сделать лифт. И нет специального врача. В последние недели чувствует себя лучше. Один раз пытался пройтись дома с ружьем, посидел минут двадцать с удочкой. А рукопись романа все на той же странице, которую Прийма видел в марте. Вряд ли он закончит роман.

— Я его понимаю. Упущено время. Нет внутреннего стимула... Легко было писать при Горьком. Ученые, политики, писатели — и все ждали нового произведения так, словно от него зависел весь дальнейший ход жизни. Поэтому сам Горький писал легко... И даже потом — при Сталине — это продолжалось. Я знал, что он подгребает меня к себе железной метлой. Молотов — ударит, Жданов — ударит. А он приласкает. Конечно, все это они разыгрывали. Но — читали. Сталин читал «Дорогу на Океан», и «Нашествие». А сейчас не чувствуешь ниоткуда заинтересованности. Дело — не в орденах. Их у меня

полкилограмма. Дело в обычной человеческой поддержке и ласке. Гений — непорхающее существо. Гений, как сказал Ренар, это вол, который тащит тяжелый плуг.

С профессором из Польши Базылем Бялокозовичем у Л.М. Из беседы:

— Сегодня в интересах людей надо говорить о литературе возможно больше. Социализм, который в первую очередь ставит земные цели, может оказаться без неба, если будет недооценивать литературу. А когда не смотрят в небо, то шея заплывает, люди становятся неповоротливыми. Опасная тенденция — превращать литературу в прессу. У нас в литературе явно недооценивается мыслительная сфера. А ведь сегодня решаются кардинальные проблемы человеческого бытия. Не было более важного отрезка в истории, чем тот, что мы переживаем. Сегодня — ситуация вольтовой дуги. Даст ли она необычайный свет или — перегорела аппаратура? Так не зависели друг от друга и в такой степени прошлое, настоящее и будущее, как сегодня.

Поляк сказал: «У вас такой авторитет, что вы должны сказать обо всем во всеуслышание».

Ответ был разочаровывающим:

— Знаете, у меня нет покровителей, а без этого со мной можно делать что угодно... И с возрастом я стал бояться.

Я спросил: чего вы боитесь?

— А.И., вы же умный человек. Вы же все знаете, знаете, о чем я молчу...

— Когда я оглядываюсь на весь путь человечества, мне жалко, если не оправдывается то, ради чего так долго, с такими трудностями, лишениями совершали наш марш...

Я всегда говорил, что есть разные писатели. Есть писатель — толмач, объяснитель современности для широких масс. Он есть и нужен. Но я ценю выше всего писателя, который является «следователем по особо важным делам». Кажется, в последние годы некоторые начинают думать, а не лучше ли, если человечество будет жить попроще. Я же убежден, что фоном для большого искусства была печаль земная...

— Вы знаете, что в Чехословакии заинтересовались отрывком из моего романа в «Науке и жизни», — сказал Л.М.

Вообще же Запад считает, что если я за советскую власть, то я завербован, иначе говоря, подкуплен. Чем меня подкупили? Тем, что у меня есть сто банок растений, которые я люблю и с которыми вожусь каждый день?.. Я всегда был предан советской власти, потому что благодаря ей Россия, такая громадная страна... прошла через такие преобразования. Чего стоило индустриализировать ее! Громадный вихрь, тайфун... Какие силы были приведены в действие!.. Знаете, в 1941 г. мы в несколько недель погрузили на колеса тысячи заводов,

миллионы людей, а через несколько месяцев они обеспечивали фронт... Вот почему для западного пренебрежения к нам нет основы. Почтительнее надо относиться к России. Хотя бы из чувства порядочности. Скептическое отношение к нам на Западе ничем не оправдано. Они много раз уже ошибались. И снова ошибутся.

— Но, Л.М., есть силы и люди внутри вашей страны, которые не проявляют такой порядочности, — сказал Бялокозович.

— Есть такие силы, но у нас никто не осмеливается называть эти силы... Мой возраст таков, что я уже примериваюсь ко многому. И мало верю в то, что кто-либо с моим мнением посчитается... Я смотрю на свою жизнь, как на проигранную карту. Конечно, я мог бы сделать больше...

— Л.М., хочу вас спросить: почему вы сочли необходимым через тридцать лет вернуться к роману «Вор» и переделать его?

— Многие утверждают, что нельзя переделывать произведения, уже изданные. А Вольтер говорил, что авторская работа продолжается всю жизнь. Произведение — это духовная биография автора. Поэтому переделки позволяют глубже проникнуть в авторскую биографию. Важен не факт, а как он отражается. Перечитывая «Вора», я усомнился кое в чем... Я надеялся просидеть полтора месяца, просидел более 2-х лет... Роман получил стереоскопичность...

Я шутливо задал три вопроса о предстоящем съезде писателей. Леонов в том же шутливом тоне ответил на мои вопросы: «На свой съезд мы идем с новыми успехами, «съезд нас вооружил ориентирами, поднимем литературу на недостижимую высоту», и т.п. Но все же Л.М. ответил на мои вопросы серьезно:

1. Прошрое учит настоящее не повторять его ошибки в будущем. Задача советской литературы — освоить опыт всего человечества. Не лгать на могилах. Мыслить масштабами. Революция, то, что мы делаем сегодня, диктуют совершенно другие масштабы мышления, чем существовали до нас.

2. Среди наших молодых писателей много очень талантливых... Хотелось бы, чтобы у них было больше уважения к мышлению, чтобы им удалось найти алгебраическую формулу нашей эпохи... сегодня хотелось бы, чтобы мне рассказали не только о том, что случилось, но и почему и как случилось, генезис мышления. Мне важно знать не только, что случилось в лагерях, но как могло это случиться, причину трагедии человеческих поступков. И показать это не в плоскостном описании. Искусство возможно до тех пор, пока в нем существуют квадратный корень из плюс или минус единицы...

У нас пишут много о войне. В войне происходят события, которые легко написать. Война — это организованный беспорядок...

В изображении войны главное, что происходит в человеческом мозгу и сердце...

3. На мой вопрос, что мешает нашим писателям сегодня подняться на подлинные художественные высоты, Л.М. ответил: «Легкость, с какой у нас становятся писателями. Вернее сказать: наши слишком часто видят, как легко приходит удача. Бойтесь купленных, посаженные за пазуху, они жалят смертельно». «Когда нас упрекают в ангажированности, они не знают, через что мы прошли. Температуры переплава у нас были таковы, что никакая кожа не выдержит. А мы выдержали...».

9 декабря 1975 г.

8 декабря были на премьере кинофильма «Бегство мистера МакКинли».

Утром 9 декабря разговаривал с Л.М. по телефону:

— Автору трудно смотреть. Я же героя знаю, каким он был в 1922 году, в каких носках он ходил. Тонкости разработки в кинофильме игнорируются. На кой черт он несет топор в перевязанной бантиками коробке? И сняли всю мою полемику с Достоевским. Зато восемь минут заставили плясать манекены, хотя надо было только упомянуть. Высоцкого Швейцер привлек только потому, что он его друг. Говорят, фильм западно-приемлем, будет там смотреться... Но в фильме нет некоторых дорогих мне монологов, а многие урезаны...

Я сказал, что мне очень понравились Бабочкин и Банионис... Главное, фильм философский, а Швейцер М.А. заставляет смотреть его с интересом и неподготовленного зрителя.

Ольга Михайловна сказала Л.М., что ей после просмотра фильма и размышлений о нем становится страшно думать о будущем. Л.М. ответил ей, что ему и самому страшно думать о будущем.

16 января 1976 г.

Вечером я с печалью рассказывал Л.М. о том, что похоронил моего самого близкого друга — В. Маевского — видного журналиста из «Правды». Л.М. вспомнил о Вале, жене В. Маевского, которая написала книгу о нем и которая ушла раньше своего мужа. Трагична судьба Виктора, с которым я дружил с институтских лет, этого столько повидавшего в своей жизни человека, умного и мужественного.

Л.М. сокрушался по поводу необязательности молодых писателей, которые собирались прийти к нему 19 декабря. Татьяна Михайловна даже пирог испекла, а они не пришли и потом не извинились.

Я сказал, что В. Распутин прислал мне письмо, в котором просит передать вам свои извинения. Л.М. сердился: «Почему он пишет вам и извиняется, а не мне? В общем, напишите ему и передайте: я знаю прозу его в отрывках. Он человек очень талантливый. Хотелось бы, чтобы и дальше рос хорошо. Буду рад встретиться... И тем, другим,

скажите, что я не требую почитания, но уважать и меня надо. Помните, у меня один герой говорит: “Ты мне так послужи, чтобы я в тебе человека видел”. Это — высшая формула гуманизма, это — выше, чем у Достоевского»...

— Я говорил Алексееву, что надо собрать в редакции журнала молодых и поговорить с ними. В том числе, чтобы бросили пить. Талант требователен. Пьешь — талант уходит в тень и увядает...

17 февраля 1976 г.

Л.М. звонил из Барвихи, но не сказал, что там в это время отдыхает и Храпченко. Он знает, что я не люблю этого человека за его дела. Такие «интернационалисты», вышедшие из бюрократов, подогревают недоброжелательное отношение к Шолохову да и другим русским писателям. Ум этого человека иезуитски изощрен.

Не помогая избранию Леонова в Академию, он сумел заставить Л. М. поверить, что только благодаря ему тот стал академиком. А ведь известно, что только угроза М. Шолохова выйти из Академии, если не выберут Леонова, сыграла решающую роль. Но Л.М. не верит в это. Так сумел его обойти этот опытный политикан.

Да ведь и меня обошел. Когда его освободили с высокого поста, он околачивался в ИМЛИ и был не у дел. Весьма дружески относился ко мне, приглашая на прогулки. (Познакомился я с ним через профессора С.М. Петрова.) Академик В.В. Виноградов, руководивший отделением литературы и языка, звал меня к себе в заместители по вопросам литературы. По глупости я отказался, не желая заниматься административной работой, и рекомендовал М.Б. Храпченко. Тем самым подписал приговор и себе, и всем достойным русским ученым — Храпченко при поддержке таких же «интернационалистов», как и он, в ЦК (Беляева и других «вершителей судеб»), вскоре выжил академика Виноградова, крупнейшего ученого, затравил Филина, меня близко не подпускал, организовывая провалы на выборах. И скольких же невежд, дутых ученых он провел в отделение из своих политических соображений.

Не знаю, но говорят, что когда сам он выбирался в академики, то один из его помощников «сделал» ему два недостающих голоса. Один из них был в подделанном бюллетене Шолохова, о чем этот человек сам мне рассказал, когда мы с ним были в командировке в Ташкенте.

Но Л.М. свято верит Храпченко. И очень сердится на Ольгу Михайловну, когда она, вспоминая своего учителя академика В. Виноградова, откровенно отрицательно говорит об «этом иезуите», теперь пристроившемся к Академии наук. А ведь Л.М. в своих частых беседах снисходителен к ней и говорит о личном более открыто, чем со мной.

7 марта 1976 г.

Звонок Л.М., попрекает — почему не звоню. Ответил, что читаю рукопись В. Пескова. Л.М. сказал, что это способный и интересный человек. Надо поддержать его рукопись. Я согласился.

Но затем мы оба стали говорить, что работа с фактом не всегда достоинство. Л.М. исходил из того, что в художественной литературе факт может быть даже явлением отрицательным. Сложность сегодняшней жизни требует мысли, мысли, мысли... Факт может ничего не значить... Сегодня надо писать блоками, символами...

25 марта 1976 г.

Приехал В. Распутин и попросил договориться о встрече с Л.М. Во время съезда писателей уже была оговорена встреча с Л.М., но по ряду обстоятельств В. Распутин не смог прийти и чувствовал себя теперь неловко...

Когда мы вошли в квартиру Леонова, нас он не встретил, как обычно. Прошли в кабинет, и я представил В. Распутина.

Старик сурово спросил:

— Вы почему не пришли в прошлый раз?

В. Распутин извинился и объяснил. Л.М. стал говорить о молодых писателях, о том, что наша работа требует усилий духа, вырвался в воздух и крылышками все энергичнее, все быстрее и выше. Сегодня, завтра, месяц, и два... И мозг должен гореть, и душа — трепетать...

— Русскому писателю надеяться не на кого, мы в ответе перед собой и народом... У других, если даже вот такой талантик, лелеют его, раздувают, рекламируют, без конца надувают, как пузырь... А у нас каждый сам по себе, разве только критика вспомнит, чтобы обругать...

Л.М. ополчился против того, что пьют...

Он сказал В. Распутину, что тот талантлив, таких как он, мало в России... Ну, пусть 100 человек на 100 млн. русских...

Сейчас, когда народ в беде, когда некто Сулейменов доказывает, что даже Киев турки строили, а его за это Кунаев в ЦК берет и он уже почетный гость Франции, роль русского писателя возрастает неимоверно.

Больше мысли в литературе, но мысль должна быть художественна... И давать ее надо в таких огненных эссенциях. Все дело еще в ракусировках, в соотношениях... Надо искать...

Он рассказал, что, читая книгу физика Оппенгеймера, восхитился точностью формулировок... мы должны стремиться этого достигнуть...

Если мы описываем убитого, так мы должны знать, что живой человек никогда не сможет имитировать позу убитого. И поэтому надо искать соотношения. У меня есть деталь: лежит мертвый с открытыми глазами. А по его роговице ползет муравей, а глаз не моргает. Считаю

это удачей... Факт мы не воссоздаем в непосредственности, но нам дана возможность взять его в соотношениях, в опосредованиях, в отражениях...

Надо шире брать все и не бояться заглядывать за горизонт... Когда-то Горький меня спросил, кивнув головой то ли вдаль, то ли вверх, почему я все заглядываю туда, а не смотрю больше на землю? Я ответил ему, что если будем смотреть только себе под ноги, то и человек вряд ли будет звучать гордо.

Л.М. спросил В. Распутина, составляет ли он план произведения. Делать это необходимо, по его мнению, чтобы верно определить внутренние соотношения, всегда нужно думать о конструкции вещи. «Не думайте, что, когда пишу, я думаю о конструкции. Но вот как-то Москвин спросил об одном из моих героев, что он делал в 1905 г., т.е. за двадцать лет до описываемых событий, какие носки носил. Конструкция подсказала мне, что об этом писать не надо, но все о моем герое я знал».

В. Распутин ответил, что план он не составляет и что план составляется чаще всего для того, чтобы опровергнуть самого себя.

— И для этого. Но не только. Без плана трудно внутренне прочно построить произведение. Вот я и в «Русском лесе» черчу линию...

Я перебил его: «Чертите, а они начинают раздваиваться». Он засмеялся, уловив иронию.

— Да, так получилось, когда я пытался вначале дать один образ, из которого потом выросли два... Но это подскажет и внутреннее соотношение. Знаете, когда я преподавал в Литературном институте, я заставлял студентов: «Опишите такое-то чувство, уделите две строчки». Надо знать соотношение между описанием и ролью описываемого в произведении. Если описываю нож, играя которым герой порезался, то я не имею права описание растягивать больше, чем на две строки. Если же я описываю нож, которым будет совершено убийство, я имею право описанию ножа уделить даже полстраницы. Я оспариваю чеховское утверждение о ружье. Но если оно у меня не выстрелит, то я должен психологически подготовить и оправдать, что, скажем, я рассказываю, как человек идет на убийство, захватив топор. Пришел, взмахнул, но... не опустил топора. Если не опустил, то намеки на это должны содержаться где-то (сомнение, сможет ли?), а тут я говорю читателю, что, взмахнув, он вдруг увидел себя в прошлом, мальчиком, перед глазами которого встала картина забоя мужиком быка.

Вычеркивание — великий усилитель таланта. Но никто не вычеркивает механически. Вычерк всегда должен носить форму переделки, сгущения, сжимания, чтобы не потерять какого-то оттенка, нюанса, запаха.

Чувство критического отношения к написанному должно всегда быть. Пока писатель испытывает чувство неудовлетворения написанным, до тех пор он не безнадежен: я всегда знаю, что у меня

лучше, что хуже, но знаю и то, что написанное многое не то, что хотелось бы написать... Природа не обделила меня талантом, когда я делаю что-то, я знаю, как это надо сделать, а вот не получилось и с горечью думаешь: «Эх, если бы прикупить таланта хоть копеек на двадцать...»

Знаете, мне всегда везло на хороших людей. Критика меня всегда «разоблачала». Но ко мне очень хорошо относились Станиславский, Немирович-Данченко, Фрунзе, в особенности Остроухов. Это был блестящий художник, богач, женатый на миллионерше Боткиной, хранитель Третьяковки. Он читал все мои первые произведения. Как-то я написал повесть и передал ему. Он прочел и, как всегда, прямо сказал: «Печатать не надо!», но я обещал, и журнал уже отвел место в очередном номере. «Ничего, забудут какой-либо ватой», — сказал Остроухов. «Но приближается лето, надо везти! детей на дачу, нужны деньги».

— Обойдетесь без дачи.

— Но почему нельзя печатать?

— Потому, что повесть ниже вашего таланта.

Я шел от него, плакал, но повесть и до сих пор лежит у меня в шкафу ненапечатанная (из нее потом я сделал пьесу об Унтиловске).

О прямых изображениях. Не всегда они уместны, я например, доказывал мхатовцам, что не надо давать прямое изображение восстания барсуков, для чего потребуется выпустить на сцену 100 человек. А я говорил: «Давайте, я дам его отражение, ну, скажем, вот в этой бутылке». А они: «Нет, давай прямо!» Они настояли.

Удивительно картинно изобразил, как в 30-х годах шел пароход с писателями, по Беломорско-Балтийскому каналу. На столах угощение, играл оркестр, живописный дирижер... Махал руками, повернувшись задом к берегам, по которым стояли вот такие мужики, опустив руки ниже колен, перевоспитавшиеся строители-колонисты. Я спросил Погребинского, кто этот дирижер, он ответил: «А, румынский шпион!».

Столь же ярко рассказал, как с Горьким смотрел концерт большевцев. Они исполняли песню «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Сзади стояли два тенора и заливались: «Наша сила, наша власть!» Горький, разглаживая усы, говорил: «Здорово!» Меня же привлекли тенора. «Кто такие?» Тот же Погребинский ответил: «Фальшивомонетчики!» Знаете, я больше всего не люблю вот таких, которые «артековцы». Иногда детей привлекают.

Это всегда разложение. Такими голосами они произносят приветствие съездам, подносят цветы на торжественных заседаниях... Ведь все это погибшие люди.

— А.И., а вы знаете, что мне сказала баба Ванга? Она сказала: «Сейчас из всех писателей вам самый близкий Горький».

— И я так думаю... Ведь вы спорите с ним каждый день. Скажите, потому, что при жизни его то ли не успели, то ли не смогли поспорить?

— Да, это удивительно. Как будто умершие не ушли, воспринимаешь их, как живых... А будем мы печатать его письмо Марии Игнатьевне? Давайте напечатаем. В нем он весь. А знаете, однажды, сидя рядом с М.И., я допустил ужасную бестактность. Я сказал: «Хотелось бы знать, все это у вас естественное или сделанное?» Она засмеялась и сгладила бестактность. Но потом я убедился, что все было сделанное, что она была ужасно холодным и расчетливым человеком. Горький сердился, когда приехал Уэллс. Они очень спорили. Уэллс говорил дерзкие вещи. А Крючков предупредил меня, чтобы я не проговорился, что М.И. была здесь...

Потом говорили об Островском, о его удивительном языке. В пьесе камердинер докладывает:

— К вам странник.

— Откуда?

— Из неведомых краев.

За такой диалог надо на коленях стоять перед А.Н. Ничего не сказал, а мы уже видим пьяницу, который пришел просить на опохмелку, так и не научившись врать.

Объяснил, как вводил в «Русский лес» речь Вихрова о лесе — «это инородное тело». Потом рассказал, как Паустовский организовал трехдневное обсуждение «Русского леса» с лесниками с целью разгрома, но его не поддержали лесники.

Как всегда, афоризмы: «Чем больше талант, тем больший аппетит к работе он возбуждает».

Поговорили о «Бане».

— Отбивать, отбивать, отбивать лигатуру. Вон у меня в том ящике лежат варианты романа, который пишу. Там нет главы, не переписанной восемь, девять раз. Вы знаете, как создается произведение: посредством непрерывной обкатки, как море обкатывает голыши, придав им гладкость. Каков принцип создания пословицы? Непрерывная прокатка: один придумал, другой уточнил, третий сохранил, четвертый углубил, пятый заострил. Правильно сказал Ренар о гении, что это вол, который непрерывно пашет. Борозду надо пахать глубоко, золото не лежит на поверхности, иногда на километр вглубь надо пахать.

— Как-то Леонидов кончил играть Митеньку Карамазова, сидит в уборной, отдышаться не может, пьет пиво. Ему говорят: «К вам какая-то старушка!» — «К черту». — «Просится на минуту». — «Да кто такая?» Тут и она. Ручки сложила в молитвенном жесте у подбородка и говорит: «Как бы обрадовался Феденька, если бы увидел вашего Митеньку». Это была А. Г. Достоевская. К такой игре и мы должны стремиться.

6 мая 1976 г.

Опять разговор о молодых писателях.

— Когда мы пришли в литературу, мы многое видели, и этим мы могли бы удивить старшее поколение писателей... Мы много их читали... Кроме того, у нас была дерзкость, мы производили дебош. Это и плохо, и хорошо. Нынешние начинают поздно, мало знают. Они думают, что понимают Достоевского. Они ничего не понимают: ни оркестровок, ни его субтитров. В литературу теперь дорога стала легкой. Единственное, чего мне хочется, так это затруднить им процесс вступления в литературу. Это и единственная обязанность критика. В искусстве нужны сгустки, синтезы, эссенции, а не легкость. И это не достигается ничем, кроме труда. Как мы работали! У нас был запал и была одержимость. Когда я писал «Барсуков», я работал до галлюцинаций... И это не только наше поколение так. Андрей Рублев готовился к работе над очередным произведением, как к своему подвигу. За два месяца прекращал есть скромное, не прикасался к женщине. А нынче и водку пьют. Прививку им от водки сделать, что ли? Или напугать? Но выдержат ли?

10 июня 1976 г.

Разговор о романе, который он сейчас пишет.

— Нет, печатать его я не буду. Сейчас серьезная литература не нужна. Сейчас торжествуют чаковско-марковские кредитки, вроде керенок. А у меня все, что делает Дымков, — это дорога туда, к штурму главной цитадели. Писать ужасно трудно. Вы же знаете, что, когда человек пишет — это куски из себя.

О Горьком.

— Думаю, что Горький еще не раскрыт, он, конечно, был гениальным.

19 июня 1976 г.

В связи с новым романом Ю. Бондарева.

Заговорили о том, как должно изображать войну. Я похвалил изображение поверженного Берлина. Л.М. сказал:

— Сейчас вопрос идет не о фактах, а об обобщениях. Не описание событий нужно, а мыслительный экстракт. Война — это беспорядок. Там все беспорядок, а его всегда легко изображать и всегда легко произвести впечатление на читателя. В романе война должна занимать как можно меньше места, лучше ее показывать со стороны. Войну надо показывать как, Стендаль, со стороны, — два, три эпизода.

20 июля 1976 г.

Л.М. снова в больнице. Во время болезни Татьяны Михайловны к нему пришел какой-то посетитель. Произошел взволновавший его

разговор. Ночь без сна. Утром Л.М. сказал, что ему трудно говорить. Татьяна Михайловна попросила его прочесть стихотворение Пушкина. Он прочел и успокоился. Но днем почувствовал боль в животе. «Скорая» увезла его в Кунцево. Читает детективные романы, ругает их за бездарность. Просил достать ему «кусочки» из мемуаров Достоевского, не пропущенных цензурой. Надо попросить у Макашина.

10 сентября 1976 г.

Звонит Л.М. и всегда спрашивает:

— Что новенького в литературе?

Сегодня он говорил о том, что наши писатели все констатируют, не заглядывая вперед, а если заглядывают, то это сразу приводит в трепет Шауро и Беляева.

А по-моему — так много вариантов будущего, что бояться не надо. Пусть пишут так, как видят, и то, что видят. Пускай все говорит своим голосом. Мы идем первыми по морю, много рифов. Надо смело посылать разведку и доверять ей. И в нашем деле разведку надо выпускать на двести лет вперед. Умный так и поступает. Вон как далеко видел Уэллс. Видение будущего и мышление.

24 сентября 1976 г.

Звонок по телефону:

— Очень хорошие, по-моему, стихи сегодня читала по радио Белла Ахмадулина. И очень хороши последние стихи Твардовского. Мне жаль, что он занимался другими делами... И они его закрутили. В последние годы он не раз говорил мне: «Я попал в капкан».

Потом стал жаловаться, что в журналах нечего читать.

Надо, чтобы в журналах был блеск, спор, дискуссия, а не публикации... Только потому, что написано.

9 октября 1976 г.

Сегодня мы работали с 7 до 12 вечера. Читали и обсуждали письма Горького. Это было интересно, ибо Л.М. предстояло высказаться по поводу трудных моментов в жизни Горького.

Мы начали с писем Горького М.Ф. Андреевой и Е.П. Пешковой, относящихся к 1909—1910 годам. Татьяна Михайловна слушала и уличала меня в том, что я все время говорю «в пользу Алексея Максимовича».

Л.М. сказал, что он считает эти письма очень искренними. А.М., находит он, выходил с блеском из очень сложной ситуации.

— Я вижу тут некоторые его хитрые ходы, но в целом эти письма делают ему честь и сразу приближают к нам как человека.

Читали письмо Горького М.И. Будберг.

Т.М.: Но почему он обращается к ней на вы?

Л.М.: Когда мы были в Сорренто, она всегда вела себя за столом, как хозяйка, он же обращался к ней на вы.

Потом сказал по существу вопроса:

— Есть некоторые сомнения в связи с письмами к Будберг. Надо ли их печатать? У Горького определенная репутация. И вдруг все меняется. Нет, не к худшему меняется. Ведь он даже на памятнике в пальто. И — вдруг совершенно человечный. А.И., вы, конечно, напишите настоящую книгу о Горьком? Вы знаете его жизнь по минутам... Так вот, почему бы вам не начать с книги «Горький и женщины»? Какая это интересная тема!

Потом вернулся к обсуждаемому вопросу:

— Но если мы напечатаем в Полном собрании сочинений письма к Будберг, то тут должен быть хороший комментарий, обширнейший, и — недвусмысленный, хотя...

Вышел к телефону. Вернувшись, сказал:

- Но не возникнет ли вопрос: почему столь интимные письма вы печатаете, а политически спорные — не печатаете?

Обратившись к серии писем, затрагивающих вопросы сионизма, я прочел письмо Гордону. Л.М. спросил:

— Неужели он искренне так думал?

Потом прочли письмо 1922 года, дополняющее интервью Горького Шолом-Ашу. Л.М. сказал:

- Опасное письмо. Опасно тем, что оно услужающее. Надо учитывать, что письмо уже опубликовано, тем более надо публиковать. А вообще-то письма надо публиковать небольшими тиражами. Зачем посвящать всех в интимности классиков? А я говорил вам о том, что встречался с Шолом-Ашем? Вел он себя нагло. Покупая что-то, презрительно отбросил икону, ризу.

Почитали отрывок о Троцком из письма Горького Роллану. По поводу слов: «Я ...уверен в его способности сделать много неожиданно крупного, если ему не помешает избыток страстности», Л.М. сказал: «Помешал!».

Вы знаете, что Сталин серел от того, что Троцкий, приходя на Политбюро, забрасывал ногу на ногу, разворачивал газету и читал так, словно никого вокруг нет? Знаете, я бы за это съездил ему по морде.

Я привел три отрывка из писем Горького Г. Уэллсу, З. Пешкову и др., в которых Горький выражает беспокойство в связи с подъемом Азии и Африки.

— Не может быть... — воскликнул Л.М., — откуда это у него? Хотя знаете, что-то в его эмоциях есть и серьезное. Сейчас это главный вопрос. Мы их упорно выводим в люди, а у них ни крупных писателей, ни композиторов, ни художников что-то не видно...

На мое возражение (я назвал конкретные имена) он сказал, что крупными их делают не только критика, но и воздействие русской литературы, а не их национальные истоки.

Прочли письмо М.Ф. Андреевой — по поводу НЭПа. Л.М. долго смеялся. Потом сказал: «Мне говорили, что мой “Вор” лежал на столе у Сталина весь исчерканный. Может быть, он сыграл роль в прекращении Сталиным НЭПа. Ведь вождь жизнь знал больше по литературе».

И возвращаясь к письму:

— Не печатать. Если не печатать, то все сомнительные не печатать.

— Откроем простор субъективному, — сказал я.

Прочел еще два письма Горького о «мужике» (Вольнову и Пешкову). Л.М. послушал... Вышел... Походил по квартире. Вернулся:

— А.И., а если взять и напечатать все письма. Пусть они сами корректируют друг друга, а?

— Есть медный памятник Горькому... И есть пословица: «О мертвых хорошо или ничего», но есть и другая пословица: «О мертвых либо ничего, либо *veritas* — истину».

Может быть, показать, какое безумно сложное время было и какие безумно трудные противоречия испытывали даже самые верные люди.

Придется просить аудиенции у М.А. Суслова. Мы скажем, что исторически полвека спустя такие документы публикуются — мы считаем, что «о мертвых либо ничего, либо истину». Таково мое мнение, но материал очень горячий, он еще не остыл. Нам нужна санкция.

Я привел отрывок из письма Горького с негативной характеристикой Р. Тагора.

Л.М. сказал:

— Опубликуем — Индира Ганди обидится.

Я привел отрывок из письма А.Н. Тихонову с утверждением, что болгары — жестокий народ.

— Опубликуем — Тодор Живков будет протестовать!

Об отрывке из письма Горького к Е.П. Пешковой о Максиме и его жене: «Жена его из тех женщин, которые не могут толкнуть человека куда-нибудь, кроме постели...».

Л.М. засмеялся, потом сказал:

— И тут обидятся. А между нами говоря, Надежда Алексеевна мещанистая была.

На мое возражение сказал:

— Да ведь Горький — университет. Если бы возле него полено посидело бы, и то превратилось бы в красное дерево.

Татьяна Михайловна пошла готовить чай, Л.М. рассуждал:

— А вы знаете, сегодня Горький предстал передо мной в своей человечности. И как-то я особенно почувствовал, как его всем нам недостает. Ничего мне от него не надо, кроме того, что пойти бы к нему, показать рукопись, помолчать, посидеть, послушать, как он барабанит рукой по столу... Мне недостает его сегодня... Я уже говорил

вам, что ему обязан тем, что меня миновал 1937-й год. Рассказывал? Все это не так-то просто. Вот как возникло мое «Слово о первом депутате». Оно возникло потому, что Сталин три раза спасал меня. А началось с того, что за обедом у Горького я сказал Сталину: «Товарищ Сталин, если надо кричать на нас и топтать ногами, то делайте это сами, а не поручайте злым и нечестным людям». Сталин долго рассматривал меня своими янтарными глазами, разглаживая правой рукой усы. Потом поднял бокал с вином: «Выпьем за товарища Леонова». С тех пор Сталин не выпускал меня из виду. Как-то ко мне прискакал Крючков, сказав, что Горький хочет прочесть роман «Скутаревский». — «Но он у меня еще в рукописи». — «Ничего, давай». Может быть, в это время кто-то начал капать на меня, превратно истолковав фразу Арсения: «У меня отец профессор, а у тебя...»

В этот же год, но уже после того, как я напечатал роман «Скутаревский», мне позвонил Гронский: «Слушай, приехали грузины, привезли вино. Зайди, посидим, отдохнем...» Пошел. У него прямо на полу лежат бурдюки с вином. За столом люди. На почетном месте Радек. Это был гнусный, мерзкий человек. Как-то он рассказал, как они в Германии одевались под американцев, садились в грузовики и давили ими немецких рабочих. Зачем? Чтобы вызвать ненависть! Так вот, чтобы не подавать ему руки, я раскланялся со всеми и сел на самом невидном месте.

Ходили слухи, что Радек готовит разгромную статью о «Скутаревском». Вдруг открывается дверь, и входит Александр Николаевич Поскребышев. Ни с кем не здороваясь, садится за стол, смотрит в стакан. И вдруг спрашивает:

- Радек, роман «Скутаревский» читал?
- Да, у меня есть критические замечания.
- Ничего ты в нем не понял. Отличный роман.

Гронский предложил за меня тост.

Я считаю, что это был первый раз, когда меня спас Сталин.

Второй случай произошел после смерти Горького. У меня вдруг одновременно ставились две пьесы, совпали премьеры. Это бывает редко. Случай такой был с О. Уайльдом. И вот у меня — «Половчанские сады» и «Волк».

Появляется разгромная статья В. Катаева. В тот год, как известно, за таким доносительским выступлением можно было ждать только арест. Мы с Татьяной Михайловной решили, что все кончено.

Но через день в другой газете появился разворот о Л. Леонове, заканчивавшийся поздравлением с приближающимся сорокалетием. Считаю, что и на этот раз спас меня Сталин.

И в третий раз он вмешался в мою судьбу, когда я написал «Метель». Молотов вынес постановление, что это вредная и контрреволюционная пьеса. Говорят, что потом это постановление

было уничтожено. Я тогда написал Сталину, чтобы взыскивали с меня, а не с актеров. Сталин спросил: «Это Молотов?».

В годы войны я написал «Нашествие». Послал в Комитет искусств. Жду. Некто уговорил меня почитать пьесу в ВТО. Как ее громили Александр Лейтес и еще два критика! Я растерялся. Как-то сижу дома. Голодно. Денег нет. Семья в эвакуации. Я только недавно вернулся из Чистополя. В ЦДЛ нам выдавали немного продуктов и бутылку водки. Зашел товарищ. На столе у нас 2 кусочка хлеба, луковица и неполная бутылка водки. Вдруг звонок. Поскребышеву «Как живете?» — «Живу». — «Пьесу написали?» — «Написал. Отправил. Не знаю, читали ли?» — «Читали, читали. Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Тот включился без перерыва и сказал: «Здравствуйте, товарищ Леонов. Хорошую пьесу написали. Хорошую. Собираетесь ставить ее на театре?» Ну и, после всего этого, вы понимаете, что когда Поликарпов предложил мне написать «Слово о первом депутате», я не мог не согласиться. А ведь как со мной говорили другие? Как-то я сказал одному из руководящих: «Я же хороший станок... зачем же бить молотком?».

Вернулись к обсуждению писем Горького. Я прочел ему письмо Горького Берии.

— Боже мой... Боже мой.

Прочел письма Горького к Ягоде.

— Знаете, — сказал Л.М., — когда-то эти письма будут напечатаны. Уничтожить их нельзя.

— А мы ничего не уничтожаем. Не напечатать — еще не значит уничтожить.

— На любое наше решение надо просить санкцию.

— Л.М. да ведь это только люди незнающие думают, что редколлегии что-то по своей воле не включили, забыли. Я работал в первом послевоенном издании Горького. Теперь некоторые «умники» критикуют его за то, что где-то купюры сделаны. Обман читателя, так как эти люди хорошо знают, что от редколлегии тогда эти купюры не зависели.

Прочли письмо Л. Мехлису (январь 1936). Л.М.:

— Почему он с этими вопросами обращался к Мехлису? У меня против публикации нет возражений. Но нужен обстоятельный комментарий с объяснением, почему Горький испытывает некоторую растерянность.

Татьяна Михайловна: «Перед смертью Горький был сердит и несправедлив». И ушла, так как Л.М. не дал ей говорить. Л.М. сказал: «Не может простить ему фразы, донесенной до нас Буниным.

В 1914-15 годах Горький сказал европейцам: «Вы представляете, что могут сделать с Европой и ее культурой миллионы вооруженных русских мужиков?»

Возвращаясь к письмам Горького, Л.М. высказал свое мнение, как главный редактор издания:

— Наша позиция должна быть такой. Мы склоняемся к печатанью всего. Вместе с тем, вы должны написать письмо М.А. Суслову, примерно такого содержания: «По общепринятым правилам, в полных академических собраниях сочинений не принято публиковать материалы классиков с изъятиями, купюрами и т.п. Приступая к подготовке для издания серии "Письма Горького", главный редактор находится в затруднении относительно ряда писем, опубликование которых хотя и расширило бы, но изменило бы у читателя установившееся представление о Горьком. Многие из этих писем написаны по разным поводам — от интимных до политических — и известны за границей. Невключение их в собрание сочинений позволит упрекать нас в цензурной отфилтровке материала, таковой при выпуске академических изданий не подлежащего».

Когда я познакомил Л.М. с мнением Р. Роллана о письмах Горького и порядке их публикации, он сказал:

— Это надо обязательно привести в предисловии.

Чувствуя, что Л.М. устал, я прекратил чтение писем. Сидя за столом один напротив другого, мы погрузились в личный разговор:

— Как вы думаете, чем все-таки привлекало его мое творчество и мой талант?

Я ответил, что творчество привлекало многим. Достав записную книжку, я привел пометки Горького на романе «Барсуки». Он воскликнул: «А, они корреспондировали его тогдашним взглядам на Россию, на мужика, на будущее». Я сказал: «Вот и ответ на вопрос. На первую часть его. А вторая часть — Горького не могло не привлекать то, что вы не просто описываете действительность, вы ее психологически анализируете. Для вас важен не факт, а его отражение в психологии. Это — высшее искусство, когда "выдумки" реальнее действительности, глубже, содержательнее и реальнее. Это труднее всего давалось Горькому». Л.М. ответил:

— Видимо, ему нравились многие мои находки. Помните, герой бежит по лестнице вверх, на башню, а она уходит в землю, и он не поднимается вверх...

Помню, возвращались мы на машине в Сорренто. Макс за рулем. Я и Алексей Максимович на заднем сиденье. Я говорю, что мы мало задумываемся над всем, что происходит. Вот, например, на четырех колесах радиатор, сиденья с подушками. Поршень носится туда-сюда в цилиндре, бензин сгорает, машина стреляет выхлопными газами, колеса крутятся, рессоры скрипят, мы покачиваемся взад-вперед. А все это вместе называется: «Мы едем спать». Он удивленно посмотрел на меня, потом сказал: «Какой вы анафемски талантливый». Я всегда поражался красочности его языка, роскоши эпитетов. Но не понимал неумеренности их употребления. Если кинжалом режут, то надо ли

писать, что кинжал был из дамасской стали, куплен там-то? Он превосходно описывал, но ведь главное в искусстве — наши психологические глубины. (Он нарисовал на салфетке грудную клетку.) Вот наш главный объект — наши глубины. А ведь это великая пустыня, т.е. мы о ней почти ничего не знаем.

И, перевернув салфетку, начал рисовать, приговаривая: «Вот — лес, а вот — река, а вот — отражение в реке леса. Толстой любил изображать лес, а Достоевский — отражение его в воде. Отражение леса может быть более глубоким, чем он есть на самом деле, так и в психике отражение мира бесконечно ценнее, чем сам мир. Каков мир, я могу узнать и из газет, из афишки Ростопчина, из исторических монографий, а вот как все это отражалось в человеке, обогащало или обедняло его — это можно узнать только из литературы. Вот почему в историческом состязании Достоевский сегодня обгоняет Толстого. Беда его в том, что он не имел времени на обработку своих произведений. Если бы чуть поджать Грушеньку, кое-где лаконичнее дать описание Алеши...

Вернулся снова к Горькому:

- Было в нем что-то от Лоренцо Великолепного. И было ему тоскливо смотреть на нас. Он сидит за столом, трогает таким аристократическим жестом ус, сбивает пепел, ударяя указательным пальцем по мундштуку и смотрит на нас. Вон — Никифоров. Почти рядышком Гладков, Бахметьев. В самом углу, прячась от света, сидит Леонов. Это — писатели, достойные его?

А что касается его увлечения еврейской темой, то, знаете, мне тоже долго хотелось написать рассказ о еврее-талмудисте. Очень хотелось. Когда-то меня поразила выдумка из Талмуда, что Бог творил мир только до четырех часов дня. А после четырех он отдыхал, играя с Левиафаном. Какова выдумка, а? Да, сегодня для меня Горький стал человечнее. И до сих пор он нужен: сходить бы к нему, повидать, показать рукопись.

Конец июля 1977 г.

Жаркий летний день. У Дома Советов народ, несколько сот человек — идут прощаться с Константином Фединым. Прощание — официальное. Бегают Юрий Верченко, крутится Ким Селихов — они отвечают за организацию траурного мероприятия. Бочком, соблюдая всю свою степенность, продвигается от одного начальника к другому Леонид Новиченко, то и дело оглядываясь назад, приглушенным голосом беседует Георгий Марков с Василием Филимоновичем Шауро. Вдруг замолкают, лица их вытягиваются. Никому не говоря ни слова, срываются с места и трусцой бегут к лестнице. Через минуту вводят, идя сбоку, на почтительном расстоянии, Кириленко, Мазурова, Пельше, Кулакова, Гришина. Кириленко невысокий, курносый, пузатый,

напоминает Козьму Пруткова. Он идет впереди, и все почтительно его сопровождают, как на выставке. Минуту стоят в почетном карауле и покидают Дом Советов.

И... на несколько минут пришел Леонид Леонов. Подтянутый. Сосредоточенный. Молчаливый, ни с кем не разговаривая, встал в караул, ушел незаметно.

Кто-то говорит:

— Не любил ЦДЛ покойник, и ЦДЛ его тоже не принял. Даже прощанье происходит не в писательском доме.

После похорон пошли в ЦДЛ. Чивилихин, Годенко, Козьмин и я сели за стол, чтобы помянуть К. Федина, но прибежали «от Маркова», чтобы мы прошли в дубовый зал, где стояли поминальные столы, но мы уже «завелись» — надо было раньше звать... «Вы все на больших людей, а не на писателей рассчитываете, чиновники при литературе», — шумел Чивилихин. Не пошли.

Он же в этот раз сообщил мне фразу Горького Леонову, которую тот скрывает: «Вы, Леонид Максимович, на редкость талантливый человек, Вы — талантливее меня. Я — средний литератор, а Вы - великий русский писатель».

Думаю, что это можно было сказать только в припадке поощрения. Горький очень хотел, чтобы в России великая литература не иссякала и помогал расти новому поколению великих писателей. В его представлении величие литературы отражало общий уровень страны.

2 июля 1977 г.

Был в Переделкине у Л.М. Пришел в 10 часов, когда он только что сел завтракать. Наливая себе молока, спросил: «Будете?» Сколько раз я бывал в доме Леоновых, ни разу не было случая, чтобы меня не накормили и не напоили чаем. Традиция русского гостеприимства здесь свято соблюдается всеми членами семьи. Угощали меня и Татьяна Михайловна, и Наталья Леонидовна, и даже малышка — внучка Настя.

Л.М. сообщил, что вчера был день рождения Татьяны Михайловны. Но сегодня настроение у него было ворчливое. Снова доказывал, что Россия не умеет ценить свои таланты. «Но у меня одна только Родина, один дом — вот тут. Другого ничего не будет!» Сокрушался, что никому нет дела до литературы и до русских людей, что русские, внесшие в мировую литературу и культуру часто не меньше, а больше других, стали не русскими, а советскими. Не могут назвать себя русскими, чтобы их не обвинили в кичливости, в великодержавном шовинизме. А если что-то кто-то из народностей, населяющих Советский Союз, сделает плохо, его не назовут ни советским, ни узбеком, ни татаринном, а только русским. Так принято за границей

— Еще 15 лет тому назад я сказал Демичеву по телефону: «Поймите, Сибирь могут защищать только Ермаки... десять тысяч Ермаков».

О литературе: «Каждое ненаписанное произведение лежит мертвой плитой, придавит всей своей тяжестью тех, кто не думает о литературе, не способствует ее развитию».

15 сентября 1977 г.

Сегодня позвонил Леонид Максимович:

— Вы смотрели телеспектакль «Заседание парткома»? Знаете, все друг друга чуть не матом кроют. Но что меня поразило еще больше, так это то, что они яростно ненавидят друг друга. В чем дело? Советские люди такими стали? Или — это надо для кого-то за границей? Такими спектаклями мы не выиграем битвы. И — художественный уровень... Только первым сортом мы сможем туда пробиться. Сперва — мозги, потом — ноги.

И нужны совсем другие масштабы. Мы слишком привыкли к своему значению. Как же, существуем 100 тысяч лет! И никогда не думаем о том, что после нас будет еще множество формаций. За нами долгое время, неизмеримое... Сейчас есть потребность в этой точке обитания, и мы находимся в этой точке. Не верю в существование жизни во Вселенной, кроме нашей.

Мы должны шире мыслить, соразмерять сегодняшний день с тем, который придет через миллионы лет. Я давно думал об этом и говорил Горькому, размышляя об эффекте Доплера.

Я рассказал ему о своей беседе с американским профессором Джексоном, который считает Чехова одним из самых умных писателей в русской литературе.

— Нет, я с этим не согласен. Тут другое. У него было поразительно точное видение сущности любого предмета. Знаете, в чем гениальность Ленина? Как-то один из моих сослуживцев по Гражданской войне рассказывал содержание своей беседы с Лениным. Как ему казалось, Ленин все время уводил разговор к самым простым, обыкновенным вопросам. Иначе говоря, Ленин смотрел в корень всего, в самую главную точку. Вот и Чехов обладал этим качеством.

22 октября 1977 г.

Позвонил Л.М. и поздравил его с Государственной премией за «Бегство мистера Мак-Кинли».

— Спасибо. Приятно, конечно, хотя я и не люблю этого фильма. Подсунули Высоцкого, а я не люблю спать в кровати с другими. Ложишься один, просыпаешься: рядом лежит неизвестный брюнет.

— А что нового в литературе?

Сказал:

— Это произведения местного значения. А нужны вещи крупного обобщительного плана. Бурлюк как-то телеграфировал в Ростов брату: «Приезжай, можно прославиться». К сожалению, ныне стало очень много желающих прославиться.

13 ноября 1977 г.

Позвонил Л.М.

— Вы что — обижены на меня?

— Почему вы решили?

— Не звоните, не даете о себе знать.

— Боюсь оторвать вас от работы.

— Какая работа? Какое-то слякотное состояние души. Вчера ходил в Ленинку смотреть странички «Братьев Карамазовых». Поразительно. Я сказал, что литературоведы этого не поймут. Это какая-то болезнь. Документ о физиологическом состоянии. Пена, щепки, поражающее напряжение, отчаяние, ненависть к самому себе. И от всего этого потом отцедится несколько крупиц чистого золота. И никто не поймет, что стоило их получить. Говорил я на эту тему вечером в музее. А сегодня, как всегда, после таких выступлений у меня на душе муторно.

— Знаете, недавно в работе одного литературоведа я прочел, что Достоевский всю жизнь жаловался, что лишен возможности писать без спешки. Между тем эта спешка была частью его общего лихорадочного стиля.

— Я с этим не согласен. Достоевский утверждал, что если бы ему платили, как Тургеневу, то он смог бы создать произведения, которые бы читались и через 50 лет. Когда я читаю в «Бесах» некоторые главы, я встречаю там провалы, пустоты, черные дыры. Будь у него время, он бы их устранил.

— А может быть, эти черные дыры говорят нам больше, чем если бы они были заполнены?..

— Нет, это не те дыры. Конечно, черный фон у Рембрандта не означает пустот. Он — часть композиции. Но вот у женских характеров Достоевского немало лишнего. Многословие. Какая-то сырость... Есть вещи, которые не говорят. Лучше восполнять действие молчанием.

- Меня поражают дневники Достоевского, его записные книжки. В них характеры героев определены с предельной точностью.

- Да, похоже, что, садясь за работу, он уже знал все о своих героях. Простите, что воспользуюсь собственным опытом: я тоже веду точную картотеку на каждого персонажа, чтобы соблюдать магические пароли характера. Вообще же произведения Достоевского — знаете, надо взять лист бумаги в человеческий рост и пустить электрическую иглу-самописец. Она прочертит линию снизу вверх, сверху вниз. И раз, и пять, и десять. Вдоль, поперек, наискось. Бродит в разных

направлениях, пишет. Отсюда — многовалентность характеров и то, что каждый читатель воспринимает по-своему. Ведь читатель улавливает одну или две линии и по ним судит об изображенном.

Заговорили о современной литературе, о том, что писатели нуждаются во внимании, в одобрительном слове.

— Что это Брежнев и Союз писателей так возятся с Арагоном? Уж столько он причинил нам неприятностей... своих бы надо так поддерживать.

Я сказал, что свои и без того избалованы вниманием.

— Талант одобрением не испортишь. Ведь настоящий талант — это страшное явление. Как чудовищный аппарат, человек работает три, четыре, пять лет, извергая из себя энергию. Тратит безумно, Дорабатываясь до полного изнеможения и с ощущением неудовлетворенности, твердя себе утром: «Г-но!», днем — «Г-но!», вечером — «Г-но!». Вот тут-то и нужно ему ободрение, как непременно нужны актеру аплодисменты. Чтобы восполнить недостаток исчерпанной энергии. Чем ее восполнить? У Достоевского не было денег, чтобы он мог позволить себе подарок, вдохнуть полной грудью. Знаете, я никогда не спекулировал отношениями ко мне Горького, но я был счастлив, что был Горький. Придешь к нему, а он вдруг скажет доброе слово, как сто рублей подарит.

— Но ведь если вам сегодня Г. Марков скажет доброе слово, вы же не воспримете его как подарок?

— Конечно, у Горького был авторитет, укрепленный и тем, что он общался с Толстым, Чеховым и другими великими. А вдруг я за словами Маркова увижу, что меня ценят те, кто подсказал ему слова, с которыми он придет ко мне?

— Л.М., вы вспоминаете Сталина, который не раз поддерживал вас, читал ваши произведения. Как бы его ни охаивали (хотя и есть за что), он был неординарным и неоднозначным человеком. Но неужто писатели нуждаются в одобрении и поддержке тех, кто ныне «управляет» литературой в ЦК и наверху пребывает?

— Эх, А.И., дело не в них, а в государственной политике по отношению к культуре. И вы это прекрасно понимаете.

— Позавчера у меня был Годенко. Говорил о том, о сем. И спросил: «А вдруг главное не в том, о чем мы пишем. Вдруг оно на самом дне души, в самой глубине ума человека?» Я засмеялся наивности вопроса.

— Превращение литературы в прессу — вот что страшно. Скоротечное не остается. Есть пальмовые орехи — они два года зреют. А есть капуста, огурцы — куда как быстро зреют. Нам надо рассчитывать на долгозреющее. Надо запас, впрок закладывать.

— Знаете, все-таки писатели наши не очень стремятся развивать свои таланты. Кажется, Дега сказал: «Если у тебя талант на миллионы франков, то прикупи к нему еще на пять су!»

— Верно. Но талант ничем неизмерим. Талант — это одержимость, болезнь, излучение. Маниакальное тяжелое заболевание. Это — несчастье. Талантливый человек всегда думает: «Нет, это не то, не так, я — г-но!» И только эпоха может подсказать автору, что он не г-но. Повторяю, страницы рукописи Достоевского — это прежде всего стенограмма физического, физиологического состояния таланта. Талант к себе беспощаден, но другие должны быть к нему внимательно. И, конечно же, талант не может делать искусственные бриллианты. Вообще надо перестать делать искусственные бриллианты в литературе. А их вон как много: повесил искусственный алмаз на пузо и — к народу. Критика часто потворствует этому, создает рекламу фальшивкам, возводит в великие рядовых писателей, выделяющихся только своим умением услужить, иногда притворщиков, которые не приемлют весь строй нашего общества, а изображают себя его сторонниками.

— Л.М., понимаю, что вам досталось от критики и от ваших современников — писателей. Сейчас будто изменилась ситуация и многие критики воздают вам должное. Хотя мне кажется, что и сейчас есть попытки отодвинуть не только вас, но и других настоящих русских писателей и заменить их эрзацем. Будто те, кого поднимают, пишут на русском языке, но где душа в подобных произведениях, радость и боль за свою страну? Без этого не может быть русской литературы, это — подделки.

— А.И., а где же критика, способная научить отличать подлинное от поддельного? Вот вы же почти не пишете обо мне. А все о Горьком.

— Л.М., я пишу не только о Горьком, буду писать о вас обязательно. Но еще не готов. Я на подступах. Хочется написать особую книгу. Не зря же я столько лет общаюсь с вами. Это ответственно.

— Ну, ладно. А что нового в Собрании сочинений Горького?

— На днях выйдет шестой том вариантов. Есть несколько интересных записей. Одна о «Самгине».

— Вы думали о генезисе этого романа? У Горького остался от работы колоссальный материал. Хозяйственное чувство подсказывало писателю: как бы не пропал. И вот он взял все это и спаял. Велосипедная цепь, кастрюля, детали от радиоприемника. Конечно, можно что угодно с чем угодно спаять, но... сложно. У меня все-таки остается ощущение, что не из одной мраморной глыбы, а из осколков мрамора он пытался сделать скульптуру. А ведь даже глыба не каждая годится: то ноздреватая, то не с теми прожилками. Магической ракушировки, чем поражает Сикстинская капелла, тоже нет. Хотя в отдельных частях превосходно. Меня всегда поражало богатство красок, сочность и точность определений у Горького, великолепная портретность и рельефность ее. Все-таки у Достоевского и Толстого нередко портреты самого себя. У Горького этого нет. Но у него только двухмерное изображение. Он, может быть, потому и не любил

Достоевского, что недооценивал его многомерности. У Достоевского в движении не только фигуры первого плана, у него движется все, что находится и на втором, и на третьем плане. Не исключено, что доброе отношение Горького ко мне объясняется тем, что мне кое-что в этом отношении удавалось. У Горького второй план недвижим. История покажет, удалось ли мне что-либо... Конечно, Горький часто был связан материалом, наблюдениями. У него, например, в пьесе «Сомов» поют песню 1911—12-х годов, как она запомнилась ему. У Достоевского же Верховенский — отнюдь не Нечаев. Верховенский овеян магической тоской о чем-то.

Да, а вот об алмазах... Вы правы, может, с настоящим алмазом ходить...

И рассказал, как недавно в Абрамцеве бандиты зарезали жену скульптора Куприянова.

— Приехал на дачу, а жены нет. Может быть, у соседей? Пошел — нет. Искал, нашел за оградой дачи. 17 ножевых ран. Серьги вырваны из ушей, кольцо снимая, подрезали пальцы. Страшно.

26 ноября 1977г.

Ровно в 5 часов с югославским профессором и известным переводчиком русской литературы Милосавом Бабовичем мы пришли к Леонову. Он дружески приветствовал сухощавого вообще, а теперь еще более похудевшего черногорца.

— Что с вами? Болееете?

— Нет. Много работы. Да так и лучше — легче. Не надо носить лишнего груза.

— А народ понимает, что мир идет к необычайно сложным событиям? Они разразятся, может быть, уже в 80-х годах. Вы общаетесь с людьми разных стран, с писателями. Скажите, писатели об этом думают? Есть глубоко думающие писатели?

— Мне кажется, нет.

— А Достоевского за рубежами нашей страны понимают? Понимают они, что Достоевский показал, как и чем человечество жило две тысячи лет и чем оно дальше жить не может? Необходим переход к другому. Мы идем, может, не тем путем, но его должно и все человечество тоже выбрать. Ибо по-старому жить оно не может.

— Нет, такого понимания нет. Часто для людей Достоевский только мастер необычного детектива.

— Вот если бы они поняли Достоевского, они бы и к нам относились по-другому, видели бы у нас не одни только недостатки и просчеты. Знаете, в небольшой статье для румынского журнала «XX век» я сказал, что в историческом состязании Достоевский обогнал Толстого. Из писателей прошлого только Достоевского читать не скучно. Вернее сказать, трудно читать «Вертера», Бальзака, Диккенса, потому что

ощущаешь, как далеко мы ушли от них и какие высокие требования сегодня предъявляются к искусству. Речь идет об очень большом повышении емкости в современной прозе. Мы переходим на иероглиф повествования: жест — и все готово. Высыпите спички — вон сколько их. Но их плотно уложить — всего один коробок. Вот так и слова ныне требуется укладывать, без единой пустоты. Aege perennius — как я люблю этот язык! — так вот написанное должно напоминать вырезанное на меди. Ныне все любят, чтобы было попроще, полапидарнее. Мне же кажется, что литература от этого страдает. Плевелы, сорняки — от них надо спасать литературу. Знаете, рожь беззащитна перед сорняком, пшеница сама не защищается. Как-то меня спросили, почему Вихров менее активен, чем Грацианский. Почему? Потому что Геккерены, Грацианские всегда сильнее, ибо Вихров никогда не пойдет на то, на что пойдет Грацианский. Нельзя поощрять плевелы. Историю судят не только за то, что было сделано, но и за то, что могло быть сделано, но не было сделано. Никогда еще время не требовало от человека такой напряженности мышления, как сегодня. Есть какие-то признаки, интуитивное ощущение чего-то надвигающегося, грозного. Не знаю, как это доходит. Но это безошибочное чувство интуиции подсказывает разуму. Разум ведь открывает то, что душа уже чувствует. У меня ощущение, что мы идем к мировым событиям. А вы не знаете, в Югославии напечатали отрывок из моего романа?

— Узнаю.

— Может быть, это войдет и в окончательный текст. Там я взял космогоническую проблему, хотя поручил изложить ее человеку ироническому. Мне кажется, что сегодня человечество запуталось и ничего не жаждет так, как понимания, на каком пересечении времени и пространства оно находится. Глава написана очень плотно. Это объясняется не косноязычием, а другими обстоятельствами. Строки — это не только информационный материал, но и лестница, по которой вы спускаетесь в глубины изображаемого мира, изображаемых душ, провод, по которому идут токи. В романе, над которым я сижу, у меня даже строй речи все больше соединяется с миром изображаемого человека, почти графически передает его. Во всяком случае, я пытаюсь этого добиться.

Тут последовал пропуск какого-то звена:

— У каждого писателя, если он хоть немного выделяется, есть своя отметина, метка — своя сквозная тема, к которой он постоянно возвращается. А что делает Чосич?

— Ушел от всего. Занят романом. Пишет четвертую книгу.

— Четвертую? Этого нельзя делать. Надо писать эссенциями. Кратко и так, чтобы слово было частью целого. У нас защищал недавно один медик диссертацию. Он доказал, что в человеческом организме все связано со всем. Вы ударите человека по плечу и можете

остановить работу сердца. Так должно быть и в художественном произведении.

— Леонид Максимович, а почему в «Воре» все герои связаны с искусством?

— Видите ли, я считаю, что в человеке главное не то, машинист он или ткач, главное — человеческий потенциал, хотя, может быть, он даже и не проявится. Надо всегда не только видеть внешность человека, но и заглянуть за него. В «Воре» искусство — это такая подсветка. Кстати, в «Воре» пропущено одно очень важное место, и я не знаю, как оно пропало. Векшин приходит, ищет документы, а находит стихи. И вот я сам не понимаю, как пропали стихи.

Он прочел это стихотворение и сказал: «Неплохие стихи, верно ведь?».

— Вот мы соберем все ваши стихи, — пошутил я.

— Ни в коем случае не надо этого делать. В свое время, в 1880-м году что ли, кто-то из великих князей собрал юношеские стихи Лермонтова, неприличные стихи. Я видел этот сборничек. Но ведь это чтение на потребителя...

В 6.30 Милосав уехал в Большой театр смотреть «Дон-Кихота», а я, проводив его, вернулся, и мы продолжили разговор. Он был трудным, порой очень жестким. Леонид Максимович был в настроении самобичевания, сказав мне, что «хотите, я напишу расписку, что я, Леонов, как человек, художник и философ...» — далее следовали уничижительные слова.

— Знаете, Леонид Максимович, если бы я забирал у вас каждый раз расписки, их бы у меня набралась гора.

Я понимал, что подобные настроения у него связаны и с общим состоянием нашего общества, где столько неурядиц и нелепостей, которые ясны каждому здравомыслящему человеку и требуют исправления, но власти почему-то этого не делают. Эти настроения определялись и затянувшейся работой над огромным романом. Возраст и состояние здоровья уже лишали писателя возможности завершить сорокалетний труд. Постоянно он переживал отсутствие заинтересованности власть имущих судьбой литературы, в том числе и его творчества.

— Поймите, у меня нет ощущения, будто труд мой кому-то нужен, будто есть люди наверху, заинтересованные в моем творчестве. Для тех — я ангажированный писатель, продавшийся коммунистам, для этих — подозрительный, способный выбросить коленце. Я ушел из Верховного Совета, потому что речи мои нравились, как кому вздумается, какие-то чиновники позволяли себе кричать на меня: «Вы — слуга народа», но слово «слуга» произносили так, словно я уже возведен в лакеи. Что мне оставалось делать? За границей меня не знают. Сенсаций вокруг меня нет, а без этого там ты не интересен. Творчества моего не понимают. Да и что они вообще понимают? Разве они поняли,

что это было, когда с помощью коренной идеи, лежащей в основе развития всего человечества, мы вдруг раскачали такую страну, как Россия, и она поднялась от Петербурга до Владивостока. Я это видел, я в этом участвовал. Ради этого иногда привирал или кое о чем умалчивал. Разве в этом дело? Они помнят о Сталине, его перегибах. Конечно, когда кровь льется на пол или на книгу, она портит пол, ее не смоешь со страницы. Никто не призывает не помнить репрессий, хотя бы для того, чтобы это не повторилось, все надо помнить. Но видели они, как люди, которым мир представился вдруг ясным, шли в бой и почти весело расставались с жизнью? Я это видел. Я с такими людьми переходил Сиваш. И я чувствую себя способным рассказать о них так, как не расскажут другие. Я вижу, как лежали павшие в боях, вижу каждую позу. Все дело в том, что павший в бою лежит так, как не лежит ни один умерший. Эти тайны может открыть только искусство.

Идет парад. Красивые офицеры. Я вижу их внешнюю красоту, но испытываю желание посмотреть на них сбоку, заглянуть в душу. Вижу в них нечто, не только просвечивающее во внешней красоте. И вдруг ловлю себя на мысли: «А может — этим самым я оказываю плохую услугу своему народу? Может, этого как раз и не надо?».

Заговорили о Шолохове.

— Мне кажется, мы с ним очень разные. Может быть, вы правы, в чем-то даже противоположные. Почему-то у нас никогда не происходит настоящего разговора. Несколько раз виделись в больнице. Он прост, разговорчив.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Как живешь?

— Хорошо.

— Пишется?

— С трудом.

— Мне тоже. С невероятным трудом.

Вот самый длинный наш разговор. Я не верил, что он сыграл определенную роль в избрании меня в Академию наук.

Говорили о Храпченко, Лихачеве, Сучкове. Выслушав меня, он вздохнул:

— Ничего-то я не понимаю в людях. Зачем они хитрят, молчат, прикрываются дорогими для нас с вами словами?

— Не знаю.

— Когда ко мне приехал Храпченко, чтобы уговорить или, может быть, проверить, соглашусь ли я сделать доклад о Достоевском, я ему ответил: «Начну с утверждения, что Достоевский — наш национальный Бог!» Он даже икнул, а я по лицу понял, что отныне вопрос о том, чтобы доклад сделал кто-либо другой, решен. Но я даже рад, что доклад мне не доверили, а то бы я сломался. Укатил на дни торжеств в Румынию.

— Жаль, что не доверили. Все мы помним ваш доклад о Горьком, когда тишина была такая в зале, что ничего подобного за свою жизнь я не встречал. Вас слушали, как оракула, как глашатая. Вам об этом, конечно, говорили? Моя семья испытала потрясение от вашего «Слова о Горьком».

Перед уходом я посмотрел несколько перепечатанных на машинке страниц из нового романа. Пока Л.М. беседовал с М. Бабовичем, я сидел у письменного стола. Стоит машинка «Эрика», много исписанных карандашом, фиолетовыми чернилами листов. Отпечатанные длинные листы Л.М. правит черным фломастером. Почерк у него, в отличие от шолоховского, непонятен совершенно.

— Л.М., давайте роман, напечатаем без единой поправки в «Новом мире».

— Нет, не надо.

— Леня! — сказала Татьяна Михайловна. — Отчего же? Дай хотя бы отрывок.

— Нет. Пока жив, печатать не буду. Надо многое переписать. Некоторые части имеют несколько редакций.

— Вот поэтому произведение пора свести в единое целое, чтобы увидел сам автор, как соединены все опоры.

— Нет, пусть остается в таком виде... Сочинительство — профессиональное мастерство, не хочу быть на уровне подмастерья, возраст не позволяет. А писатель — это больше: поэт, пророк. Я не лезу так высоко.

19 декабря 1977 г.

Позвонил Леонид Максимович:

— Знаете, все-таки напрасно мы напечатали «Соррентийскую правду». Не литература это. Да и не предназначалась для печатного станка.

— Согласен. Однако, после долгих колебаний, я решился включить эти писания в том «Вариантов», чтобы не давать пищу для легенд, распространяемых некоторыми у нас и на Западе, будто мы что-то скрываем.

— Мы слишком оглядываемся на то, что скажут о нас на Западе. Они вон что вытворяют, не заботясь о том, что мы скажем о них.

Ну, а что нового в литературе?

— В. Астафьев представил новые главы «Последнего поклона».

— Интересно, он талантлив, но в произведениях его тоже слишком внимание к быту.

— Все жду, когда вы закончите свой роман и преподнесете молодым урок, как надо сегодня писать.

— Нет, я уже медленно разваливаюсь, я уже пенсионер... Вы все понимаете. Наполнен я какой-то раздражительностью.

— Сказали, что с путевками в Барвиху будет все в порядке, надо вам отдохнуть. Вы захватываете с собой рукопись романа и машинку?

— Да. Я всегда захватываю. Но вряд ли буду работать. Вот зубы выдрали.

— Теперь вам только и остается работать. Без зубов-то...

— У меня еще есть дела по защите памятников культуры. Дело это тонкое и более сложное, чем когда-то мне казалось. Руководит им Кочемасов. По-моему, он хороший человек, умный деятель. К нему хорошо относятся интеллигенты. Хороший организатор, умно ведет заседания. Таких у нас не так уж много. Вот такое же впечатление оставляет Стукалин. Ведет хорошо линию, не подстраивается. А дело-то трудное. Вы знакомы с моей статьей? Ее ведь так и не пропустили. И в Собрание сочинений не включили. Трудное дело — охрана прошлого. Но по ряду причин это мне особенно дорого. Вот я прошу восстановить Новоспасский монастырь. Может быть, это удастся сделать в связи с Олимпиадой. Древние камни, вокруг них витает патриотизм. Не зря некто 3 июля вспомнил прошлое, оно содержит мощный запас сил. На Западе все это берегут. Думаю, не только для туристов, скорее для воспитания поколений. Кельнский собор строили с VII века, и он рос как символ национального самосознания. Раньше я «горел», когда речь шла о защите наших древностей, а ныне как-то прохладнее смотрю на это.

18 февраля 1978 г.

Л.М. позвонил из Барвихи. Сказал, что «здесь отдыхают Г. Марков, В. Кожевников. Но им не до меня. А что Марков — хороший человек? У них какая-то дворянская спесь».

— Ну, Л.М., какая там дворянская спесь? Замшелость чиновничья, это от высоких постов, цены себе не сложат. Бюрократизм и среди писательского начальства.

— А что нового в литературе?

— Вчера был пленум Правления Союза писателей РСФСР. С. Михалков в докладе призвал критиков «расширить обойму», напомнив слова Брехта, что небо без малых звезд не небо. Я согласился, но добавил, что еще меньше оно похоже на небо без планет и Луны, в особенности, если речь идет о «литературном небе».

Л.М. смеялся. Потом снова затвердил, что литература нуждается в глубокой и всеохватной мысли. Будущее литературы — в углублении вовнутрь человека.

21 марта 1978 г.

Звонил Л.М. и сказал, что обеспокоен благодушием нашим, а «мы ведь идем в конус событий». Тревожится, будто что-то видит раньше других, предчувствует, предвидит. Что?

23 июня 1978 г.

Сегодня открывали новую экспозицию музея А.М. Горького.

В ИМЛИ съехались многие писатели и художники (Л. Леонов, К. Горбунов, К. Симонов, Ройзман, Н. Соколов, Яр-Кравченко, А. Иванов, С. Викулов и др.). Перед открытием музея небольшое собрание, где после вступительного слова В. Щербины выступил Л. Леонов.

— Я не умею говорить. Дневников и записок не веду. Только однажды написал небольшую заметку о своей первой встрече с Горьким. Ее и перескажу.

Я отношу Горького к художественно-просветительской линии в русской литературе, представленной Чернышевским и другими. Горький — сильнейший в этом ряду. Он обладал редким даром — умением радоваться таланту и вовремя поддержать его, сказать ободряюще: «Хорошо работаете». И это придавало силы. В 1925 г. он пригласил меня в Сорренто, но собрался я только в 1927 г. Это была самая счастливая пора в моей жизни. Готовилась постановка моей первой пьесы. Заканчивалась работа над большим романом. В середине лета с женой пустился в путешествие. Все было необычным. Где-то на границе нас задержали, кончился срок итальянской визы, повели в полицию, но быстро отпустили, продлив визу. Сели в поезд и поехали через Рим в Сорренто. По дороге к нам привязался фашист, признал в нас русских разведчиков и считал, что нам место в лагере на Сицилии. В Риме он все-таки сволок нас к офицеру управления. Тот выделил для сопровождения своего подчиненного. Последний, взвалив на плечи вещи, доставил нас в Сорренто, в отель на 5—6 комнат.

Был чудесный солнечный день. Я начал бриться. Вдруг дверь открылась. На пороге стоял высокий человек в синей рубашке. «Посмотрим, какой он — Леонид Леонов!» От неожиданности я попал помазком в глаз. А он, чуть трогая свои рыжие усы левой рукой, продолжал: «Ну-ну, помойтесь и — поцелуемся!».

И вышел на балкон. Таким я и вижу его до сих пор — на балконе, за которым море интенсивнейшей голубизны и вдали Неаполь. А он стоит — необычайно красивый человек. Знаете, он обладал удивительным свойством, в результате которого через двадцать минут я вел себя с ним так, словно мы были с ним знакомы лет двадцать. За обедом, когда он налил мне рюмку водки, я даже пошутил: «Наученный Горьким опыту!».

Потом я видел Горького разным. Видел, как он обижал людей, бил, так сказать, наотмашь. Помню, спускаясь со второго этажа, он одним жестом, с каким он протянул мне журнальчик для богатых дам, в котором был очерк Арцыбашева, уничтожил его.

Вокруг виллы все время терлись филеры, смешные, почему-то все пузатые и с зонтиками. Один из них все время стоял у ворот. Не

выдержав, вышел Максим и сказал: «Сеньор, мы снимаем дачу у герцога. Платим большие деньги. А вы нам портите вид!» Тот ответил: «Но я же не за вами наблюдаю, а вот за тем господином, который бродит по берегу. Смотрит на Ливорно и делает записи. А в Ливорно у нас база военных кораблей. Вчера прибыл один броненосец водоизмещением... подводная лодка...». В конце концов «шпиона» забрали, он оказался богословом-итальянцем, записывавшим мысли о Боге, навеваемые созерцанием моря.

30 марта 1978 г.

Сегодня я позвонил Л.М., чтобы получить разрешение на издание «Советским писателем» к юбилею Леонова старой редакции «Вора» и «Евгении Ивановны» с иллюстрациями, о чем меня просил Лесючевский.

— Конечно, согласен, только бы по-настоящему, хорошим шрифтом, на хорошей бумаге, с широкими полями — книга должна радовать. Вот немцы издали «Русский лес». Иногда, когда на душе у меня плохо, посмотрю и — вдруг станет легче.

— А сегодня у меня горе — умер мой старый друг, 55 лет мы с ним дружили. И вот горюю, подвожу итоги. Хотел свой рассказ о Горьком закончить одной фразой, да забыл. Хотел сказать: «Это был такой бенефис, выход. А что потом? Работа, работа, работа, пасмурная погода, ни одной радости». Да, А.И., была работа, как в шахте. Залезал на 30 метров вглубь и сидел там в окружении героев. И боялся показаться наверх, что тут: пьяные люди, кто-нибудь изматерит, «плюнет в ухо» — и часто вспоминал тот неожиданный день, тот выход в солнечный день, Горького. Я еще стоял в очередь за билетом. И вдруг Горький говорит мне, мальчишке, такие вещи. Писателя надо вовремя поддержать — подбросить 1,5 кг калорий. А у нас, помните? — Как говорит один из моих героев: «Не знаешь, не то орден дадут тебе, не то «на спину бубновый туз нашьют».

Если все-таки будет осуществлена мечта о социализме, то надо сказать, что умнее, умнее нужно относиться к художникам, не забывать, что это трудный жемчуг.

— Но все-таки были же у вас радости? Творческие. Когда вы набрали на мысль о родничке или веничке, который Поля привезла Вареньке. Семейные. Родились дочери, прекрасная жена.

— Да, конечно, но эта другая радость. А помните — там есть еще стихи Родиона о том, что никто не отказывался от трудной дороги? Неплохо ведь?

Тут я упустил переход — забыл, что я сказал, что позволило перейти к совершенно другой теме.

— Среди немногих по-настоящему ценных пословиц русского народа есть — удивительной глубины мысли — «Не накормимши, врага не наживешь». Ведь это бездонно глубоко.

Вон Олжас Сулейменов как отплатил русскому народу за все, что тот сделал для него. И Айтматов может вывернуться? Никак я не могу понять — серьезный это человек или нет?

Что касается пословиц, то назову и еще одну столь же глубокую — «Ближе к царю — ближе к смерти».

Поговорили о последнем романе Ф. Абрамова. Я сказал, что роман неплохой, интересный, но опять о Пряслиных.

Л.М. заметил, что, когда голодному человеку принесут горшок каши, он радуется, а если ведро, то будет ли польза? Понятно нежелание расставаться с привычными «родными» героями, но читатель утомляется от этих героев. Сам он предпочитает все-таки пообщаться и с другими.

7-8 мая 1978 г.

Последний раз разговаривал с Л.М. в апреле, перед отъездом в Японию.

— Узнайте, верно ли, будто «Вор» вышел стотысячным тиражом? Заплатили бы, так я съездил бы в Японию еще раз. В одной из картин видел сцену на мосту, целиком заимствованную у меня.

7 мая уговорил я Л.М. поехать в гости на День Победы к Михаилу Алексееву в Переделкино. После долгих колебаний он согласился, но сегодня позвонил и решительно отказался.

— Не хлопчите о машине. Не поеду. Ну, что я вдруг припожалую, — старец, обломок прошлого, среди вас, фронтовиков. Это — все равно, что Серафимович вдруг с того света заехал бы на минуту.

— Слушая вас, вспомнил, как один юбиляр на своем 90-летию сказал: «Не дай вам Бог дожить до того, до чего я дожил. Ни одного современника в живых, никого... страшное одиночество, словно на другой планете».

31 мая 1978 г.

Позвонил Леониду Максимовичу, поздравил с 79-летием.

— Спасибо. Хотя чего же поздравлять, скорее сочувствовать надо. Как съездили в Ростов? Видели Шолохова? Совсем болен? Хуже у него вид, чем у меня? Жаль...

Потом рассказал ему, как восхищался Альберт Беляев «превосходнейшим отпором, данным американским издателям Катаевым». Захлебываясь от восторга, Беляев рассказывал о том, что говорил Катаев в Америке: «Куда я попал, — якобы сказал он. — Да если бы мне советский издатель заикнулся о том, как я должен писать, он бы забыл свое имя. Вы же позволяете себе учить нас. Кто вы? Куда мы попали?».

Выслушав это в моем изложении Л.М. сказал:

— Катаев? Да он же актер. В речи в Кремле он сказал нечто, обличающее в нем человека, лишенного чувства достоинства. Он сказал, что в восторге от того, что советская интеллигенция приравнена к рабочим и крестьянам, чем всем нам оказаны величайшие честь и доверие. Вспомните всю историю взаимоотношений лучшей части русской интеллигенции и народа, и станет ясно, что этот Герой Соцтруда либо безответствен, либо бесчестен, либо холуй.

— Каковы ваши впечатления от поездки в Японию?

Я рассказал. Выслушав меня, Л.М. сказал, имея в виду взаимоотношения с Китаем:

— Со времен шумеров, древних вавилонян, египетского исхода не была так важна необходимость мысли, как сегодня... Проблема Китая — главная для нас. Конечно, Америка надеется толкнуть на нас Китай. Ее только сдерживает то, что если Китай одолеет нас, то станет угрозой для США. Японцы не против войны Китая с нами, но боятся атомной войны, от которой, в результате дождей, они вымрут. Американцы, по моему, согласны Китаю дать карт-бланш, если речь идет о нас.

29 июня 1978 г.

Несколько раз в эти дни разговаривал с Леонидом Максимовичем

Был у него с Милосавом Бабовичем. Читал, по просьбе Л.М. работу С.М. Тулкина (из Ленинграда). Обещал написать ему и заказать статью для «Нового мира».

Л.М. доказывал М. Бабовичу:

— Народ обычно начинают уничтожать со святынь. Эта работа сейчас и ведется против русского народа во всем мире и в нашей стране. Начали со «Слова». А бредни О. Сулейменова? Вы читали книгу «Аз и Я»? А сколько еще таких «умников» против русского народа у нас? «Оригинальные» мысли высказывают — их не сдерживают власти. Кому-то это нужно.

Мне:

— Удивительно точно этот Тулкин расшифровал мою главу, написанную по принципу: о неизвестном все правдоподобно. Напишите ему.

10 сентября 1978 г.

Долгий и трудный разговор с Л.М. по телефону. Я передал ему просьбу ИМЛИ приехать 12 сентября на конференцию, посвященную 150-летию Л.Н. Толстого.

— Полагаю, — сказал я, — вам будет небезынтересно послушать доклад Д.С. Лихачева «Лев Толстой и тысячелетние традиции русской литературы». Человек он эрудированный и может сказать немало любопытного.

— Я бы рад послушать, но во вторник хотят отвезти меня в больницу. Образовался какой-то полип в животе. Если не увезут, то приеду. Лихачев — человек интересный, хотя в кое-чем и непонятный мне. А как вам понравился вечер в Большом театре? Вы где сидели? Я всматривался в зал, но вас не видел.

— А я видел в каком блестящем окружении вы оказались: слева — Чаковский, справа — Михалков, правее — Марков, затем — Косыгин, Брежнев, Громыко и т.д. Левее — Симонов, Полевой.

— И я с моей перекошенной, глупой физиономией.

— Да, нет. Наоборот. Независимая поза, благородная осанка, затаенная улыбка. Это не лесть.

— А доклад вам понравился? Когда я его слушал, у меня возникали возражения против истолкования толстовских поисков истины, правды. Тут одним Евклидом обойтись нельзя, т.е. я хочу сказать, что у Толстого все сложнее, диалектичнее. И потом пора понять, что всякая похвала, если она не блесит мыслью и не аргументирована безукоризненно, унизительна. Венок не должен создаваться под стенограмму. И если он возлагается, то должен звучать как акафист.

Кажется, что я тоже тогда допустил ошибку, когда говорил о Толстом. Надо было, воздавая Толстому графские почести, поговорить и о другой половине России — о Достоевском. Я бы многое мог объяснить в Достоевском, сказать о нем то, чего уже никто о нем не скажет. Мог бы объяснить многие провалы в его творчестве. В частности, сказать, какую роковую роль в его творчестве играл недостаток денег. Отсюда истерики Грушенек. Но это — не главное в нем. Главное — всегда из железа. Надеялся, что мне поручат доклад о Достоевском, и я скажу. Надо бы такой доклад, чтобы портрет Достоевского, помещенный сзади, улыбнулся: «Наконец-то дошло до них». Не пришлось. И вот теперь сожалею. Надо было мне в докладе о Толстом хоть пяток фраз о Достоевском поставить рядом. В последнем докладе о нем ведь главного не сказали. Достоевский до сих пор обижен. Если хотите знать, Толстой весь в прошлом, Достоевский же весь животрепещущ. Я не раз говорил, что, может быть, мы не все сказали, но мы имели время поработать, чего Достоевский был лишен начисто. Пишет кусок и тут же его тащит в типографию. Отсюда чудовищные провалы в тех же «Бесах». А если бы у него написанное чуть полежало в столе, чтобы он сделал! Но и при том, в большинстве, написанное им — чистые, вырезанные из души гениальные куски... А у Толстого... «Воскресение» его я отрицаю начисто. Стариковская выдумка. Вот где мораль проступила на самый верх и все подавила... Разве это сравнимо, скажем, с «Хаджи-Муратом»? Ведь это гениально!

— А между тем, Л.М., над тем и другим Толстой работал одновременно.

— Вот-вот, в том-то и дело, что старость идет, а молодость противится ей. Зима наступает, а бабье лето упирается. Толстой был

как могучий дуб, что изображен им в «Войне и мире»: рубят топором его снизу, а вверху ветки новые растут... И все же Толстой весь в прошлом...

— Быть может, вы говорите так потому, что мир человеческой мысли, по-преимуществу увлекавший Достоевского, вам ближе, чем мир чувств, в особенности интересовавший Толстого?

— Знаете, потенциальные ультрафиолетовые и инфракрасные лучи невидимы, а Достоевский их берет. Ставрогин и Хромоножка — я не верю в это, но Достоевский находит такие повороты, что мы не сомневаемся, что он встает на колена.

— Может, вы зачарованы умением Достоевского так заглянуть в кажущуюся обыкновенной мысль, что перед читателями вдруг разверзается и тут же захлопывается бездна?

— И этим. И тем, что мысль у него по большей части хороша. И видны извилины мысли. К ней еще поднесен микроскоп.

— Меня поражает, с какой силой этот микроскоп, именуемый «Легенда о Великом инквизиторе», позволяет видеть многое в духовной жизни самых разных эпох. По-моему, Василий Розанов ничего или почти ничего не понял в этом ошеломляюще неожиданном творении Достоевского.

— Когда мы увидимся, напомните мне об этом. Я расскажу вам, что сказал Сталин о «Легенде о Великом инквизиторе»...

— А как вы относитесь к дневнику Софьи Андреевны, только что опубликованному в «Новом мире»? Ах, вы его продвигали в печать? Я на стороне С.А. В 80 лет уйти от старухи? Это так невеликодушно. Ездил на ней всю жизнь, наделал кучу детей, бездельничавших, тянувших с них все жилы. И вот на потеху миру убежал от жены. Вы знаете, старики иногда уходят перед смертью в одном белье — «обираются»: так ушел Сперанский... Так ушел мой тесть... Такой уход у русских не редкость... Но зачем это сделал Толстой? Это жестоко.

Разговор перешел на современную литературу. Я сказал, что цензор придирается к «Дому» Абрамова.

— Жаль. Человек он талантливый. А позавчера у меня с одним профессором-юристом был Солоухин. Свеж, бодр, тоже талантлив. А как вы относитесь к последнему сочинению Катаева?

— Мне было интересно читать...

— А слышали эпиграмму что-то вроде:

Из двадцати венцов терновых

Алмазный свил себе венец он новый,

Завистник старый и подлец.

Я понимал, что Л.М. лучше меня знал своих современников и, похоже, не мог забыть того, чего от них натерпелся.

Рассказал ему, что был с семьей в Коктебеле. Он оживился, вспомнив, что был там в 1926 году в доме Волошина, но с тех пор не был.

— Л.М., дайте хотя бы главу из вашего романа.

— Нет, не ко времени... Сейчас все дудят в одну дуду, хотя Горький еще говорил, что мы не монахи, чтобы тянуть в унисон. Когда возле дома только что вернувшегося в Россию Куприна собрался народ, жена попросила его показаться людям. Он ответил: «К чему все это?» Я тоже спрашиваю, зачем мне это? К чему мне выходить под пули? Хотя там ничего нет, там главное — борьба за мир. Но вот явится редактор и начнет твердить: «Эти две страницы лучше опустить! А вот эта фраза... нужна ли она?».

— Л.М., даю слова добиться публикации без единой поправки. В Коктебеле это еще раз обещал мне Наровчатов.

— Я помню яркую фразу: «Пусть цветут сто цветов!» Она выжжена огненными буквами в моем сердце... Не хочу, чтобы они сожгли меня или вас...

(Как всегда, я записал главные «узлы» разговора.)

12 сентября 1978 г.

Сегодня Л.М. приехал в ИМЛИ на конференцию, посвященную Л. Толстому. Почти поддался моему уговору выступить, но тут вмешался М.Б. Храпченко, сказав: «Разволнуетесь... Пропадет целая рабочая неделя после этого». Вся наша договоренность рухнула.

Сидя с Л.М. рядом, я напомнил ему об обещании привести отзыв Сталина о Достоевском.

— Ах, да! Я сам этого от него не слыхал, но мне говорили югославы, будто он сказал, что Достоевского надо запретить потому, что он раскрыл в «Легенде о Великом инквизиторе», как надо править человечеством.

В кабинете директора ИМЛИ П.В. Палиевский спросил у Л.М.: «Где же роман? Ведь, судя по отрывку в “Науке и жизни” там все пружины приведены в действие».

— Нет, сейчас его печатать ни к чему... нет, в моем романе нет ничего криминального, но есть вольные размышления о Боге, о черте, о мире, о Вселенной... Я уже говорил А.И., что все, что было можно, я написал и напечатал. А это пусть уже лежит на сберкнижке будущего. Эпоха ценится по тому, что было написано, напечатано, но и по тому, что могло быть, но не было напечатано.

В перерыве Л.М. рассказал анекдот, как два издателя пили чай и рассказывали анекдоты, время от времени на слова швейцара, что какой-то старичок дожидается, отвечали: «Ничего, подождет». Наконец, наболтавшись, выходят и сереют: старичок-то — Л. Толстой.

20 октября 1978 г.

Длительная беседа с Л.М. Как всегда, он жаловался, что не имеет стимула для работы.

— Что нового в литературе?

— Я вот в «Новом мире» прочел рассказы В. Астафьева. Мне понравились. Чистые, четко сделанные.

— Слушал выступление В. Катаева по телевизору. Выдумывает и врет. Особенно «трогательно его скромное заявление, что в поэзии он действительно не дотягивает, что это не то, что проза и драматургия». Там ему, похоже, кажется, что равных ему нет. Корней у него нет, а воображению нет предела. Почему сегодня никто не решается говорить писателям правду в глаза? Вот и вы ведь критик, А.И., и не рядовой. Мы делаем все, чтобы не защитить вершин, которых добились в художественном развитии. Воздвигаем на пьедесталы надуманные фигуры, которые никакого отношения к традиционным для русской литературы достижениям и вершинам не имеют.

6 ноября 1978 г.

Позвонил Л.М., поздравил с праздником и сказал, что после него снова ложится в больницу. Беспокоит желудок.

Опять спросил традиционно: «Что нового в литературе?» Сообщил ему, что Вознесенскому дадут премию.

— Я плохо разбираюсь в стихах. Я и Маяковского не очень чувствовал. Два месяца не работаю. Видимо, летом переработался. Надо бы поехать отдыхать.

— Знаете, А.И., на литературе нашей можно было бы делать большую политику. Но этого никто не желает у нас. Боятся, а вдруг что-то не совсем «благостное» будет сказано о нашей жизни. Между тем, сахаром не лечат, а лекарствами, а это — яды. Надо, чтобы людей не застигли неожиданности в их борьбе за будущее, а для этого не стоит их отучать от опасности.

Заговорили о Ковалеве, авторе книги о Леонове.

— Он неправ, когда доказывает, что меня всему научил Горький. Когда я сказал Горькому, что рассматриваю его зачин в «Детстве» как манифест нового искусства, Горький, усмехнувшись, сказал: «Ну, вам-то чему же у меня учиться!» Да и с Достоевским было не так, как казалось Горькому и как изображает Ковалев. Есть и схематичность, да и на смелую схему его недостает, но он хороший человек. Когда он пришел ко мне на первую беседу, я отговаривал его заниматься мною, советовал лучше заняться Симоновым, я не тот художник, который научит: «Не бей жену, не плюй соседу в ухо...» У меня расчет на индуктивные токи, на глубину мысли и опосредованное воздействие на читателя. Хороший писатель тот, у кого есть окрестности: читатель закрыл книгу, а живет в ее атмосфере, гуляет по ее окрестностям, спорит с героями. Без таких окрестностей нет ни художника, ни книги.

— Быть может, мы потеряли секрет этого?

— Нет, что вы. Просто с настоящим писателем много маклеров и нет критики. Вот я сейчас израсходован до конца и не знаю, выскочу ли из паузы, в которой нахожусь. Письмо — это маниакальное заболевание. Это Божья милость, Божье благословение, данное с иронической усмешкой: «Выдержишь ли?» Это — роды, с болью, с отравлением...

— У меня есть мысль: «Не надо ничего выкидывать в окно, чтобы не подобрали другие!» Никак этого не усвоим потому, что недалекие люди не могут понять, что даже наши ошибки — достояние наше. Зная об ошибке другого, я не допущу ее... Великое значение имеет уверенность. Все хорошо, что идет на пользу людям...

А роман, дорогой А.И., мне надо закончить во что бы то ни стало. Все остальное, что я написал, в сравнении с ним, — ерунда. А Тулкину если он будет писать обо мне, то передайте, что могу показать ему совершенно законченный отрывок из последнего романа. И вам, конечно, но при условии, что он не выйдет из моего дома.

Начало ноября 1978 г.

Должен выйти номер «Нового мира» с «Целиной» Брежнева. Сколько треволнений! Уговаривают меня выступить с докладом в Бауманском Доме культуры, где будет 2 тысячи человек. Звонил М. Алексеев:

— Праздники, а «Новый мир» задал еще работы. Сiju и пишу о Леониде Ильиче. Ведь речь идет о хлебе, и тут я обязан.

М.Б. Храпченко, взволнованный:

— Все говорят о чрезвычайной новости. Что вы печатаете? Как думаете, следует собрать заседание нашего отделения?

2 ноября 1978 г.

Обедал с А.Я. Сахниним и Генрихом Гофманом. Они говорили, что вместе с Замятиным, Игнатенко, Песковым, Жуковым сочиняли мемуары Брежневу.

Почти год я ничего не писал для себя, теперь надо наверстать, говорил Сахнин.

Гофман с восторгом рассказывал как послал книгу Цвигуну с надписью «Сотоварищу», а Андропов позавидовал.

Пришлось им всем позавидовать.

И только Л. Леонов сказал:

— Ну, вот, а вы уговариваете меня заканчивать роман. Кому он нужен при такой «классике»? Туда умного не надо... А что такое «Целина»?

Могу сказать по телефону только одно: не поднятая! Даже не дубликат...

10 ноября 1978 г.

Среди прочего, в большой беседе со мной один из самых старых наших писателей, автор «Ледолома», Кузьма Яковлевич Горбунов сказал:

— В 1935 году Леонид Леонов просил меня, чтобы я содействовал урегулированию его отношений с Горьким. Их поссорили, не без участия Вс. Иванова. Рассказывал я вам? Но я ответил, что не решаюсь. Не таков мой авторитет у Горького, не настолько значителен... С тех пор мы в прохладных отношениях, хотя я понимаю, какой это писатель. Во время поездки по Болгарии он спросил у профессора Б. Михалкова: «А кто с вами занимался в Литературном институте?» — «Горбунов». — «Ну, что ж, это достойный и обстоятельный человек», — сказал обо мне Леонов. Спасибо ему.

5 декабря 1978 г.

Неприятный разговор с Л.М. о выборах в Академию. На экспертной комиссии он робко промолвил, что надо бы Овчаренко избрать членом-корреспондентом, ибо у нет 15 книг и он ведет Полное собрание сочинений Горького, зная его лучше, чем сам Горький. На него сразу ополчились Храпченко, Борковский, поддерживаемые Лихачевым. И все он переживает. После очередного провала меня на выборах обычно Л.М. долго разговаривает с Ольгой Михайловной, рассказывая ей о всех обстоятельствах и уверяя, что он голосовал. Она утешает его, говоря, что ей уже все известно от других и что она всегда знает, что он голосовал и кто не голосовал. «Не трудно догадаться, если бы даже не было свидетелей, и почему — тоже ясно», — объясняет она.

Мне на этот раз он говорит:

— Я думал, что в вашей среде люди чище, принципиальнее, руководствуются интересами истины и ценят по научным достоинствам. Оказывается, что все не так. Мне говорили, что у вас слишком много непокорства, независимости, что, если мы «не выберем того-то, нас не поймут «там», и кивали головой вверх... Ни слова о ваших знаниях, книгах, работе. Думаю, что только за одно руководство столь трудными академическими изданиями вы заслужили быть в Академии. На мое замечание, что вы можете бросить собрание сочинений, Храпченко ответил: «Вы не знаете его, не бросит!» Я поражен цинизмом и беспринципностью этих людей...

— Л.М., зная их лучше вас, я уже давно ничему не поражаюсь. Пожалуй, ваш Грацианский только частично может нам намекнуть на изощренность психологии подобных людей.

— А.И., вот где заложена мина под социалистическое общество — в психологии этих людей, а они ведь не последнюю роль играют, и таких

у нас, в особенности в «верхах», все больше. В чем же дело? Что делает таким людей? Что станет с нашим обществом?

5 марта 1979 г.

Л.М. говорит, что подлинная интеллигентность человека выражается в том, на какую историческую глубину он способен мыслить. Дал отрывок в «Москву» — это о самом последнем этапе, о конце человечества.

Его волнует Китай.

— Знаете, это умный противник. Если они пошлют на смерть 500 млн. человек, то задохнешься в смраде разложения. Они берегли буржуазию — предпринимателей, не тронули священников — все разумно.

— Я уже стар, мне лучше сидеть на завалинке или под диваном между двумя валенками, как можно реже выглядывая оттуда.

Знаете, мне надоело привирать, хочется сказать всю правду, какая она есть на самом деле, а не липовые домыслы, какими потчуют нас «знатоки» от литературы. На 37-м годе мы не зарабатывали, хотя знаем, как это было.

Но соцреализм, это правда, какой она представляется «Семкину». Каждый раз, когда я сталкивался с соцреализмом, я чувствовал себя изломанным. Какой соцреализм? Золото не нуждается в эпитетах, как и настоящее искусство. Нас заставляли подчас прилгать или умалчивать. Быть может, только литературоведы поймут, что и когда появилось.

Я люблю вот — русскую землю, ее поля, леса, могилы, ее историю на всю глубину, и только это держит меня на ногах. Правда держит книгу. Сколько книг хваленых умерло.

Нельзя бриться топором. Литература — большая вышивка бисером.

Апрель 1979 г.

Мы с Ольгой поехали в Сталинград на конференцию книголюбов. Читали лекции и она, и я, встречались с читателями. И вдруг она заболела. 17 апреля, несмотря на то что ее хотели положить в больницу, она улетела в Москву. Воспаление легких. Но это только начало. Вскоре поставили грозный диагноз гематологи — лейкомия. Майские праздники она провела в городской больнице, еще не зная о диагнозе, но оставаться там было бесполезно. Надо найти настоящих специалистов. Посмотрев ее документы, все уклоняются, похоже считая, что безнадежно. Наконец, я иду в клинику Кассирского при 2-й больнице МПС, к профессору Андрею Ивановичу Воробьеву. Посмотрев больную, доктор соглашается ее лечить, велел привозить через несколько дней. Пока она дома под наблюдением гематолога из

госпиталя им. Бурденко доктора Веревкина, прекрасного врача и человека.

24 мая 1979 г.

Звонит Л.М.

— Мне передали, что вы говорили обо мне в МГУ. Говорят, очень хорошо и взволнованно. Спасибо вам. Это тем трогательнее, что у вас тяжелейшее положение. Я-то знаю, как в таких случаях трудно собраться с мыслями. Как сегодня Ольга Михайловна? Что тут скажешь? Никакими словами не облегчишь душу. Она дома? Дайте ей трубку.

31 мая 1979 г.

Л.М.:

— Наташа говорит, что вы были очень грустны. Я видел вас и видел, когда вы ушли. А как Ольга Михайловна? Бедняжка... Хорошо, что вы не сдаетесь. А как вам глянулся мой юбилей? Слушали они меня внимательно. Напечатать слово? А оно у меня не написано. Только тезисы, заметки для себя? Кому дам? Никому, надо реже появляться перед читателями.

— У меня сейчас главная проблема — достать для Ольги лекарства, которые есть только в Кремлевской больнице. Я обратился к зарубежным профессорам, чтобы они помогли, но для этого нужно время, а медлить нельзя. Поэтому я просил помочь мне, обратившись с письмами к самым главным в нашей стране. Кажется, откликнулись в ведомстве Андропова, дав лекарства. Начали лечить в клинике у А.И. Воробьева.

10 июня 1979 г.

Л.М.:

— Как Ольга Михайловна? Лучше ей?

— Пока процесс не приостановлен, все неясно. Лечение тяжелое.

— А я совсем отошел от работы. Полтора месяца не сажусь за стол. Много надо сделать, чтобы даже у меня отбить охоту писать! Романом совсем не занимаюсь. Вы знаете, какой это каторжный труд. Вы сами серьезный писатель и отлично представляете, что значит написать настоящую книгу.

Я спросил, приобрел ли он «Яснополянские записки» Маковицкого.

— Купил, но еще не читал. Вы считаете их интересными? А не кажется ли вам, что Толстой кокетничал? Это ниспровержение России, истории, прогресса, Шекспира... есть в этом что-то от кокетничания и

озорства, а также детскости. Видимо, гении до конца дней сохраняют простодушие, детскую доверчивость и детскую прямолинейность.

— А потом у Толстого была великая мечта. Он знал, каким должен быть мир, и с высоты ее даже Шекспир его не устраивал.

— Да не знал он, каким должен быть мир. Достоевский знал, каким мир не должен быть. А каким он должен быть — кто знает. Можем мы сказать, что будет через две недели? В лучшем случае мы можем увидеть будущее на 6-8 координатах, а оно ведь возникает на тысячах их...

— А что нового в мире?..

— В романе Пикуля нашли намеки на современность. Не нравится это мне. Не надо искать намеков. А то я напишу «сад зеленый», а кто-то соединит мои слова с атаманом зеленым...

Но мне не понравилось у Пикуля, что вся Россия на всю глубину изображена гнилой, подлой, пьяной, бесчестной. А ведь были же и тогда не одни Романовы и Распутины. Был Серафим Саровский, Толстой, Горький, Циолковский. Был народ, страна, леса, поля... Где все это? Жизнь изображена одноцветно.

18 июня 1979 г.

Леонид Максимович звонит ежевечерне, справляясь о здоровье Ольги Михайловны. А ее вчера еле спасли в реанимации.

Он пытается отвлечь меня разговорами о литературе.

По привычке я слушаю и записываю...

Много сегодня говорил о недооценке литературы у нас, литературы большой, произведения которой не поверхностные копии жизни, а проникающие в глубь жизни, философски осмысляющие ее. У нас есть такие произведения, но не на виду. А ведь потомки нас будут судить по книгам. Мы этого не понимаем. Так же, как еще не понимаем, что все в мире невосполнимо: леса, моря, реки.

Есть растения, которые не пишут рапортов по начальству, они просто умирают. Скепсису бы нам немного, чтобы не повторялось дурное прошлое. И вам бы, литературным критикам, немного скепсиса, не помешало помнить бы вам, сколько хваленой в прошлом книг умерло.

— Л.М., вы чересчур пессимистичны. Что же делать?

— Работать. А выход? Выход будет... Хоть он скорее бы наступил...

19 июня 1979 г.

Долго разговаривал по телефону с Татьяной Михайловной. Она расспрашивала об Ольге, а сама жаловалась на боль в груди, общую слабость.

Вскоре обнаружилось, что еще в апреле было замечено какое-то темное пятно в легком. Татьяну Михайловну госпитализировали. Л.М. в полной растерянности. Будто рок какой-то...

— Что же это... как же теперь... я хожу по дому и не знаю, куда себя деть, что делать... Я не могу даже поехать завтра к ней... не знаю, где лежат рубашки... как же это... недосмотрели... она уже давно недомогала.

Я успокаивал его, как мог. Советовал подождать до обследования. Перевел разговор на литературу, политику, договор о сокращении вооружений с США. Он ответил:

— Видел по телевидению. Слишком много улыбок насторожило. Ложь хорошо идет под улыбку.

И потом отчеканил как давно продуманное:

— Из будущего надо смотреть и на прошлое, и на настоящее. Ожидание неожиданного разрушает цивилизацию. Цивилизация строится в расчете на тысячелетия. А можно ли рассчитывать на тысячелетия, сидя на атомной бомбе? А.И., это чушь, что человек звучит гордо, если он сидит на бомбе. Человек звучит странно, если нестрашно. Трудно петь под мушкой...

30 июня 1979 г.

Две недели подряд перезваниваемся по вечерам с Л.М. Он неизменно спрашивает, как О.М., не утешая, я справляюсь о состоянии Татьяны Михайловны. Доктор Коломиец мне прямо сказала, что у нее рак легких. Л.М. возмущается допущенным недосмотром. Татьяну Михайловну будут облучать.

— А как ее самочувствие?

— У нее огромные черные вопросы в глазах. А я не могу на них ответить, хотя готовлю себя к самому худшему.

1 июля 1979 г.

Слава Богу, процесс у О.М. остановлен. Лекарство сработало, но предстоят годы химиотерапии.

3 июля 1979 г.

У Татьяны Михайловны все хуже.

Л.М. просил меня пригласить профессора Ф.Н. Ромашова, но оказалось, что он будет только в конце месяца.

Чтобы отвлечь Л.М., спрашиваю его о работе. Он говорит, что погрузился в записки — размышления о жизни, человеке, будущем и прошлом. Сказал, что к старости писатели часто не понимают новых явлений.

- Часто бывает так: люди расходятся к старости... Вот этот угол я обойти не могу... Но не могу понять одного: как же они не встретились — Толстой с Достоевским? Он что — не хотел?

Я рассказал о роковой роли, сыгранной Страховым, и добавил:

- Вот кто-то же сыграл такую же роль в том, что вы не общались с Шолоховым?

Он промолчал.

8 июля 1979 г.

Уехал с дочерью Олей в Дубулты. Ольга Михайловна настояла на нашем отдыхе, оставшись с сестрой дома. Л.М. часто звонил ей, справляясь о самочувствии и рассказывая о Татьяне Михайловне.

20 августа 1979 г.

Сегодня Л.М. рассказал мне трагическую историю с Татьяной Михайловной, у нее, возможно, от облучений ухудшилось состояние сердца. Вчера ее забрали из больницы. Ночью она пошла в туалет. Возвращаясь, села мимо кровати. Теперь болит спина. «Волнуюсь, в особенности потому, что врачи назначили ей 24 сеанса, а сделав 8, окончили лечение. Вчера ни один врач не провожал нас. Видимо, чтобы не отвечать на мои вопросы».

25 августа 1979 г.

Беседа с Л.М., который нападал на молодых врачей, я защищал их.

— Молодые врачи — а как знания? Если талант да еще знания, надо особо относиться. Подсолнух, роза, орхидея — разные растения и требуют разного к себе отношения. Это похоже, как если бы на культурную комиссию Моссовета пригласили работницу зоопарка. Она докладывает, что купили муравьеда, кенгуру и т.д., посадили на репу, лучок, а они и передохли. Ее бы в хлорной извести держать, а вместо того она управляла, думая, что животные подобны русскому человеку, которого на что угодно можно посадить.

31 августа 1979 г.

Похоронили К. Симонова. Несмотря на радикулит, я пошел в ЦДЛ, вспоминая, что не так давно я был с ним в Горьком, разговаривал откровенно, он подарил мне свою книгу.

В ЦДЛ было много начальства, подойдя, я встретил выходивших Суслова и Косыгина, Епишева и многих генералов. Встал в почетный караул с Солоухиным.

— В народе говорят, не в очередь он, — сказал Владимир. То есть не вовремя, рано.

3 сентября 1979 г.

Поехал за профессором Ф. Ромашовым, чтобы он посмотрел Татьяну Михайловну. Первый вопрос его об О.М. Он ее знает и помогал ей.

4 сентября 1979 г.

Л.М. сказал, что был Ромашов. Несмотря на его добрые слова ей, по лицу профессора я понял, что дело безнадежное.

10 сентября 1979 г.

Ф.Н. Ромашов.

— Для операции время упущено. Да возраст. Видимо, осталось не более месяца. Я еще заеду к Леоновым.

12 сентября 1979 г.

Обмен мнениями с Л.М. Он спросил о похоронах К. Симонова, о том, что он слышал о каком-то письме, оставленном им.

Сказал, что о письме пока не ведаю, что К. Симонов знал о безнадежности своего положения, но вел себя мужественно. За несколько дней до кончины якобы сказал А. Кривицкому по телефону: «Ничего, будем держать голову высоко, пока над ней не сомкнутся темные волны».

Л.М. говорил, что К. Симонов был ярким человеком, у которого как-то все получалось. Хотя он «прозаик журнального оттенка». Трудно говорить, что останется из его книг, т.к. наши книги хоронят вместе с нами, и они проходят тот же искуc, что и мы. Только время покажет, достойны мы незабвенности или нет».

Он вспомнил, что не имел возможности общаться с ним, но однажды решил поговорить, побеседовать по праву старшего, дать несколько советов, как человеку одаренному. Мы встретились, кажется, в кремлевской столовой. Я сообщил ему о своем желании. Он вытащил из кармана записную книжку. Листая ее, сказал:

— Очень хорошо. Во вторник у меня беседа с Рокоссовским, в среду — с Воронцовым, в четверг с утра заседание в Союзе писателей, с двух до четырех в четверг — время свободное. Удобно вам?

Я засмеялся, поблагодарил и — мы не встретились больше никогда. У писателя на первом месте должно быть творчество. Все остальное, заботы о постах, должностях, успехах — все должно отойти и подчиниться этому.

18 сентября 1979 г.

В 7 часов вечера позвонил Л.М. и сказал:

— Александр Иванович, сегодня в час дня скончалась Татьяна Михайловна.

— Леонид Максимович, я не знаю что, как сказать...

— Что тут можно сказать? Мы были у нее в воскресенье, позавчера. Она была очень слабенькая... После визита профессора Ромашова я понял, что мне надо готовиться к самому худшему...

— Да, мне он сказал, что время для операции упущено...

— Вы знаете, она была редкостно честный, добрый, светлый человек. Все мои двенадцать романов были пропущены через ее сердце, она знала в них каждую деталь. И она была добрым человеком.

19 сентября 1979 г.

По телефону:

— Л.М., были сегодня в больнице?

— Да, были. Беседовали с врачом. Ведь мы должны были приехать к Т.М. в понедельник. Нам обещали постоянный пропуск, но не смогли. А во вторник, рассказала врач, Т.М. дождалась обхода врача... Сказала сестре, что ей хочется есть. Мы в воскресенье привезли ей грибов (нашли на своем участке, а она очень любила грибы). Съела чуть, отставила, не захотелось. «Что же мне — посидеть или полежать?» Врач сказал: «Полежите, а я пока пойду к профессору». Вышла, но еще не дойдя до кабинета, была остановлена сестрой: «Больная перестала дышать». Т.М. лежала на боку, с открытыми глазами.

— Не будь ее, быть может, и меня давно не было бы. Ее заботами я всегда жил.

— Л.М., мы понимаем вас. Мы ее любили. О.М. сама не своя от печали, все плачет. Ведь Т.М. и была воплощением идеала русской женщины с ее самоотверженностью, преданностью, чистотой и честностью. Дочь крупнейшего издателя, она стала женой писателя, и книги ваши она знала до последней запятой. Однажды я показал ей в «Русском лесе» 2 неточности. Она тут же сказала: «Опечатки. Я просила Госкомиздат прислать мне на проверку все листы. А они несколько страниц не прислали».

— Где ее решили хоронить?

— Прошу, чтобы разрешили урну положить на Новодевичьем, рядом с братом, там и другие родственники, а потом рядом положите и меня. А у вас как дела?

20 сентября 1979 г.

В 13.30 хоронили Татьяну Михайловну.

О.М., слабая от лечения, настояла взять ее, чтобы проститься с Т.М. Когда мы вошли во двор Донского крематория, многие ошеломленно смотрели на нее, как на вставшую из гроба. Тоненькая, в черном пальто, она еле плелась. И все писатели, не замечая меня, бросились ее приветствовать.

Когда появился Л.М. и стал жать руки пришедшим, он заплакал, повторяя: «Спасибо, что пришли». Были Марков, Верченко, Сартаков, Стаднюк и многие другие. Татьяна Михайловна лежала спокойная, будто и морщинки на лице исчезли. Подошли дочери, Лена и Наташа, скрестили руки свои над ее лбом, как в клятве. Л.М. сразу как-то изменился, потерял свою величественность, стал будто меньше и беспомощнее.

Я пришел на поминки, когда уже все расходились. Л.М. вышел.

Рассказывал, как хоронили Иеронима Ясенского, а затем Андрея Белого — это была разрядка.

Потом позвал меня и министра лесной промышленности в свой кабинет и, уже не скрывая, заплакал, говоря, что ему не нужно жить и работать, не для кого.

— Перевернута важная страница жизни. Какая будет следующая — не знаю. И боюсь ее читать. Перед смертью Татьяны Михайловны я ей сказал: «Все, что я писал, писалось для тебя». Она была большей половиной моей. Ведь наш труд страшен. Сядишь за стол, не зная, что получится вот с этим чистым листом, что ты на нем напишешь, напечатают ли? А она спокойным голосом скажет: «Доработай. Пусть напишется. Посмотрим». Писание — это пропускание слов через лабиринты фильтров, проба слова на звук, на цвет, на все оттенки. И кто даст теперь мне горячее для работы? Она давала его мне, ведь другим нет дела. Другим надо давать социалистический реализм — эту ложь во имя величайшей идеи. Я этого не могу. Если я вижу впереди яму, я должен сказать, чтобы опасались ее? Или промолчать? Сделать вид, что не замечаешь? Но существует императив совести. Знаю, что меня наверху только терпят. Но ведь через сто-двести лет, возможно, по моим книгам будут судить о нашем времени. По моим, а не по «Поднятой целине». Между тем, когда решался вопрос о назначении мне пенсии на Политбюро и кто-то предложил «500 рублей», то не кто иной, как Брежнев сказал: «Хватит с него и 300 рублей». Зачем они мне, как и все эти ордена? Зачем, если мною, как и литературой русской, никто там не интересуется? За 20 лет никто оттуда не спросил, что я думаю о мире, человеке, обществе, литературе. Вот Сталин дважды присылал специально по этим вопросам ко мне Щербакова, но с тех пор никто и никогда меня не спрашивал об этом.

На Западе, во всем мире все еще не понимают, за что взялся русский народ. Не понимают, что реализуется величайшая, гигантская идея, лучше которой нет. Но вот она начинает компрометироваться. Все

больше и больше. Писатель должен об этом сказать, ибо если начнется «гармония распада» — это будет конец всему. «Гармония распада» — что это такое? Разрушение мира по очень точно начертанным математическим формулам. Вот горит Земля... вспыхивает — и гаснет Солнце... закипает и испаряется человеческий мозг... Это — Вселенная. Но распад общества, созданного волей и кровью многих людей, не жалевших себя — не менее страшен...

Поэтому писатели должны писать так, как видят и понимают, Это должно печататься, пусть тиражом 5 тыс., но напечатать именно то, что правдиво, безо всяких искажений отражает жизнь общества предостерегает.

— Не знаю, как вы теперь будете работать над романом?

— Не буду. Я отдал ему столько лет. Если бы мне самый ответственный человек обещал, что роман будет напечатан без искажений, я бы продолжил и закончил работу. Но вы знаете, что этого не будет.

Еще он сказал, что лучшее определение сущности красоты дал Заболоцкий в стихотворении — «заметьте — не горение, а мерцание». Последнее — не каждому дано уловить, а горение — кто-то может подойти и прикурить.

Л.М. перескакивал с одного воспоминания на другое, без всякой связи:

— Я должен благодарить за то, это на двенадцатом году моего депутатства в Верховном Совете секретарь обкома сказал: «Надо бы поинтересоваться, нет ли в Леонове кулацкой закваски?» За 12 лет до этого в тот самый момент, когда Поликарпов уговаривал меня написать «Слово о первом депутате», Берия сказал, что «надо проверить, чем дышит Леонов». Это уже после войны. Я писал о Сталине с чистым сердцем, ибо он сыграл огромную роль в разгроме фашизма. А я боялся фашизма, т. к. знал, чем он грозит России...

Мне жаль было осиротевшую семью. Растерянного, метущегося Л.М. У меня тоже ведь было две дочери. Дочерей Леонова я знал уже довольно долгое время. Обе очень талантливы и красивы. Лена — художница, очень профессиональные, с настроением ее пейзажи я видел, и они мне казались «с грустинкой». Наташа — поэтесса и архитектор, живет рядом с квартирой Л.М., и поэтому я ее чаще встречал. Ольга, знавшая ее больше, считала стихи Наташи самобытными и «не женскими» (она не любила «женских стихов»). Бедные девочки (несмотря на возраст!), потеря матери — это трагическое повзросление — ты выдвигаешься на первую линию — прикрывать некому! В день похорон Лена эмоционально, в большом потрясении говорила мне, что «для мамы отец составлял весь свет в окне. За ним она забывала и о нас, обо мне. Но я ни в чем ее не упрекаю. Плачу только о том, что она ушла, не поговорив обо всем со мной. Вы верите?»

Я поцеловал ее, погладил по голове и без колебаний сказал: «Верю». Обе они мне казались моими дочерьми, щемило сердце от их горя.

Л.М., прощаясь с Леной перед отъездом в Переделкино, сказал при мне:

— До свидания, Лена. Не думай, что я такой простодушный. Когда Мы увидимся, я расскажу тебе нечто мистическое, В 9 вечера Л.М. позвонил в Переделкино.

— Я забыл: просил ли я нас передать Ольге Михайловне спасибо за то, что она, в ее состоянии, пришла проводить Татьяну Михайловну?

22 сентября 1979 г,

Разговор по телефону утром:

— Ради Бога, простите, я вчера чего-то наговорил...

— Это не вы говорили, это горе в нас говорило...

— Ересь какую-то нес?

— Я уже не помню... Я и сам придавлен горем. Как странно, что и ваша жена, и моя заболели почти в одно время. И так тяжело. За что им такое? Ведь обе они удивительные женщины! Нам с ними явно повезло, Л.М., что у нас такие жены — обе были красавицами, умны, чисты и честны. И вот такое горе.

— Размеры его я еще не осознал. Вот всю ночь не спал... не знаю, что делать? Пойду сейчас погуляю...

— Походите, Л.М., между деревьями, они дадут вам силу. Будьте здоровы!

28 сентября 1979 г.

Уже полгода я веду борьбу за жизнь Ольги. Можно написать целую книгу только о том, как искал врачей, доставал лекарства, как досталось мне за то, что посмел обращаться «на верха» не по инстанции. Если бы по инстанции, то время уже подписало бы свой приговор. Ее лечение требует невероятного мужества. Спасибо врачам, прежде всего профессору А.И. Воробьеву. Отныне я никогда не скажу ни одного плохого слова о врачах, я видел настоящих врачей.

Звонит Л.М., надо как-то отвлечь его:

— Л.М., как вы? Смотрите в рукописи?

— Нет, сижу и смотрю в окно.

— Что увидишь ночью?

— С помощью воображения? В рукописи — в них я вряд ли буду вообще смотреть.

— Быть может, вам съездить в Болгарию?

— Да, я звонил Верченко. В конце октября поеду с Наташей...

— Вам бы отдохнуть там.

— Зарев прислал письмо, что рад будет выделить путевку в Дом творчества...

— Алексеев говорил, что вы хотите побеседовать с молодыми писателями?

— Боюсь идти к ним. Скажут, пришел учить нас. Вон я сказал, что муза не терпит водочного духа, кое-кто обиделся. И другие скажут: «Нашелся учитель». А я теперь многое знаю в нашем ремесле.

— А что нового в литературе?

— Мало радующего.

— Что ж, чтобы собирать урожай, надо сеять.

1 октября 1979 г.

Л.М. по телефону:

— Уж так пакостно, уж так гадко мне все эти дни. Начинаю только сейчас понимать, что случилось. Т.М. сделала все как мать, жена, женщина. Я не успел сказать ей что-то очень важное. В воскресенье привез ее в Кунцево. Но начался дождь. Она уговорила меня ехать домой. Проводил ее до ворот, думал: «Завтра получу пропуск, поговорю...» Завтра ждал телефонного разговора с бабой Вангой, а послезавтра Т.М. умерла. Ванга предвидела это, прислав мне только один керамический бокальчик. Это символично. Не один, а два посылают, если благополучно. Теперь хочу увидеть Вангу. Это очень важно. Вы, АИ., относитесь скептически к ней? Вы ее не поймете. У нее ведь до сих пор не зарос родничок. Вы знаете, с какими людьми я встречался. Но встреча с Вангой для меня самая значительная из всех.

— Л.М., пора вам вернуться к роману.

— Нет. У меня настроение отказаться от этой работы. Для нее нужны иные представления о мире и человеке. Книга Бытия имеет много страниц, и на каждой написано свое.

Чтобы работать над романом, нужен покой душевный и заинтересованность — этого у меня нет.

13 октября 1979 г.

Почти ежедневно говорим с Л.М. по телефону. Он собирается в Болгарию. Наташа оформляет документы. Информация Верченко о том, что с болгарями обо всем договорено, оказалась не совсем точной! Я позвонил Христо Дудевскому. Он быстро связался с Джагаровым, тот ничего не знал о приезде Леонова, выразил соболезнование ему и сказал, что Л.М. будет принят по высшему разряду.

С сообщения об этом начали разговор, Л.М. был тронут. Потом снова заговорил о том.

— Мутно живу. Деградирую. Надо изменить обстановку. Как-то передвинуть мебель в душе. Работал на износ. Единственное

возмещение труда, потери сил шло от нее. И взамен она никогда ничего не просила. Как она меня берегла! В хорошем смысле слова, это была аристократическая натура. Не раз в наших беседах возникал вопрос — как осуществить это хорошее английское пожелание — «помереть бы вам в один день». Но вот она умерла, а я лежу на диване и смотрю...

Охрип, что-то с голосом.

— Быть может, вам съездить на родину?

— Нет, будет еще тяжелее. Тут я поехал за город и... содрогнулся. Сносят целые поселки. Сносят здания, а ведь их строили наши предки. И мне стыдно моги, откуда на меня глядят вопрошающие глаза прадеда, деда, отца.

— Но ведь многое и восстанавливают?

— Вещи, которые создавались подвигом, могут сохраняться тоже только подвигом. Памятники возникали, как нервные узлы. И как таковые они только и могут сохраняться, существовать.

— Л.М., а как работа?

— Работа? Она никому не нужна. Пусть остается в черновиках. Лет через 30 какой-нибудь литературовед — монах трудолюбивый, найдет мой труд... Не уверяйте меня, что я кому-то нужен.

27 октября 1979 г.

Вечер провел у Леонида Максимовича. После утраты жены он заметно сдал, говорит очень раздраженно, употребляет даже бранные слова...

Вновь задает вопрос: «Чем объясняется постоянное настороженное отношение ко мне партийного руководства?»

Снова спрашивает: «Что для нас важнее? Социалистический реализм или императив совести? Должен ли я сказать правду народу, даже если она самая горькая, или лучше соврать во имя величайшей идеи коммунизма? Ведь перед войной я знал, что нас ждет, но не сказал, ибо боялся Сталина. Теперь я снова предчувствую возможные драмы, но никто не интересуется моими предчувствиями. Почему?»

В свое время я позволил себе невероятную смелость. Я взял героем партийного работника, если не самого первого, то второго уровня, вручил ему пару белья и, отправив в больницу, поставил в самую трудную ситуацию, затеяв спор на трудные темы. Мой герой выдержал испытание. Душевно и духовно он оказался человеком. Я думал, что за это меня будут носить на руках, меня же обругали. Сначала Горький, потом критики... Дескать, не занимается планом, ремонтом паровозов... А что делалось на обсуждении «Русского леса»!

Ведь даже в те 16 лет, когда я был депутатом, настороженное отношение ко мне сохранялось. В Архангельске, в присутствии секретаря обкома, некий верзила, стукнув кулаком по столу, заревел на

меня: «Слуга вы нам или нет?» И секретарь не призвал его к порядку. Не сказал ему, что Леонов — писатель, что его переводят на иностранные языки.

Создали фильм «Бегство мистера Мак-Кинли». Фильм 15 лет провалялся в Комитете по делам кинематографии, а Комитет защиты мира не хлопотал, чтобы его выпустили на экран, а на титре сказано: «Этим фильмом автор голосует за мир».

Что же после этого будет с моим последним романом? Хотя место действия для него я выбрал самое безопасное — кладбище. Извлек урок из судьбы Ясенского. Он интересовался не теми сферами жизни и умер в тюрьме. Я тоже хотел написать детективный роман о разведчиках, потом раздумал — вдруг спросят: «Почему вы заинтересовались разведкой?» По этой же причине отказался от задуманного романа о летчиках... В последнем романе — действие на кладбище. У меня там будет четыре отступления, в которых предельно концентрируется мысль. Стремился к емкости фразы во всем произведении.

А как встречен отрывок из романа в «Москве»? Говорят, что Чаковский сказал: «Ничего не понял». А другие? «Трудно написано»? Вот почему я и не буду заканчивать работу над ним. Я никогда не рассчитывал на особенный успех. У меня никогда не было влиятельного покровителя. Теперь уже ни то, ни другое мне не требуется...

Заговорили о книге Ардаматского «Последний год». Леонид Максимович читал детектив с интересом.

— Но характеры не разработаны, фигуры вне фокуса. Что касается Распутина, то он дал его не столь грубо, как Пикуль. Вообще подобные фигуры будут показаны в подлинном свете лет через сто, когда возможна будет объективность. Тут главное то, что история — не в Распутине, и нужна не полемика, а анализ... Не настало ли время заботиться о нашей репутации? Поймите, я никогда не выступал против социалистического реализма, но ныне нам нужно объективное, мужественное искусство, говорящее только правду.

— Леонид Максимович, не считайте меня главным адептом соцреализма, хотя я и писал о нем. Занимаясь теорией соцреализма, я не был талмудистом и ортодоксом.

Мои попытки сказать о том, что наша литература не ограничивается рамками соцреализма, что необходимо в теории ввести понятие социалистического искусства, что в советской литературе имеет право на существование романтизм, были встречены таким сопротивлением! Д. Марков и другие за романтизм били меня головой о стенку так, что я дал себе слово не заниматься больше теорией литературы, хотя необходимость творческих переоценок многого в теории соцреализма мне давно ясна. Не надо примитивно оценивать соцреализм — это не простое явление. Но ясно то, что «неистовые ревнители» соцреализма часто используют его для травли писателей за малейшее отступление

от его канонов. А по моим наблюдениям, самые выдающиеся и талантливые советские писатели не стесняются себя правилами соцреализма, часто дурно истолкованными так называемыми теоретиками. Посмотрите, сколько у Шолохова выходов за ограду теории соцреализма? И что? Важно, чтобы это сближало литературу с жизнью... Мне кажется, что надо смотреть конкретно на творчество каждого писателя и что и теория соцреализма должна развиваться.

1 декабря 1979 г.

Позвонил Леонид Максимович и сообщил, что третьего дня вернулся из Болгарии, где провел три недели. Десять дней отдыхал в санатории, сидел один раз в президиуме. Все было тепло, дружелюбно, заботливо. Был у Ванги. На этот раз советов не давала, была скупа на слова, но я очень доволен беседой с ней.

И вот теперь вернулся на пепелище, хожу, брожу, не работаю. Надо страховать дачу, платить сторожу, секретарю, а не знаю, сколько, и что, и как...

Как вы смотрите на персидского шаха? Я видел американцев. Это хитрые и умные политики, за спинами которых мешки с золотом... И вдруг какой-то Иран заставил их шлепнуться мордой в грязь.

Рассказан о выставке современной американской живописи в Софии.

...Растирают краски ногами и ногами же рисуют. Жулики называют это искусством и — богато живут.

Перечитал там Л. Андреева. Чудовищно слабо, психологически примитивно (спекуляция на ожидании героями смертной казни). Но с популярностью Л. Андреева считались и Горький, и Толстой.

13 января 1980 г.

Вернулся из больницы и узнал, что Л.М. отправился на операцию. Позвонил ему.

— Вчера приходили пять врачей во главе с Малиновским. Считают, что надо меня оперировать. Дал согласие. Мне все равно.

18 января 1980 г.

Л.М-чу сделали операцию. По телефону:

— Плохо, очень плохо чувствую себя... Вырезали часть желудка, меньше, чем собирались. Сегодня Малиновский сказал: «Считайте, что выиграли 100 тысяч!» А зачем они мне? Если бы знал, что будет так больно, ушел бы обычным путем... Никого не хочу видеть. После ухода Татьяны Михайловны я стал на многое смотреть иначе: вроде теперь

туда проторена дорожка верным человеком, поэтому все становится проще.

23 января 1980 г.

Леонид Максимович говорит:

— По-прежнему чувствую себя плохо, радуюсь снотворному уколу. Плохо — психологически. В особенности плохо от того, что рядом лежала Т.М., а послезавтра — Татьянин день. Низкий поклон Ольге Михайловне. Я знаю, что она мужественный человек. Все эти дни она звонила мне. Мы с ней подолгу разговаривали. А Наташи в Москве нет, уехала в командировку. Как ваши глаза? Это наш главный инструмент.

4 февраля 1980 г.

— Только теперь разгадывается понимание той потери. Находит страшная слабость так, что хочется сказать: «Прими с миром дух мой!»

— Заниматься работой, чтобы отвлечься? Мы сейчас не ко двору, так как мышление в любом проявлении не нужно. Еще апостол говорил: «Философия — блуд». Я и на операцию согласился с тайной надеждой: «Роман в сундук, автора — в яму». Потерял последний импульс в работе. Вы знаете, что меня не баловали ни читатели, ни критики. И я привык к тому, что писал не для читателя, а для Татьяны Михайловны. Я рассказывал ей все, до мельчайших деталей. Если она отвечала молчанием, я знал, что писать не надо. Если она загоралась вместе со мной, я садился за стол. Потом читал ей. Потом она читала. И я знал: прочтет — этого с меня довольно. Так я прочел «Евгению Ивановну» и положил в стол.

За неделю до смерти Татьяны Михайловны успел ей сказать, что все писал для нее. Она засмеялась: «Спасибо!» А теперь... не вижу своего читателя. Внутренне разваливаюсь. Как перееханный автобусом. Помню — мальчишкой: какой-то парень бросился с памятника Александру в Кремле, разбился, лежит, раскинув руки, поводит глазами. Вот я на него сейчас похож.

3 апреля 1980 г.

Л.М. по телефону:

— Почти не сплю. Лежу, размышляю, что-то записываю, а утром не могу разобрать собственных слов. Прошусь в «Сосны». Там белый снег, а тут черный воздух. Меня даже физически пошатывает... К роману не вернусь. Нет человека, который бы мне помог, понимал бы меня с полуслова. Таня говорила, что в романе есть настоящие находки. Ну, напечатают... и такие статьи обрушат на меня... Зачем мне это надо? И как без нее я это выдержу?

15 апреля 1980 г.

С 7 до 11 вечера были с О.М. у Леонида Максимовича. Очень изменился. Ошеломил его внешний вид. Похудел (оттянул резинку брюк и показал, как похудел), стал будто меньше, постарел, стало заметнее повреждение когда-то правой стороны лица. Лицо стало маленьким, а глаза больше и светлее, голова совсем поседела, а когда-то прекрасные густые волосы поредели. И в одежде заметно отсутствие Т.М., которая следила за ней, чтобы он был ухожен и элегантен, красиво одет. Он теперь заброшен.

Сказал, что не работает. Снова повторил, что писал для Т.М. всю жизнь... Чтобы закончить, надо помощника, который бы все знал в романе, помнил все, куда поставить вставки, в какую редакцию «вживить их».

На вопрос О.М., о каком времени роман и когда он начал его, Л.М. отвечал:

— Начиная, примерно, с 1940 года, а задумал сразу после «Метели».

— И в военные годы занимались им?

— Да, но только после войны (1946 г.) написал около 5 листов и отложил, потому что развернулась работа над «Русским лесом». После окончания этого романа вновь возвратился и снова оставил, так как стал переделывать «Вора». Отложил снова, работал над 3-ей или 4-ой редакцией «Евгении Ивановны» (их было много). В результате нарушился цикл, ибо каждые 5-7 лет человеческий организм перестраивается биологически и в этот цикл должна укладываться работа В над произведением.

О.М.:

— Какие же события и эпохи отражаются в романе?

Л.М.:

— Это неважно, хотя можно и рассказать. Но вот я читаю Пришвина, и он похваляется, что никогда и ничего не выдумывал. А я всегда работал с вымыслом. Так работали те, кто создавал мифы. С тем вымыслом, который становится сам краской. Миф позволяет более глубоко проникать в сущность главного.

О.М.:

— Снова показывали по телевизору «Бегство мистера Мак-Кинли». И мне опять кажется, что вы обладаете даром предчувствия и предвидения. Может, не обязательно атомных катастроф, но каких-то грандиозных потрясений.

Л.М.:

— У меня были там такие прозрения, которых я сам испугался и снял в печатном тексте. В романе тоже это есть. Мне кажется, что человечество запуталось в суе — сапоги, Хрущев, Афганистан... В каком направлении идти? Если я знаю, где, в какой точке я нахожусь,

мне легче понять и прошлое, и будущее. Я того мнения, что в неизвестном все правдоподобно. Вспомните «Безумцев» Беранже.

Когда ищу нужные слова, я думаю не только о переходах настроений героев, но и пытаюсь рассмотреть за словами двадцатый план изображаемого. Это — безумно трудная работа, но если найдешь — единственная компенсация за адский труд.

Когда я был в Англии, их знаменитый писатель, приложив руку сначала к голове, потом к сердцу, сказал: «У вас и тут, и здесь много!» Мне это было приятно.

Сообщил, что баба Ванга нечто вроде трансформатора, через который идет общение умерших с живыми. Иначе откуда ей знать, кто лежит в могиле рядом с Т.М.? Или откуда ей знать, как звали ребенка, что умер лет трех и даже родственники уже не помнят о нем?

О.М. выразила сомнение, что к Ванге не доходят какие-то сведения о нем, даже малоизвестные факты.

— Да, но назвала имена всех похороненных родных рядом с Т.М., сказав «тут их много, они из двери в дверь».

— Л.М., вы же знаете, «пути Господни неисповедимы», что-то дошло до нее.

— Скажите, пожалуйста, откуда в ваших ранних рассказах интерес к Востоку? Я понимаю, что, возможно, это только оболочка для вашего мышления, своего рода мифы, чтобы выразить в них понятия о философских истинах. Знаю, что в это время и художники — Крымов, Лентулов, П. Кузнецов — были склонны к восточным мотивам. Но я не почувствовала стилизации во всем этом. Поразила сила характеров, патриотическая направленность.

— Ну, знаете у русских всегда интерес к Востоку... «Скифы мы с раскосыми очами», читал записки визиря Чингисхана, читал Баязета, увлекался Востоком, а потом разочаровался. Литература Востока меня не увлекает. «Я тебя люблю, ты — меня». У африканцев тоже — иду, что вижу, то пою. 8 км в час, а если витамины, то и больше. Впрочем, я не знаток, может, я ошибаюсь, но и психология восточных героев мне не ясна. И насчет «скифов» я не совсем согласен. Другими я вижу своих соплеменников.

Слушал по радио «Детство» Горького. Это так легко написано! Словом как владеет! Даже 2 раза прослезился, а Горький часто плакал.

Да, Горький поддерживал, и это меня вдохновляло.

Снова стал говорить о жене: «Когда женился на Татьяне, не знал, чем буду кормить. Она из богатой семьи, а я в первом поколении интеллигент. Думал, что икрой богатые питаются. Но она никогда ничего не просила, не жаловалась на трудности. Даже, когда была больна, на даче с трудом поднималась по лестнице, но без жалоб».

О.М.:

— Хорошо, что умерла без мучений.

Л.М.:

— Она любила стихи и даже в больнице их держала.
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.
Да, все умерли из моих друзей (Тихонов, Федин, Кафтанов, Зуев и др.). Даже позвонить некому...

28 апреля 1980 г.

Встретился с В. Чивилихиным, который часто бывал у Л. Леонова, у них сложились добрые отношения. Сейчас он был раздражен. Ополчился на всех, в том числе и на великих писателей:

— Есть вещи непостижимые. Л. Толстой купил даром около 30 тысяч га земли в Башкирии, а вот поехать на место, где была Куликовская битва, не удосужился. И ни разу о ней не упоминает. Сегодня «верха» тоже не создают юбилейного комитета. Лапин написал черным по белому, что в предложенных нами торжественных мероприятиях телевидение участия не примет. Знаменательно?

Я рассказал ему, что был с Ольгой Михайловной у Леонова, она записала с ним разговор, который длился более 3-х часов. Чивилихин часто и подолгу разговаривал с О.М., у них были общие знакомые, в том числе и Грум-Гржимайло, о которых он писал в «Памяти». Но теперь он был раздражен:

— Знаешь, надоел мне этот старик. Сам давно отошел от всего в сторону. Его упадочные настроения действуют мне на психику и мешают работать. А с О.М. (впрочем, это на нее непохоже!) ведет «потусторонние разговоры»? Пусть ведет такие разговоры, а я с ним встречаться не хочу.

Расхождения Володи с Л.М., который его очень любил, по-моему, начались с тех пор, как Л.М. сделал ему доброжелательные замечания по роману, в том числе сказав, что надо разделить роман-эссе, так как в нем много не связанного между собой. Ему нравилась часть о Козельске, но не нравилась линия декабристов, письмо моему моему монгольскому другу... Что ж, я тоже Чивилихину это сказал, но от критика он принял спокойнее...

1 мая 1980 г.

После взаимных поздравлений мы с Леонидом Михайловичем перешли к фрагменту из романа, опубликованному в журнале «Москва».

— В борьбе за мир надо не только обличать поджигателей, но показать пожар, который они готовы организовать. «Осторожно, ток в миллион вольт!» — вот смысл моего романа. Думал, что отрывок перепечатают другие журналы, газеты. Нигде не перепечатали...

После всего, что было, самому мне уже не страшно. Уголок для меня приготовлен, хозяйка там.

4 мая 1980 г.

Позвонил Л.М. в 10 вечера, Приветствуя, спросил: «Нет ли чего отрадного в литературе?»

— Перечитал «Берег» Бондарева. Хороший писатель. Лучше, сильнее, чем у некоторых знаменитостей. Я уловил много автобиографического. Есть детали, которых придумать не мог. Конечно, есть фиоритуры. Много не обработано как следует. Можно навести критику, но в целом — хорошо. Свои характеры, свой почерк у автора. Точные определения, хорошие эпитеты.

Я заметил, что согласен со многим сказанным, но есть и однообразие, выработанность, ненужная гладкость языка.

- Это ничего. Один пишут темперой, другие — акварелью, третьи пастелью, И это вполне законно. Конечно, когда он рисует характер Эммы, я сомневаюсь в точности. Надо знать хорошо психологию немцев, знать немецкий язык, чтобы передать подлинную глубину души Эммы убедительно.

Читал статью Панкина в «Советской России». Кажется, единственно моей фамилии не названо. Видно, покойником считает, и не заботится о том, чтобы мои произведения появились за рубежом. Что за очередной гастролер в критике?

— Л.М., вам незачем обижаться на подобное. В 70-е годы в США были переизданы «Барсуки», «Соть», «Скутаревский», «Дорога на Океан», «Русский лес».

— Да что вы говорите! Напишите им, чтобы прислали хоть по экземпляру. Может, не разорятся!

30 мая 1980 г.

По Москве ходят слухи о том, что неожиданное превращение Брежнева, вдруг обретшего резвость в ногах и бойкость речи, связано с тем, что его лечили парапсихологи, прежде всего легендарная Джуна из Тбилиси. Поэтому, дескать, было разрешено Спиркину выступить в «Известиях» с «откровениями парапсихолога». Добавляют: они подняли Косыгина, вылечили жену Байбакова. О.М., страдавшая от тяжелого лечения, тоже хотела попасть к Джуне.

Я позвонил А. Софронову в «Огонек» — не знает ли он ходов к Джуне?

— Сегодня с нею встреча! Приходи!

Я обрадовался, пришел ровно в три часа. Все места были заняты. Долго рассматривали фоторекламу на стенах, так как Джуна и представляющие ее врачи из поликлиники Госплана опаздывали. Вел

встречу зам А. Софронова — Иванов, потом зав отделом науки — Сережа Власов, зять М. Алексеева. Главврач поликлиники И.П. Чекмарева представила Джуну, сообщив, что было отобрано 10 больных, страдающих остеохондрозом, язвой. 9 из них почувствовали облегчение. Невропатолог говорила, что Джуна лечит острые заболевания периферической нервной системы, зачитывала медицинские показания до и после лечения у Джуны. Чекмарева сказала, что Минздрав их не одобряет, вызывали Джуну и требовали «бросить колдовство».

Выступила Джуна:

— Не буду говорить о себе, меня называют уникамом, феноменом... Не знаю. Просто я хочу помочь больным людям и лечу их, как наши дедушки, бабушки лечили друг друга и нас. Когда у мамы болит голова, сын тянется к ней ручонками, гладит больное место — становится легче... Вот так и я. Если по часовой стрелке 6 раз обвести прыщик или чирей несколько раз в день — его не будет. Вот я поднимаю руки. Поднимайте и вы. Я посылаю толчками рук вам биотоки. Чувствуете? (Голоса: «Чувствуем! Покалывание!») А кто не чувствует, тот просто мне не верит. Не знаю, уникам ли я, но я вижу людей в цвете и по этим цветам могу сказать даже через полчаса о прошедшем по этой дорожке человеку, какого он роста.

По силе биотоков решаюсь судить о том, что болит у человека.

Сергей Власов скептически заметил, что она лечила его от насморка, но на другой день насморк вновь появился.

Джуна:

— А ты расскажи ту историю...

Сергей:

— Это когда ты поссорилась с американцем, а потом стала махать на меня руками, и я потерял сознание?

Выступил Ю. Семенов: «До каких пор мы будем жить по приказанию: “Это — хорошо, а это — плохо, это — можно, а это — нельзя?” В свое время отрицали кибернетику, генетику. И до сих пор в школе запреты. Мы должны вызвать сюда министра просвещения и прямо сказать, что школа захирела, что она способна поставлять лишь кадры для МГИМО, где от человека требуется лишь умение не рассуждать. Если где у нас еще теплится мысль учеников, так это в вечерних школах».

«Особенно в блатной вечерней школе, где учатся избалованные писательские детки», — подумал я.

Профессор Липаев предложил свою теорию объяснения «феномена Джуны».

Софронов сказал, что он говорит принципу «нет» решительное нет. А почему не да? Ведь все-таки она вертится!

Я сидел молча. Слушал. Биотоков, посланных в зал, не ощутил.

В перерыв спросил у Джуны: «А гематологических больных вы пытались лечить?»

— Пыталась.

— Получалось?

— Получалось.

Когда я сказал Леониду Максимовичу, что познакомился с Джуной, он с завистью заметил:

— Нам не попасть. У нее лечатся члены Политбюро, начальство, а также Андроников, Р. Рождественский, Гамзатов. Где уж ей до нас?

Но в понедельник мы — Леонов, Ольга и я — уже ехали на улицу Усиевича, д. 23. На углу, напротив кинотеатра «Баку», нас встретил Сергей Власов, молодой, красивый, улыбающийся скептик, и доставил прямо в объятия Джуны.

У дома, на лестницах до 8 этажа, в прихожей, в первой комнате стояли «жаждущие исцеления». Много детей. В другой комнате расположились явно элитные больные. По очереди поднимаясь, больной выходил на середину комнаты, где стоял стул, садился, а черноволосая, тоненькая, элегантно одетая женщина поднимает над ним руки, проводит сверху вниз, описывает овалом его, вращает руками перед грудью, по часовой стрелке, потом стряхивает что-то с рук. Минуты две — и сеанс окончен. При этом она говорит то с одним, то с другим из сидящих, отвечает на вопросы мужа, делает замечания пяти-шестилетнему сыну — озорному и бойкому мальчонке. Проведя перед Леоновым руками сверху вниз, она сказала, что у него болят спайки, есть гастрит. Он удивился точности диагноза. Ольге на сеансе она сказала, что химиотерапию отменять нельзя, но что она облегчит ей, снимет головные боли и что лечение начнет через 2 недели, когда вернется из Тбилиси.

— К этому, А.И., нельзя подходить рационально. В это надо поверить, как в чудо. Я так подхожу и — верю, — сказал Л.М.

2-3 июня 1980 г.

Мы — на первом сеансе. И на втором — ждем, когда Джуна позавтракает. Все сидят благоговейно, молча. Вбежал сынок Джуны, открыл дверь на балкон, подставил голову под струи дождя.

— Простудишься, — сказал кто-то.

— Ну и что, — возразил я. — Тут же его вылечат.

Заметил, как все, отворачиваясь друг от друга, стеснительно стали усмехаться.

Леонов сидел неподалеку от широкоплечего лысого почти во всю голову человека с орлиным клювом. Человек этот особенно напряженно смотрел на дверь, за которой находилась Джуна, как бы ожидая чуда.

— Крупный марксист, — прошептал мне Леонов.

— Знаю я этого марксиста — профессор Панцхава, заведует кафедрой атеизма в МГУ, — ответил я. — А прежде работал в МОПИ и, говорят, хотел добиться присвоения имени Берия этому институту. Я учился там, в аспирантуре, а он ведал кафедрой философии. Я к нему не имел никакого отношения, но моя невеста с ним не поладила в его аспирантском семинаре, о чем-то поспорила. Так он после моей защиты, когда я уехал в Горький работать, объявил на ученом совете мою диссертацию космополитской. А тогда это было не шутка. Мой научный руководитель профессор Глаголев Н.А. и директор института Власов Ф.Х., писавший о вашем творчестве, защитили меня, но и они побаивались его связей. Так что этого «марксиста» я знаю давно.

Вошла Джуна и началось лечение. Я сидел на стыке 2-х комнат, у открытой двери.

— Войдите, — пригласила она меня.

— Нет, я здоров. Сопровождаю Леонида Максимовича и мою жену.

— Войдите, полечу.

— Благодарю.

Панцхава заговорил со мной, будто ничего между нами не было. Сказал, что лечится от зачатков болезни Паркинсона. Ираклию Андроникову помогло, Бруно Понтекорво — нет, и он едет в Италию. Ираклий же обрел сон, остроумие.

Леонид Максимович во время сеанса стоит, чуть наклонив голову направо, руки держит по швам. Погружен в себя, отрешен.

5 июня 1980 г.

Встретил у Джуны Р. Рождественского с женой.

— Помогает?

— Ираклию помогло. Он даже выступил с речью на юбилее М. Шолохова. Во всяком случае, не повредит.

Когда мы едем к Джуне на машине, которую берет Л.М. в Академии, то мы говорим обо всем.

Л.М. вспоминал, что Горький в беседе с ним говорил, что надо построить дом, собрать в нем народных лекарей, колдунов, знахарей и всех других людей этого рода. И пусть бы они на отдыхе поделились тайнами, секретами природы, которые сумели подсмотреть. Не все среди них жулики. Есть и очень талантливые люди, зоркие, проницательные. Л.М. добавил: — Много упущено. Но пока не поздно, надо собрать урожай с этих стариков и старушек. Я, например, знал одного старика, обладавшего загадочной способностью по корню Петров крест предсказывать урожай следующего года. Суеверие? Ничего подобного. Народ приметил и проверил.

Л.М. спросил:— Слышали о деле Ишкова? О счете в швейцарском банке.

— Закрыто дело. Косыгин сказал, что верит в личную честность Ишкова.

— И тем не менее, если счет в швейцарском банке за проданную рыбу и икру, вы понимаете, что это означает: микроб остается живым и в кипятке — значит, плохо наше дело.

— А разговоры о В. Распутине, который якобы пошел прогуляться в американских джинсах и за то, что не захотел их отдать, ему сломали ногу, проломили голову? Это страшно.

— А.И., как вы относитесь к Ч. Айтматову? Откуда такой успех у него?

Я объяснил, как считаю:

— Его герои выступили в неожиданном душевном богатстве. Джамия — вариант Наташи Ростовской. Открытия Шекспира и Толстого предполагается заново открыть в Киргизии. Подумать, какой прогресс в результате революции! Мне кажется, что в его произведениях больше от прочитанных книг, чем от реальности. Но талантлив бесспорно.

— Я прочел повесть «Прощай, Гюльсары!» Это ловко написано. Автор талантлив, но во всем произведении элемент чистописания, книжности. Видите ли, киргиз вряд ли может так относиться к лошади. Они едят лошадей. Любование конем хорошо для Толстого, английское седло, уздечка, прогулки на лошади. Крестьянин относится иначе. Киргизы — по-своему. И потом: иноходец запряжен в телегу? Чем же этот писатель так зацепил читателя?

— Этот вопрос всегда волновал меня. Я, например, не понимал причину успеха «Бронепоезда» Всеволода Иванова. Зажатый с двух сторон партизанами, Незеласов мечется туда-сюда. Он так много пролил невинной крови, что не ждет пощады от красных. И вот, чтобы остановить бронепоезд, на рельсы ложится китаец-красноармеец. И бронепоезд останавливается. Помилуйте, да если бы на рельсы лег весь Китай с Индонезией впридачу, Незеласов, не задумываясь, переехал бы через них.

6 июня 1980 г.

Л.М. жалуется на общее состояние. Болят рубцы. Рассказывает, что его пригласил Левчев приехать в Болгарию, побеседовать с писателями. «Мне показалось, что он мне не симпатизирует. Но зачем тогда приглашать?»

— Понимает, что такое Леонов для славянских литератур. Писатель Леонов не зависит уже даже от вас.

— А.И., не будем строить иллюзий. Я же знаю, что меня здесь только терпят. Не понимаю только, почему ко мне настороженно относятся Астафьев, Распутин, Носов и другие писатели. Никто из них не пишет мне, ни один не прислал телеграмм к дню рождения.

— Л.М., я говорил об этом В. Распутину. Он сказал, что написал, но не решился послать, чтобы не подумали, «что я набивался в знакомые». Все стесняются вас беспокоить, это скромность, хотя я признаю, что она ни к чему. Лучше бы они оказали внимание и поддержку старшему коллеге.

— А как вы относитесь к Астафьеву, читали вы его произведения?

— Все читал и еще раз просматривал. Очень талантлив. Отличное знание жизни, материала, на котором работает. Сочный такой, крутой язык. Но никак не могу понять, чего ему не хватает? И куда он клонит?..

После сеанса у Джуны Л.М. рассказал несколько веселых анекдотов. Над одним из них мы очень смеялись:

— Дворничиха родила 9 детей. Соседи ее уговаривают: «Роди десятого, будешь мать-героиня». Да муж вон какой крючок, не может». «Уговори вон Ваньку». Уговорила за 200 рублей, но денег не было, дала расписку. Родила от Ваньки, а 200 рублей не отдает. Он заявил в суд, приложил расписку. Судья принял соломоново решение: «Взыскать алименты!»

8 июля 1980 г.

Почти всю неделю сопровождал О.М. и Л.М. Леонова к Джуне. Л.М. стал очень капризен, ворчлив, исчезла будто появившаяся веселость. Все время стонет и жалуется; сидя в машине сзади, я вижу его серенькие волосики, пучками свисающие на шею, ставшую такой тоненькой, что ее можно охватить большим и указательными пальцами. «Перешли все костюмы», — вздыхает он. О.М. поправляет ему галстук, он говорит. «Без жены — все так же, но все хуже: сорочка не так тщательно выглажена, прическа не та...»

О.М. по дороге огорчается, что еще одну церковь не привели в порядок. Л.М. вспоминает, как у Горького на обеде уговаривал Л. Кагановича не разрушать Сухареву башню, а тот вопил: «Не могу, не могу, мешает движению». Потом рассказал, что Сталин спросил у него: «Леонов, Вы говорили о даче. Сейчас освобождается дача Каменева. Не займете?» Я ответил, что не хочу ничем быть связанным с этим именем. Он засмеялся и сказал: «Я тоже так думаю».

Между тем, у Джуны вижу многих литераторов. Феликс Чуев приводит девочку, которую Джуна лечит от близорукости. Позавчера пришла Белла Ахмадулина. Одета в белые брючки, белую курточку, бледненькая и измученная. Джуна вся в черном, тоже красивая, волевая.

— Пьете?

— Уже третий день не пью, — отвечает та.

— Не пить, не курить. Тогда попробую вам помочь.

Елизар Мальцев благоговейно взирает на Джуноу, как она работает руками. Егор Исаев произносит речи о чудодейственности дара Джуны.

Сегодня он бросился грудью на мою защиту, когда Джуна разозлилась. Она все звала полечиться, а я отнекивался. О.М. сказала, что у меня очень плохое зрение, а поэтому я крайне нуждаюсь в лечении, но что я скептик. Джуна подняла крик, видно, настрадавшись от своих противников.

— А, скептик, значит? Я — знахарка? А кто поможет людям? Врачи? Они часто убивают химией и другими способами, а все сваливают на болезнь. Вот как создам поле вокруг вас! — угрожает Джуна. Слабая от болезни, Ольга начинает молча плакать. Егор заверяет Джуну, что я хороший человек, но «Фома неверующий» и насмешник. Джуна утешает Ольгу, говоря ей, что ее силы только для добра и на зло не направлены.

10 раз мы съездили к Джуне. У О.М. будто стала меньше болеть голова. Л.М. все больше тяготился тем, что на сеансе он был в комнате, где сидело еще человек 7—10. «Подобная работа должна быть таинством, наедине и серьезно, а эти двухминутные сеансы...» С О.М. они принесли Джуне серебряные сувениры, денег она, похоже, у «элиты» не брала. Так закончилось лечение — может быть, и на пользу?

3 сентября 1980 г.

Выступая на партсобрании Московского отделения Союза писателей, О. Резник рассказал, что, работая в ГИХЛе, он ведал молодыми и, по просьбе Горького, посылал ему рукописи молодых. Горький читал, давал отзывы, анализировал рукописи. Он считал, что одну книгу, первую, может написать любой, писатель же начинается с третьей книжки. Кто-то возразил:

— А как же вы, Алексей Максимович, дали самый высокий отзыв о первом романе Леонова «Барсуки»?

На это будто Горький ответил:

— Леонов хитрый. Первые свои произведения он оставил в письменном столе.

Между прочим, «Барсуки» не были первой книгой. И действительно, самые первые свои рассказы он не опубликовал до «Барсуков», хотя потом что-то из них использовал. Об этом он сам мне сказал.

6 ноября 1980 г.

Л.М. возвратился из Болгарии, где находился с Наташей 35 дней. Были они недалеко от Пловдива. Доволен отдыхом. Приглашал нас с О.М. сегодня вечером.

Как всегда, едва дверь открылась, Л.М. вышел из кабинета в своих войлочных, темных тапочках. Постарел, усох. Глаза печальные. Что-то и отдых не помогает...

Начался рассказ о Болгарии:

— Дом отдыха в чудесном месте. Часто выезжали. Почти всюду спрашивали, когда будет новый роман. Был у бабы Ванги. Спросил, надо ли мне взять помощника, чтобы закончить роман. Ответила: «Тебе дан талант одному и поэтому работай один». И еще удивительные слова сказала: «Тебе хочется остаться в литературе, но не на том уровне, на котором ты находишься, а на уровне твоего нового романа».

Отвечая на упрек О.М., сказавшей, что она слышала уже несколько вариантов романа Леонова, но хотелось бы от самого автора узнать содержание его, Л.М. стал рассказывать:

— У меня там несколько планов. Один из них — противостояние земли и неба. Второй план связан с заимствованием из Корана легенды об ангеле, у которого расстояние между глазами 80 тысяч дней пути. Он делит расстояние пополам, и еще делит и еще — без конца, пока не доходит до необходимой точки и в этой точке спускается на землю, на кладбище, — тут разворачивается его судьба, переходя в следующий план, связанный с судьбой болезненной девушки... Здесь действуют и Бог, и ангелы — это не помешает публикации?

В роман входит и наше время, и прошлое, и будущее в виде обрамлений. «Мироздание по Дымкову» — из такого обрамления. Идут поиски формулы Бытия. Это можно сделать, положив Вселенную на ладонь и рассматривать все. Ученым кажется, что надо идти изнутри. Но ведь в этом случае, взобравшись по одной лестнице, мы упрямся в следующую, одолев ее, окажемся перед новой и никогда не дойдем до цели.

Рассматривая же Вселенную снаружи, держа ее на ладони, мы можем проколоть ее, как иглой, лучом, и схватить суть ее в целом и в конкретности. Можно описать Вселенную в виде книги, можно выразить в формуле или в виде Слова. Когда говорилось: «Вначале было Слово», не зря говорилось. Я уверен, что суть Вселенной можно выразить в виде иероглифа.

Мне кажется, что некоторые ученые из Академии поняли, о чем я говорил, и технократы иногда выражают мне уважение, хотя, как я заметил, они, кроме себя самих, мало кого уважают.

Я слежу за тем, что пишется о Вселенной уже лет 20, читая все на эту тему, и мой вывод об иероглифе не беспочвен. Недаром Эйнштейн находил общее между теорией относительности и Достоевским.

— Что-то не верится. Любое математическое построение имеет свою логику, а поведение героев Достоевского часто непредсказуемо. Только дочитав роман, можно попытаться увидеть обоснованность действий героя, может, и Вселенная тоже понятнее в своей целостности?

— А я считаю, — сказала О.М., — что ваше, Л.М., чрезмерное увлечение научными проблемами Вселенной может нанести и какой-то урон литературе. Я понимаю, что вы сейчас изложили не содержание романа, а его философский, что ли, остов. Важно, чем это насыщено? Наука наукой, Бог с ней, она приносила и добро и зло нам. А область

литературы — человеческая душа — разве не Вселенная, еще недостаточно отраженная, несмотря на гениальных писателей? Ведь новое время вносит в душу человека не только традиционное, что мы узнаем от Шекспира, Пушкина, Толстого, Достоевского, но и новое, что хотим узнать. Что мне до Вселенной, если, даже только задумываясь о ней, можно съехать по фазе? При слове «бесконечность» мне становится не по себе, зябко. Слава Богу, что есть земля, где мы можем спрятаться от этой бесконечности, этой холодной Вселенной. Пока мысль, наука не постигла главного в ней, не поняла, что это такое в полной мере, я боюсь Вселенной. Даже великий Данте с заоблачных высот сфер Рая и Чистилища, где много схемы в изображении их, вынужден был спускаться на землю в «Аде», вникать во все дела любимой им Флоренции. И именно это придало ценность «Божественной комедии». Поэтому мы читаем его, а не потому, что поэт витал в высоких сферах теологии и философии тех времен. Человек, конечно, не человек, если он забывает о небе, а думает только о своих куцах. Но все же ближе земное.

Леонид Максимович с удивлением посмотрел на нее, внимательно выслушав. Не знаю, было ли это от того, что она не поддержала научные изыскания в области Вселенной или он что-то нашел в ее возражении?

Перешли к коммунизму:

— Коммунизм я представил себе как в совершенстве отлаженное общество, где из всего делается все, где люди свободны от забот об еде, одежде, жилище. Заняты решением беспримерных задач. Если они говорят, то говорят не о мелочах, а о предназначении человечества, его преобразующем потенциале, устройстве Вселенной, Боге.

И вдруг спросил:

— Как вы считаете, возможно возрождение русского народа?

4 декабря 1980 г.

Разговор с Л.М. по телефону:

— Да, на съезд пойду. Не работаю, имею право поленился. Читал Айтматова. Не очень понятен по материалу. Зачем понадобились инопланетяне? Боится сказать прямо? В художественном отношении не сильно... Помните, Айтматов заявил в интервью французам, что русский народ исчерпал себя, свой гений. Читая роман, что-то не почувствовал, что он обгоняет русскую литературу, хотя и пользуется ею, как ученик. Чингиз, Тимур — что за возрождение подобных агрессивных имен? Разве у киргизов, узбеков, туркмен нет других имен? Раньше я что-то таких имен не слыхивал.

О положительном герое в связи со спорами в критике сказал:

— Человек интересен во всех своих сложностях, несовместимостях. Он дышит, говорит, плюется... Абсолютная положительность — смерть

и для человека, и для героя. Если принципы соцреализма применить в их абсолютности, то литература превратится в нормативную схему.

8 декабря 1980 г.

На пленуме перед V съездом писателей РСФСР к А. Суркову подошли Троепольский и я.

— Здравствуй, Алеша, — сказал Троепольский, — мало нас осталось. Просыпаюсь утром, почему-то думаю о роще. Когда-то нас была роща, а теперь отдельные деревья, каждое стоит одиноко... Ты, Леонов. Как он? — обратился Троепольский ко мне.

Сурков сказал:

— Конечно, Леонов не подлежит суду нашему и нашего времени! Многие из нас будут забыты, как забыт уже Кирсанов. Какой был виртуоз, как умел вывернуть слово! А сегодня о нем забыли. Леонов же не подвержен такой участи.

27 января 1981 г.

Звонил Л.М.:

— Вы дома? Зайдете? Гриппа у нас нет, приходите с О.М.

Пришли в 8 вечера и просидели до 11.30. Встретил, как всегда одетый в пиджак, при галстуке. Склонился в поклоне перед О.М., провел в гостиную, где на столе уже были чашки, фрукты. Трогательно было его желание соблюсти традиции гостеприимства, как при Татьяне Михайловне, хотя все заметнее становилось ее отсутствие.

Рассказал, что Ванга «вела себя уклончиво». На вопрос — закончу ли я роман, успею ли, отвечала: «А тебе обязательно держать его в руках?» Спросила: «Почему я убрал пальму?» А я убрал ее потому, что она ежеминутно напоминала мне Татьяну Михайловну, любившую сидеть под этой пальмой.

— Роман? У меня накопилось до 1000 вставок. Все их надо вживить, вот так осторожно разрезать, вставить и сжать все капилляры, иначе кровь вытечет из всех жил.

— Когда я пишу, то должен видеть весь лист, место в нем абзаца. Вычерки в абзаце мне мешают видеть существо. Знаете, вот чернильница, вот стол, вот Горький. Если чернильница занимает во всем повествовании какую-то значительную роль, то и абзац о ней может быть большим, а если Горький, то о нем вся страница. Для меня важна и графичность абзаца.

Л.М. заявил, что гордится тем, что переписал роман «Вор».

— Некоторая непрочерченность отдельных линий была в первой редакции кое в чем и выигрышной, — заметил я.

— Нет, я устранил романтический налет, выразил свое целиком отрицательное отношение к Векшину. Думаю, что существование двух

редакций, двух точек зрения самого автора, разделенных 30 годами, создает выигрышную стереоскопичность. И хочется все же еще вернуться к роману и сделать две вставки...

— В пьесе «Унтиловск», очень несовершенной, со скомканным концом (но почему-то ее выбрал Станиславский), есть монолог Буслова. Он говорит: «Иди к черту!» Потом: «Вон!» Потом — еще громче и со всеми проклятиями. Все в одном регистре. Между тем, если бы я перевел в другой регистр, и после крика — он с холодным бешенством сказал бы: «Не заставляйте меня говорить с вами другим языком» — эффект был бы значительнее. Вот и Достоевский из-за спешки часто не переводил повествования, особенно о женщинах, из одного регистра в другой.

О романе «Воскресение» снова повторил, что не верит придуманному Л. Толстым, будто Нехлюдов женится на Катюше.

— Другое дело, что он купит ей домик, поселит на окраине. Раз в год во всем сенаторском величии, в позументах, в коляске с гербами он будет приезжать к ней в день рождения ее с поздравлениями и подарком. Она округлилась, простила его. Встречает у входа в дом: «Пожалуйте, ваше сиятельство!» Угощает водочкой, настоянной на корочках, селедочкой, вымоченной в чае. Сидит за столом, а соседи, вдавливая носы в стенку, глядят, как он сидит за столом...

— Сколько раз я слышал ваше прочтение знаменитых романов. Ярko и необычно. Но это уже романы не тех авторов.

Говорили также о сегодняшних политических событиях.

— У меня в речи на юбилей говорится, что в наше тридцатилетие закладывается, может быть, то, что будет определять будущее 500-летие. И тут самое страшное то, что не укреплено человеческое начало в людях. Человек, открывая атомную энергию, не создал перед тем хорошего умственного хозяйства, и это может обернуться страшным развитием событий.

23 апреля 1981 г.

Леонид Максимович:

— С Солоухиным ездили в Минск? Это талантливый человек. А что печатает «Новый мир»? Повесть Ю. Нагибина о Гёте? Ну, это, наверное, сук не по нем... Но я читаю его охотно, мне интересно его читать.

— Как мой роман? Дал себе слово хоть раз в пять дней садиться за стол. Сажусь, а результата никакого. Нет импульса. Не у меня одного его нет. С кем не поговорю — тоже не садятся за стол.

9 мая 1981 г.

Поздравил Леонида Максимовича с Днем Победы. Он сообщил:

— Присаживаюсь к столу, пробую разбирать записи, но дело не идет. Чувствую усталость у всех, нервная усталость, каталептическая. Все тревожит кругом, трудный год. На дачу ехать не могу — Наташа в командировке. На даче один сторож-«татаринovat». Плохо, но надо утешаться тем, что дальше может быть только хуже.

31 мая 1981 г.

Сегодня день рождения Леонида Максимовича.

— Спасибо, хотя в моем возрасте людей надо не поздравлять, а сочувствовать. Думал ли я, что проживу больше Л. Толстого?

На мои вопросы ответил, что машинку на дачу взял: «Вожу ее, как амулет, но не пользуюсь. При моей жизни больше от меня ничего не ждите... Буду жить, как Шолохов. Он же не пишет. Что? Сильно болен? Я никогда не мог с ним разговаривать и лично его не знал как следует... Поговорить с ним, хотя бы раз по душам, так и не удалось».

Речь зашла об Ю. Трифонове.

— Я читал его произведения, о них много шумели. Мне не понравилось. Я не люблю быта. Никогда не любил его изображать. Чем не понравился Трифонов? Копание в быте. Не люблю, когда через быт ищут изъян, чтобы им попрекнуть советскую власть. Да и вообще я быт всегда отвергал.

7 июня 1981 г.

Позавчера звонил Л.М., спрашивал, переехали ли мы в Переделкино и почему не заходим.

Зашли в 5 часов. Встретили Л.М. на участке. Там играли внучка Настя и две маленькие девочки — внучки Чаковского. Их мама погибла в автокатастрофе в Пицунде. Девочек очень жаль, и их привечают, дети веселятся. Внучка обнимает и целует Л.М. — «спасибо, маленькая, спасибо, умница».

— Л.М., вот кто важен для вашего состояния. Пожалуй, эти «цыплята» могут заменить все устремления к столу с чистым листом бумага. Пусть шумят, они важнее всего, что мы делаем и мечтаем сделать.

Леонид Максимович вспоминал про своего товарища по гимназии Андрея Прове:

— Когда я напечатал в 1953 году «Русский лес», вдруг получил письмо от Андрея Прове откуда-то из Сибири: «Я по лесному делу и очень рад, что вы вступились за зеленого друга» и т. д. Три страницы очень лестных слов. Тогда это была поддержка, ибо как раз С. Злобин написал разгромную статью, ее нигде не печатали, он добился ее обсуждения в Союзе писателей. Организовал обсуждение К. Паустовский. Татьяна Михайловна, предчувствуя недоброе, позвонила

ему: «Приходить ли Леониду Максимовичу?» Он ответил: «Не советую, это будет для него тяжело». Я все же пошел на второе и третье заседания. Сидел, как подсудимый, на отдельном стуле. Разгром надвигался, но пришли лесники, которых хотели организовать против меня, но они повернули обсуждение в мою пользу.

Заговорили о Паустовском.

На мой вопрос, какую позицию занимал К. Паустовский на обсуждении «Русского леса», состоявшемся в ЦДЛ в 1953 году, Л. Леонов ответил: «Гнусную. Он-то и был главным организатором всего этого. Но не сам выступил, а выпустил Степана Злобина. Тот вышел с рукописью в два листа толщиной и — ни одного доброго слова.

— А как вы относитесь к Паустовскому-художнику?

— Меня никогда не привлекала его эпигонско-конструкторская проза. Книги его не хотелось иметь в своей библиотеке. Разве вы можете назвать хоть один характер, созданный Паустовским? Его настоящая фамилия Фастовский. Все южные евреи берут фамилии по городам, из которых они вышли. Паустовский — из Фастова. Очень хотел породниться со мной. Привел какого-то племянника и пытался высватать за него Лену. Когда же замысел его не осуществился, он, как видите, отомстил мне. Но дело не в этом. Дело в том, что дурным конструированием он заразил многих молодых писателей.

И возвратился к разговору об А. Проге.

Вот почему к месту пришлось для меня письмо Андрея Проги. А за третьей страницей шло его яркое «жизнеописание». Как сын заводчика, он был арестован, просидел 5 лет, за отсутствием улик освобожден, женился, снова арестован. Жена и сын погибли, а он снова выпущен и — опять арестован, сидел, выпущен и т. д. Я написал, что если будет в Москве, так зашел бы. И вот появляется в доме сухой, высокий старик в толстовке и холщовых брюках дудочкой.

— Знаете, когда я учился в гимназии, у нас, курсом старше, учился Федор Прога, толстый такой, глупый. Однажды принес две горсти древнегреческих монет и всем раздал. Потом директор созвал нас и просил их вернуть, так как они были по неразумию взяты Федором из коллекции отца-заводчика. Так вот, а я учился с братом его — Андреем. Их было три брата. Андрей чем-то был похож на героев Жюль Верна. Я приготовил чай, закуски. Просил его рассказать о себе. Рассказал потрясающую жизнь. Выслушав его, спросил: «Вот теперь, когда все в прошлом, что вы носите в голове и душе? Обиду? Горечь?» Он ответил: «Если бы вы знали, как я ненавижу богатство!» Повторил это дважды. Вот его вывод.

Когда я сватал Татьяну Михайловну, у нее не было ничего, а я был завидным женихом, ибо ходил в рубахе ниже колен, так что о качестве штанов думать не надо было, имел «ремингтон» (потом продал за 18 рублей) и лохматый ковер. Работал же как одержимый. А теперь...

— Л.М., может все-таки вернуться вам к работе, взяв секретаря?

— Разворуют все и не справятся. Татьяна Михайловна знала весь роман, знала, куда какая вставка. Ковалев моего почерка не разбирает. Грознова обременена семьей. Старикова? Она вся «там». Относилась ко мне неплохо, но однажды стала расхваливать Марка Щеглова. А он написал обо мне развязную, демагогическую статью, обличая за то, что я связал Грацианского с охранкой. Обличая, хорошо знал, что, не сделай я этого, мне не удалось бы сказать о наличии страшных людей. Знал, а упрекал. Так вот, она обиделась, и наши отношения закончились.

— А в существующем виде нельзя напечатать?

— Вы же знаете, что я не напишу хуже, чем могу. Без конца переписываю, пока не доведу до чистоты линотипа, не увижу связь, переход одного в другое, всех сечений. Третью жизни я отдал последнему роману. Быть может, я дурак, последний из писателей, который сидит годами над рукописью...

— Я пессимист. В конце XXI века на земле будет жить 120 миллиардов. Боюсь, что человечество будет само себя истреблять. В журнале «Знание — сила» я прочитал у Б. Рассела, что под руководством дураков, стараниями угодливых рабов человечество идет к самоубийству.

Человечество не знает, куда идти, запуталось. Его запутали те, кто руководит. Самое главное определить, где, в какой точке развили, находимся мы со всеми своими болями...

— Вы определили?

— Мне кажется, да. Помните у Беранже... «сон золотой». Важно, чтобы было убедительно... А в области неизвестного все правдоподобно. Сегодня оптимисты опасны. Оптимист — это Иванушка-дурачок, веселившийся на похоронах.

Заговорили о текущей литературе. Л.М. положительно оценил «Память» Чивилихина. «Он великолепно знает материал. Но произведение несконструировано... Декабристы, современные историки Востока, татары... Не органично. Хотел дать ему совет один и только намекнул, а автор уже взвился. Боюсь я давать советы. Один автор из беспризорников принес мне как-то рассказ «Гудок».

Я хотел сказать ему, что гудком в народе называют часть тела. Но не сказал и хорошо сделал. Потом этот писатель в годы войны получил Госпремию».

Но советы... Одному сказал: «Вы бы записали то, что говорю, может, потом когда вам пригодится».

Говорил опять, что писал для Т.М., как высшего судьи. Заявил афористично: «Университет писателя — его творчество».

Провожая, сказал: «Здесь все насажено моими руками, кроме двух берез и сосны у входа. Валуны? Купил. Валялись там, где теперь телецентр». Замечательно говорил о шмелях в «боярских одеждах», великих тружениках.

Едва мы доехали, звонок, и Л.М. извинялся, что забыл предложить О.М. цветы.

Да, поразило нас начавшееся запустение вокруг Л.М. Я припомнил романтику «опустевших дворянских гнезд». Он боится сторожа, который, по словам Л.М., «как чуть, меня злобно обкладывает матом»...

«Полстраницы хорошего текста в день — это высшая удача», — сказал мне сегодня Леонов.

21 июня 1981 г.

Леонид Максимович рассказал о директоре завода, который построил чудный санаторий с садом. Профилакторий. В нем лечат и от алкоголизма. Один из пьяниц — молодой человек — 20 лет. Нянечка уговаривает его поест, погулять по аллеям. Он сидит истуканом, взор в пространство, никого не видит. «Ну, что ты такой?» — спрашивает она. «Устал я!» — отвечает он. «Ты, в твои годы? Стыдись!» «Устал». Это знаете, своего рода символ. Вся Россия устала. А почему?

Расскажу другую историю.

— В деревню приезжает на побывку городской интеллигент: «Дядя Савва, ну, как у вас тут?» «Да как? Состояние мое улучшилось, а положение ухудшилось». — «Как так?» — «Да так — раньше мы работали за палочки, но сами решали, где, что и когда сеять, что пустить под пары. Теперь же мне платят 40 рублей, но не спрашивают ни о чем. Приезжает человек со стороны, приказывает: здесь — это, там — то. Говорю: «Гражданин-товарищ, дык оно же тут не вырастет». Отвечает: «Не лезь не в свое дело...» Вот и отлучили крестьянина от земли. И это поймите как символ. Отлучили человека быть хозяином. У меня даже порой возникает подозрение, а не делается ли это с умыслом? Разваливается экономика. Разваливается содружество. Даже в литературе пишут как попало, не хотят потратить лишних усилий...

— Вы бы побеседовали с писателями, — сказал я.

— Куда там мне теперь... Хотел в пору идеалистических своих увлечений, а теперь — нет. Бесполезно...

Пришел Сергей Власов и сказал, что баба Ванга шлет привет. Сказала, что роман ваш будет напечатан...

— Нет, напечатан он не будет...

27 июня 1981 г.

Вечером пошел к Л.М. на дачу незванным. Я прошел в гостиную, откуда хорошо виден письменный стол в кабинете. Не видя меня, Л.М. сидел за столом и что-то увлеченно писал, потом тут же стал печатать. Отстукав несколько строк, задумался и вдруг — заметил, что кто-то сидит в соседней комнате. «Вот хорошо, что зашли». Расположились на

террасе. Разговаривали о том, что «мы ходим по открытиям, надо наклониться, чтобы сделать их...»

Что касается культуры, то, считает Л.М., это прежде всего «мастерское владение своим делом».

Встал, ушел в кабинет и вернулся со стопкой исписанных листов. «Я переписываю по 12-14 раз каждую страницу. Из всего этого вышло у меня полстранички». Я взял рукопись, перелистал 34 листа, взял один из них с непонятным почерком и сказал Л.М.: «Кому надобна такая расточительная трата энергии?» — «Это не расточительность. В результате этого бесконечного варьирования и спрессовывается жизнь, опыт, мысль в настоящем художественном слове. ...И все время не покидает ощущение: можно и нужно лучше, надо еще ступенькой выше».

— Но и «Портрета» Гоголя не следует забывать. Можно бесконечными попытками совершенствования разрушить и шедевр.

— Пока наблюдается обратное...

Заговорили о его саде:

-- Кто-то сказал, что это два моих ненаписанных романа.

Много говорили о бабе Ванге, о тайнах ее прорицания, мистике... «Я абсолютно верю в предел человеческого познания, верю, что существует нечто, что не поддается нашим понятиям. Непознанное...

— Что вы мне говорите о культуре? У нас до сих пор существует понятие “достоевщина”. Муж побил жену — “достоевщина”. Вор убил старуху — “достоевщина”. При таком понимании можем ли мы претендовать на то, чтобы учить других?»

3 сентября 1981 г.

Приехали из Дубулт. Сразу позвонил Л.М. Он еще не встал, хотя уже за 10. Узнав, что звоню я, обрадовался. «Вы что, Л.М., недомогаете, раз не встаете?» — спросил я.

— Нет настроения вставать, внутренняя слабость. Худею все... Все идет под откос, а не вверх... Как Ольга Михайловна?

— Да тоже жалуется, боится разболеться, устала от лечения...

— Скажите ей, что сейчас почти все чувствуют себя неважно, надо, чтобы она не падала духом... Работается плохо, но не только мне, а всем, с кем мне приходилось говорить.

— Прочел сборник статей о вас «Мировое значение творчества Л. Леонова». Мне кажется, что работа хорошая и напрасно вы рассердились...

— Я не рассердился, а просто в моем возрасте люди свободны от кокетства, они хорошо знают, что удалось, а что — нет. У Ефрема Сирина есть отличная мысль о благодати смиренномудрия. Вот оно-то и диктует мне чувство недовольства. Какое мировое значение? Не надо

мирового значения... А вообще-то я никогда не вмешиваюсь в работу критиков... Это их дело.

— В книге есть интересные статьи. Например, П. Проскурина, Бузник. Слабовата статья о вашей драматургии, в особенности о «Золотой карете». Я считаю эту пьесу лучшей в вашей драматургии. В Дубултах разговаривал с А. Арбузовым, сказав, что эта ваша пьеса — эталонная. Он поднял глаза вверх и развел руками, дескать, что вы хотите, это же Леонов. Мне кажутся в ней удивительно емкими ремарки. Это не обстановочные ремарки, это сама сущность содержания, которая потом раскручивается в диалоги в пьесах...

— Необходимость подобных ремарок я осознал при постановке «Унтиловска» Станиславским. Помните, как Черваков объясняется женщине... Он — гнилой, гнусный, но влюблен страшно, жутко, мистически... Она — надкушенная, но для него тем слаще. И вот он сидит и рассказывает сказку... Станиславский сказал Москвину: «Нападайте на нее». Это был промах режиссера. Где уж Червакову нападать? Он не может этого сделать... И не он на нее нападает, а она тянется к нему, ибо этот костер для нее разложен... Она понимает, что тут не настоящее. Ее тянет не сексуально, а потому, что ее позвали... И вот, когда Москвин напал, я стыдливо отворачивался. А откуда ошибка? Потому, что в пьесе не было ремарок...

— Во втором действии «Кареты», где описывается квартира Непряхиных, это далеко не обстановочная ремарка?

— Это фон, характеризующий Непряхина. И это мелодия, настрой. Это оттеняет и выделяет доминанты его характера — его простоту, необидчивость, кротость. Пожалуйста, вам надо меня терзать — терзайте...

— Почему бы вам не вернуться к драматургии?

— Да вы что — серьезно? Да ведь сегодня появиться с серьезной пьесой нелегко. Посмотрите, как сегодня даже классиков распиливают, что из них делают режиссеры, чтобы удивить оригинальностью — они половину Гоголя сращивают с четвертью Толстого. Надо бы принять специальное постановление: «Не трогать классиков!» «Ревизор» есть «Ревизор»... Да и театр не тот. Да и актер не тот. Разве это актер, который сегодня играет Гамлета, а завтра озвучивает волка в мультфильме...

— Я работал честно, нигде не бывал, почти никуда не ездил, не мог себе позволить оторваться от работы. Я переписываю фразу до тех пор, пока не доберусь до костяка. Пишу почти стенографически, не дописывая слов, сокращая, ибо не хватает времени писать каждое слово полностью. А потом сам не могу понять, расшифровать написанное...

— Во взятой мной у вас странице я расшифровал только одну фразу

— Это много. Я и одной расшифровать не могу...

25 сентября 1981 г.

Сегодня солнечный превосходный день бабьего лета. О.М. слевой уехали в Волоколамск, а я пошел к Л.М. с В. Ганичевым. Он вышел в костюме, голубоватой рубашке, ворот которой ему стал очень велик, в темном свитере. Провел нас в кабинет. На столе — записи, книга Н. Федоренко с надписью и датой 24.IX.1981. Валерий спросил, не напишет ли Л.М. предисловие к произведениям Бойко.

— Нет, что вы! Мне трудно...

— Маленькое.

— Не имеет значения. И маленькое, и большое я пишу с трудом. Написал том статей. Каждую писал, как стихотворение в прозе.

Заговорили о Шукшине. Л.М. сказал, как давно обдуманное:

— Очень талантлив, не бриллиант, а, скажем, рубин, большой рубин, но необработанный. И потом — нельзя так относиться к таланту: и швец, и жнец, и на дуде игрец.

О Чивилихине:

— Знаете, я совершенно путаюсь в истории монгольского нашествия, а он знает все удивительно. А на меня обижаются напрасно. Я дал ему хороший совет, а он обиделся.

— Какой совет? — спросил В. Ганичев.

— Порекомендовал ему превратить повествование в цикл новелл о сопротивляющихся русских городах. То, то он прекрасно знает, выделить и вырезать, как на меди. А он обиделся. Там же много лишнего, ненужного — письмо монгольскому другу. О декабристах тоже нельзя все в одну кучу. Да и с Гумилевым он напрасно так обстоятельно спорит. Надо было в предисловии двумя строками, мимоходом, как паяльной лампой по ноге — вжик? — и на всю жизнь.

Долго рассказывал, как ездил под Высокиничи, 12 км, где жили его бабки и тетки: «Ничего не осталось».

Говорил о положении в мире, о политике. Вспоминал, что в США был в институте возле Бостона, где работало 1200 чел. Чертежи на стенах, под потолком. Графическое изображение идей. Самых разных... Институт существует 90 лет. Думаем, что у них все стихийно? Надо мыслить как можно напряженнее... Сталин стукнул в дверь «Братья и сестры». Стучать в нее вновь в случае опасности бесполезно. За нею никого нет. И становится тревожно. Я не могу посадить внуку на колени и рассказывать, как хорошо ей будет. Ведь будет-то ой как нехорошо. Ведь ждет-то их ужас что...

28 октября 1981 г.

Рассказывал Леониду Максимовичу о своей поездке в США. Слушал внимательно, потом вспомнил:

— Баба Ванга сказала мне: «Ты там что-то написал о конце мира? Выброси». — «Но ты же знаешь, что ждет людей?» Она резко отвернулась, сказав, что на политические темы не разговаривает. Опять повторил: бездумный оптимизм опасен, надо предостеречь народы. Пессимизм куда полезнее.

Когда я готовил отрывок из романа для «Москвы», то надеялся, что его перепечатают центральные газеты... Неужели люди не чувствуют опасности? Впрочем, меня это уже не касается... Повторяю молитву: «Господи, даждь мне покой...»

Я рассказал Л.М. содержание диссертации о его творчестве, защищенной в Брауновском университете.

— Дайте мне тезисы ее. Говорил я вам, что о моей драматургии написала родная сестра космонавта Шепарда. Я ответил на письмо, в конце приписав, чтобы она передала поклон своему знаменитому брату. Ответа не получил. Видимо, ЦРУ решило, что подбираюсь к секретам их космонавтики и не передало письмо. Ведь она человек культурный, надо полагать, и не могла не ответить на мое письмо.

Я сказал, что в диссертации, о которой мы говорили, подчеркнут общечеловеческий аспект в «Соти», «Скутаревском», «Дороге на Океан».

— Роман «Дорога на Океан» я писал с редким подъемом. Это дорога в будущее, в мечту, к идеалу, к коммунизму. Океан я воспринимал многозначно, Океан с большой буквы.

Он спросил: а что американцы говорят о советских писателях? Я рассказал.

Л.М. снова повторил: «Наши деревенщики очень остро переживают изменения в деревне. Но они не понимают, что от деревни ничто уже не зависит. Она более не играет решающей роли в судьбах мира. Сегодня они решаются в битвах на самых верхах, там, куда мы не допущены и где нет никому никакого дела до нашего мнения».

Речь зашла о Собрании сочинений Горького.

— Да, я звонил Шауро и просил освободить меня от обязанностей главного редактора, сказав: «Фактическим редактором с самого начала был и остается Овчаренко. Я помогал ему в художественных произведениях, поскольку многим обязан Горькому. Письма же — не моя сфера... Тут я не специалист...» Недавно я повторил эту просьбу. Вам же скажу вот что:

— У Горького в письмах немало таких высказываний, которые не могут быть обнародованы, особенно по еврейскому вопросу. Предположим, мы не напечатаем. Но у нас нет гарантии, что кем-то они не могут быть переданы за границу и там напечатаны с припиской: «Вот как фальсифицируют Горького!» Они не пощадят ни вас, лучшего знатока Горького, ни меня, писателя, не лишённого ошибок, но честного. Уйду и вам советую уйти, если вопрос о публикации не будет решен на самом верху, скажем, Суловым, а предоставлен на наше с

вами решение. Сейчас продолжайте делать тома, но не спешите и подумайте, не прервать ли издания на неопределенный срок.

А может, следует нам уйти одновременно, отдать его в руки чиновников? Им-то все равно, что и как издавать.

— Огорчен я, Л.М., всем, что только услышал. Чего вы боитесь?

Я уверен, что публиковать будем все, а читатель пусть сам разбирается. Когда он получит все письма, ему это легче будет сделать...

8 ноября 1981 г.

Рассказал Л. М-чу о книге Ю. Трифонова, посвященной Достоевскому. Он ответил:

— Какой же быт у Достоевского? У него быт мирового уровня. Топологическая краска на палитре.

— Мне надо задать вам много вопросов.

— Какие вопросы? Я закончился как писатель... писать больше не могу и не буду. Я сделал все, что мог, пусть сделают другие лучше.

— Ведь в течение многих лет мы почти ежедневно беседовали с вами, а случись что, никто и знать не будет, о чем мы говорили. А ведь все может быть, все может случиться...

Я хотел бы задать вам ряд вопросов.

19 ноября 1981 г.

Интервью «В поисках Золотого иероглифа».

А.О. Что сильнее всего поразило вас в жизни: историческое событие, реальный случай, человек, жизненное явление, пословица, слово?

Л.Л. Хрупкость цивилизации. Как легко это сокрушить. Один гвоздик — и все полетело. Конечно, мы вырастили и удивительных капитанов: ведут атомоходы, атомоледоколы — вон какие машины! И все же самое главное — культурные накопления. Конечно, что надо для мудреца — краюха хлеба, лопата, шуба. И наш человек строил, но какая растрата сил, что курс был взят на гениального работника, а не мудреца... Сколько было истрачено лишних сил... И гениальный русский солдат, к сожалению, не философ.

А. О. Есть ли у вас особенно любимое слово, пословица, афоризм?

Л.Л. Нет, иногда я цитирую слова Оскара Уайльда: «Самые великие трагедии разыгрываются в человеческом мозгу». Это потому, что главная схватка сегодня происходит в человеческих умах.

А. О. Когда и как родились ваши собственные афоризмы: «Все правдоподобно о неизвестном», «Народ уничтожают со святынь», «Все дети мира плачут на одном языке»?

Л.Л. Не знаю. Не могу объяснить. Это очень длительная варка, страшно долгая, это — как целлюлозу варят, все кипит, бурлит, переворачивается! Вдруг возникает какая-то деталь, которая поднимается, загорается, стоит, как звезда, и позволяет по-новому увидеть все детали, капилляры. Такие находки — единственное, что скрашивает каторгу творчества. Иногда они возникают вдруг, но после длительного труда. У меня никогда не бывает ощущения совершенства. Порой, написав главу, я пишу ее заново, не заглядывая в черновик.

А. О. Кто из мировых писателей, художников, скульпторов, композиторов приближается к вашему идеалу, достоин подражания?

Л.Л. Это трудный вопрос. Ртвечать на него трудно, ибо есть элемент нескромности: вот, мол, с кем сравниться хочу. Если отбросить этот элемент, назову Леонардо да Винчи, Брейгеля, Чайковского, Рублева, конечно. Когда-то мне по духу нравился Нестеров. Но со временем происходят переоценки. Вот я как-то в Дрездене заново посмотрел галерею. До этого я смотрела ее в Москве и был восхищен. А тут посмотрел вновь, и меня совершенно холодным оставила Сикстинская мадонна, да и вообще Рафаэль. Слишком она спокойна, мадонна. Нет боли, будущего крика матери. Так же и с Нестеровым. У него тоже мне показалось недостающим предчувствие того, что произойдет последующее крушение святынь легче, чем можно было предполагать по его творчеству.

А.О. Вы не включаете в свой ответ Микеланджело. Случайно?

Л.Л. Нет, не случайно. Поймите меня правильно. Когда мы были во Флоренции, я на встречи с мэром города сказал: «Если бы мне потребовалось дать облик Господу Богу, я бы дал ему облик и фигуру Микеланджело, несмотря на его сломанный нос и истертые о камень руки». За эти слова мэр обнял меня, поцеловал и подарил роскошный альбом с репродукциями произведений Микеланджело. Я не могу без волнения вспоминать о том, что когда Тирренское море выбросило на берег древнюю статую, Микеланджело мерил ее всю до последнего сантиметра, а потом заново прощупал пальцами. У большого мастера искусство ощущалась стертыми, но умными, даже оттого более умными пальцами. Вместе с тем я не могу понять у него многого. Я люблю его Сикстинскую капеллу, люблю всю, особенно его пророков и пророчиц. Великолепен его Христос и безупречен в художественном отношении. А вот в Пьете он несоразмерен с матерью. Кажется, у Гоццоли есть картина «Шествие волхвов», они идут в ряд, в каждом есть царственность, у них тяжелые затылки. У Моисея Микеланджело, давшего миру новые законы, у Моисея, у которого многомудрая должна оттягивать голову назад, — затылка-то и нет.

А.О. А не кожется ли вам, что титаническая мысль самую Микеланджело усомнились и многомудрии героя?

Л.Л. Не думал об этом, но думал о другом. Бог не очень был щедр к самым великим своим мастерам. У каждого из них одно или два

настоящих произведения, а остальное, так сказать, проба пера. В этом и величие, и трогательность великих художников. Кроме того, и Атланты уставали. И они не выдерживали всей тяжести, возложенной на них. Вообще же после революции я стал строже к знаменитостям, и многие из их произведений я бы у себя в комнате не повесил. А вообще-то гениальные вещи нельзя вешать в доме, в кабинете, ибо они не только дают, а и поглощают. Но о каких мастерах мы сейчас говорим! Надо подниматься и произносить такие имена стоя!

А. О. Ваш любимый писатель?

Л.Л. Не один. Всегда удивлялся автору «Слова о полку Игореве», его легкому, ясному, песенному дару. Высоко, тоже с удивлением, ценил и ценю Аввакума. Считаю «Ревизора» первой пьесой мира. И, конечно, Достоевский. Знаете, мне стыдно, когда меня сопоставляют с Достоевским. Я сознаю всю несопоставимость наших имен. Но пленил он меня своим творчеством рано. Его «Преступление и наказание» я прочел лет двенадцати. Конечно, многого не понял, но что-то камертоном зазвучало в душе.

А.О. В наших беседах вы так часто цитируете Пушкина, так часто восхищаетесь совершенством его стихов, что я ожидал иного ответа на предыдущий вопрос, — это была моя ошибка?

Л.Л. Как-то неловко хвалить Пушкина, поэтому я и не назвал вам его первым. Но он, конечно, первый и недостижимый. Недаром его по каждому поводу вспоминал и Достоевский. У Пушкина — античная гармония, ровная, незыблемая. Пушкин начал в нашей литературе линию, которая потом пойдет через Гончарова — Тургенева — Толстого к Чехову. Но мне... нет, конечно, Достоевский. Мне все-таки ближе отражение мира во взволнованной человеческой душе: Гоголь — Достоевский. Есть еще третья линия, просветительская, недостижимым представителем ее является Горький. Но у нее тоже глубокие корни.

А.О. Кто, по вашему мнению, оказал вам наибольшую поддержку как писателю?

Л.Л. Горький. Он не раз хвалил меня, но, несмотря на это, роман «Вор» тридцать лет спустя был переделан коренным образом. И только переделав, я вспомнил, что переделка была предсказана и, быть может, Горьким. В 1927-м, а может, в 1931 году, во время вечерней прогулки, Горький вдруг сказал: «Вай, какой смешной эпизод может случиться через много лет. Автор пошел погулять и встретил персонажа из собственного романа. Обрадовались, зашли в погребок. Вспоминают о том, о сем. Толкует. Выпивают. А ближе к рассвету автор и уложил своего героя пивной кружкой». Я вспомнил этот разговор, когда переделал «Вора». Переделывать же начал потому, что в лупу рассмотрел ведущие узлы и недостающие точки, ощутил недопустимую недоговоренность.

А.О. Выходит, Горький раньше вас почувствовал нереализованную возможность в созданном вами образе?

Л.Л. Да, и это меня очень удивило. Чуткость Горького была необыкновенной. Горький, увидя талант, пускал слезу от умиления, бросался его просвещать, помогать ему. Он был величайший просветитель. И в творчестве. Садясь за стол, он знал судьбу героев своего произведения, знал, кто из них будет положительным, а кто отрицательным. Я же не знаю. Я следовательно по особо важным человеческим делам. Я принимаю для следствия дело, чтобы представить на суд людской все «за» и «против» объективно. И я никогда не выступаю в роли учителя. Да и чему я могу научить мой народ, прошедший через революцию и беспримерную войну? Он знает все и знает больше меня. Я не считаю себя вправе быть учителем. Чему, повторяю, могу я научить мой народ, который выжил в революции и такой войне? Толмач народных переживаний, ибо народ не знает, как море не знает, что оно море, всей своей мощи. Я стремлюсь показать психологические «ракурсы» нашего времени, которые не могли случиться в иную пору. Часто завязываются такие узлы, которые по глубине достойны страстей, изображенных в Сикстинской капелле.

А.О. Вы по-прежнему сердиты на критиков? Кто из близких вам людей был безупречен в оценке сделанного вами?

Л.Л. Я благодарен, что критика оказывала мне всегда внимание, но я всегда испытывал неловкость от недосказанности похвал. Привык я и к тому, что каждую мою книгу обязательно ругали опять-таки бездоказательно. Но мне и несказанно везло. Станиславский поставил мою новую, во многом несовершенную, особенно в первой части, пьесу «Унтиловск». Добрые, хорошие слова сказал обо мне Фрунзе. Помогал и поддерживал Горький. Ко мне по-отцовски отнесся художник Фалилеев, выделил мне рабочее место у себя, а вон ту, очень точно изображающую меня за работой акварель написала жена Фалилеева. Но, правду сказать, все, что я писал, писалось мною для себя, я стремился дать отчет для себя, ибо себя не обманешь, да и зачем обманывать самому себя? Моя жена Татьяна Михайловна знала всегда все в моих планах до конца, я проверял на ней свои замыслы, иногда она влияла на замысел. В том же «Воре» героиня первоначально должна была погибнуть на середине произведения. Татьяна Михайловна уговорила, убедила меня, что делать этого не надо.

А. О. Какое из своих произведений вы любите более других?

Л.Л. Те, что не окончены. Младшие дети всегда дорогие, потому что маленькие. Другие переделывал без конца. Иногда Татьяна Михайловна не давала переделывать. Меня удивил выпад К. Федина против тех, кто переделывает свои произведения. У меня никогда не было ощущения совершенства и законченности. В «Русском лесе» должна была быть еще одна глава. Да и другие произведения когда беру, то хочется тут поправить, там добавить, вот тут, чувствую, не так.

Л. О. Что больше всего мешало вам в работе?

Л.Л. Я никогда не был сыт тем, что делаю. Другие же только прибавляли горечи, становясь на мозоль. Что хорошего было в моей жизни? Только первый приезд в Сорренто. ...Солнце, ласковая голубизна моря, неба, буйство цветов, улыбающийся Горький... А после этого работа, удары критиков в лицо... Когда я читал отрывки из романа «Барсуки», некий Мещеряков закричал: «Вы что, молодой человек, в своем уме? Этого и через 25 лет печатать нельзя!» Ведь подумать только, что в двадцатые годы, как и все нэпманы, писатели должны были покупать патент на занятие литературным трудом. В Сорренто Горький спросил: «Замечаю, у вас финагент, у Маяковского финагент. Что это такое?» — «Надо платить фининспектору за патент 150 рублей и налоги с заработка». — «Какие налоги? Вы что — фабриканты, заводчики?» — «Приедете, и вы будете платить». Мы никогда не знали ласки, никогда никто не спрашивал: как вы живете? Что у нас было тогда? Хер, манишка и записная книжка. Но подозревали — не обуржуазились ли? Потом Молотов подписал постановление о «Метели», чтобы запретить пьесу Леонова как злостно-контрреволюционную. А Жданов кричал в связи с «Золотой каретой», что «пусть только Леонов поставит ее, он увидит, что будет». Двинский мне рассказывал, будто он видел «Вора», всего исчерканного красным карандашом Сталина. В 1931 году, в медовый месяц отношений Сталина и Горького, я сказал: «Товарищ Сталин, когда надо нас поругать, не поручайте это злым людям, не позволяйте им на нас кричать и топтать ногами». Я сказал это за обедом у Горького. Сталин ответил: «Зачем кричать? Зачем топтать? Не надо кричать! Не надо топтать!» Возможно, мои слова сыграли роль в последующей ликвидации РАПП. Во всяком случае, когда я позвонил Крючкову и сказал, что в газетах сообщено о ликвидации РАПП, он не поверил, бросил трубку, пообещав выяснить, верно ли. За тем же обедом я говорил с соседом о Всеволоде Иванове, а Сталин о чем-то разговаривал с Горьким. Но я понял, как Сталин следит за всем, что происходит за столом, когда он спросил меня:

— Кстати, Всеволод Иванов совсем исписался?

Я стал защищать собрата по перу. Да, наглотался я окурков за свою жизнь... Не надо считать писателей батальонами, каждый отдельный художник — целый комбинат, и к нему надо подходить бережно, со вниманием. У нас же индивидуального внимания никогда не было...

А.О. В «Барсуках» Павел сказал Семену: «Я твою горсточку разомну!» Семен промолчал. Но что-то он ведь подумал.

Л.Л. Да, там тоже нет одной фразы. Ее бы не пропустили, хотя в ней нет ничего злостного. Нет одной фразы, она должна была быть в конце. И не будет.

А.О. Но ведь из этой фразы вырастает вся последующая наша литература, не исключая «Тихого Дона»... Как графически представлялись вам композиции «Дороги на Океан» и «Русского леса»?

Л.Л. Очень просто. «Дорогу на Океан» я писал в момент возвышенного настроения, почти физического ощущения величия наших дел и устремлений. Композиция романа представлялась мне как три звена. Вот это — то, что наши поколения вносят в жизнь, а вот это — золотой осадок, лежащий в основу будущего. Теперь переверните этот рисунок — будущее, основанное на нашем вкладе, беспрерывно преумножается и раздвигается. Композиция «Русского леса» не менее проста. Вот ровная почти линия профессора Вихрова. А вот вторая линия — Поли. Линия Поли развивается скачками. Причем в роман вводятся лишь те звенья, что пересекаются с судьбой отца. Иначе роман разросся бы листов до семидесяти. Да они и не нужны. Почему Поля идет на фронт? Чтобы оправдать себя и оправдаться за отца. Критики не писали, почему мать Поли так боится шинели. Сколько судеб зависело от шинели, скольких она бросала в дрожь!

А.О. Работая над лекцией профессора Вихрова, вспомнили ли вы «Легенду о Великом инквизиторе»? Или беседу Ивана Карамазова с чертом?

Л.Л. Вспоминал, прежде всего, русских лесоводов, правильно воспринявших идею постоянного пользования лесом путем его воспроизводства, за что их страшные люди, такие, как Орлов, стали сажать, обвинив в стремлении лимитировать социалистическое строительство. Борясь за лес и лесников еще во времена Сталина, я имел единственный способ спасти их, а именно очернить Грацианского, привязав его к охранке, хотя ничего не понимавший М. Щеглов в чем-то обвинил меня, а Е. Старикова защищала его от меня.

А. О. Павел в «Барсуках» говорит, что думать о простом и главном нужно всегда на просторе, под звездным небом, например. Знали ли вы тогда слова Достоевского о том, что только в большом и высоком помещении рождаются большие мысли? (Разговор Раскольников с Соней).

Л.Л. Удивительно. Не знал. Вот вам и материал для сближения. Это, конечно, объясняется еще конституциональной склонностью. А что касается самой мысли, то это так. Где нет труб фабричных, где простор, воля, поля, равнины, там приходят большие мысли, нужные для большой жизни...

А.О. Кого из современных писателей вы читаете с надеждой, видите в них продолжение лучших начал нашей литературы?

Л.Л. Трудно отвечать на этот вопрос. Разные манеры. Разные устремления. Могут ошибиться только потому, что у меня своя манера. Меня, например, не интересует быт. Нет у меня и ни одного прототипа. Я никогда не пользовался документальными материалами... Я искренне думаю, что у меня ничего нет додуманного до конца, потому что все находится в движении, не проследишь до конца. Приемы у меня особые. Вот карандаш, длинный, зеленого цвета. Меня же он волнует в его отблесках, скажем, отражением в вашем глазу...

А. О. Нашли ли вы хотя бы для себя тот золотой иероглиф, в котором заключается «смысл философии всей»?

Л.Л. Человечество когда-нибудь найдет его как тайну всего бытия. Его трудно найти. Пытаюсь хотя бы приближенно найти в моих произведениях. Кажется, иероглиф будет состоять не из одной фразы. Я ищу, а что я нашел, люди потом определяют, стоит ли он чего-либо или нет. Многое не додумано до конца не только по моим личным причинам, но и потому, что в самой действительности все спутано, все ценности. И все движется.

16 февраля 1982 г.

Давно не видел Леонида Максимовича. В серенькой курточке, в бахилах, показался мне еще более похудевшим, слабым, правый глаз почти закрыт, заметнее искаженная нижняя губа. На мой вопрос сказал, что пытается работать. Иногда ночью встает, записывает.

— Кто знает, а вдруг будет роман, который останется и по которому потом будут судить о нашей эпохе? Ведь здания разрушаются, государства исчезают, а книги часто остаются.

— А не можете вы все-таки его закончить?

— Не могу. Видите ли, моя ошибка состояла в том, что я приступал к нему трижды в разное время. Сделал постройку — рассказ о близких и дорогих мне людях, потом пошли надстройки — одна, вторая, третья... восьмая. И вниз. Туда тоже — этаж, другой. Потом вживание — философия, космогония. Написанные главы я писал заново, не справляясь с тем, как они были написаны раньше. Бесчисленные «извозчики». А ведь их надо не просто «вживить». А изменить, соответственно, всю кровеносную систему произведения.

— А не можете продиктовать роман стенографистке, как Достоевский?

— Нет, не могу. Видите ли, хотя Достоевский вот какой (он показал рукой под потолок), а я вот такусенький, все-таки есть между нами и другая разница: Достоевский работал на мысли. А я еще и на живописи. А тут уж не надиктуешь...

— Леонид Максимович, давайте уйдем в прошлое и посмотрим на «Вора».

— Я только что сделал в него еще одну вставку. В первом варианте герой был романтизирован, этот налет я беспощадно с него снимаю. Он бездушный человек... Помните сцену, когда Митька пришел в ресторан, сидит, помешивая ложечкой в стакане, и вдруг падает шляпа. Все бросаются, чтобы поднять ее. Выражение высшего ореола. Потом эта сцена повторяется... Падает шляпа, но никто не бросается. Люди даже злорадствуют. Митька вдруг сам напрягается, чтобы встать, вдруг щерится, блеснуло во рту золото коронки, символизирующей высший ранг в воровском мире, волчью беспощадность. Этот блеск смиряет

окружающих, снова превращает их в рабов, но рабов уже не особенного человека, занятого великими думами, а «пахана», «вожака» бандитов и — только. У меня существовал и другой, более резкий вариант. Однажды я лежал в больнице, температура — 39, и вдруг я попросил нянечку записать сцену: падает шляпа. Ксения обличает Митьку. Все надвигаются. Он наклоняется сам, чтобы взять упавшую шляпу, и бросается в дверь. Кто-то поддает ему ногой под зад. Искал-искал среди бумаг, не нашел.

— Стоит ли уж настолько развенчивать?

— Стоит. От таких, как Митька, вся черствость жизни, все ее несчастья.

— Леонид Максимович, первой вашей находкой в «Воре» считаю демисезон Фирсова. Очень яркая деталь, не забывающаяся, утепляющая образ.

— Возвращаясь из Италии от Горького, я купил в Вене себе такой демисезон и носил его в подражание собственному герою.

— Леонид Максимович, на странице 96 третьего тома (по десятитомнику) Фирсов утверждает, что память всегда хранит только пепел. Верно ли? Разве память не является частью «блестинки»?

— Не является. Блестинка — это настой, облик человека страдающего, структура человека, самое главное во всем бытии, вытяжка из всего опыта человечества, составляющая стержень человека, а пепел — это состояние, в котором мы храним прошлое, одежда его.

— Без овладения культурой, — говорит у вас Фирсов, — весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот. Народ существует в целом, в объеме всей своей истории. В какой мере на возникновение этой цепи афоризмов повлиял исторический нигилизм двадцатых годов?

— Мы эти накопления не взяли, и из-за этого мы гибнем. Дорогой Александр Иванович, если вы думаете, что Ленин по велению сердца заговорил о национальной гордости великороссов, то вы, извините, мало что понимаете. Он сказал это, будучи гениальным политиком и понимая, что наш мир может вертеться только на русском подшипнике. И еще потому, что Россия, русская литература больше всего поработали для этой блестинки. Но после него силы, которые я не знаю, как определить, трудились над тем, чтобы люди наши не считались с этой блестинкой. И вот я, русский писатель, уже примирился с тем, что России нет. Я, русский писатель, принимаю все таким, каким его сегодня делают антирусские силы и служащие им бюрократы, освобождающие культуру от культуры. Произошла какая-то трагическая ошибка. Приняв решение о построении социализма в одной стране, мы должны были построить его действительно как образец для всего мира. Как общество, где государство работает с точностью и безупречностью часового механизма, где ни одна умная задумка не

маринуется. Где люди думают и спорят, как в Платоновской академии, где машины помогают людям, где все стремятся к справедливости и добру. Мы же сами себя обескровили, отливая кровь то в Гану, то в Анголу, то в Египет.

— Вы не забыли сцену, и которой Митька, глядя на Агея, делает вдруг такое «дикое открытие», что до солдатчины Агей был «красив и статен» (стр. 114).

— Там так написано?

— Да, хорошо. А не из этой ли сцены родилась картина убийства Макаром Нагульновым Тимошки Рваного?

— К стыду своему, я второй книги «Поднятой целины» не читал. Возможно. У меня много брали. В особенности кино. Например, японцы.

— Вернемся к литературе двадцатых годов. В какой мере притяжении и отталкивания отражались на ваших замыслах?

— Долгое время люди, которых я не знаю как назвать, ну, скажем, интернационалисты, заявляли, что я очень национален, а не интернационален, что ли. Меня за это так травили... Когда редакторша работала над «Русским лесом», она спросила: «Зачем этот вызов? Зачем на первый план выносить слово «русский»? Может быть, если бы и был татарин, узбеком, евреем, я мог бы употреблять слово «русский» без нареканий и подозрений. Но, увы, я действительно русский. Следовательно, чтобы меня не заподозрили ни в чем, автоматически я должен был заменить это слово другим — «советский». Иначе шовинист. Это доходило до идиотизма. Болезненное отношение евреев к тому, что их могли назвать евреями, было перенесено на русских. Им было негласно запрещено называться русскими. Только в паспорте еще оставалась национальность. На деле русская национальность лишалась законного права быть русской... в отличие от всех других, населяющих Советский Союз. Но это в сторону. По существу же всего вопроса скажу вот что. Маленькие писатели должны быть очень благодарны советской власти за то, что она им дала, бескрылым бытовикам, готовую философскую систему, основу, в которую им предстояло вложить, как в ячейку, бытовые факты. Клади и готово.

Читается. Успех. Гонорары. Я же с самого начала, не скажу, что искал свою философию, но на основе плодотворной, живительной философии эпохи я искал свою структуру, свои темы, свою манеру. Я писал на человеческой основе, а не на целительных таблетках.

— Глубинную основу романа «Вор» выражает ныне всемирно известная «блестинка»: «вчерашняя душа мира»; «с раздражающе умной колдовской блестинкой в померкающем зрачке»; «наиважнейшая ценность бытия», выплавленная из всего «опыта человеческой истории» (стр. 137). Как возник этот бездонной глубины образ-символ?

— Не помню уже. Быть может, в ту ночь луна как-то сверкнула в зрачке убиваемого. Да дело и не в том. Откровенно скажу: Бог дал мне много. Но такой дар не удовольствие, не нажива, а тяжелое

маниакальное заболевание. Это ужас, когда появляется замысел, завладевает тобой, кипит в тебе, перекипает. И сплошная мука. Мне никогда не хочется за стол. Я норовлю обойти, найти причину и избежать мучений. И единственное удовольствие на этой каторге, когда на скрещении найденных тобою 20—30 координат рождается деталь. А в ней еще координаты, о которых ты не подозревал. Это как возникновение на твоих глазах живой клетки начинает биться, пульсировать. Поезд идет, гудит, несется, а Митька и Маня прижались друг к другу и почувствовали, что связаны они отныне навсегда. Такая же находка — выстрел Саньки в Векшина ночью. И еще: пляска Маньки и Агея. Такие детали, находки рождаются при высшем сосредоточении. Надо смотреть, смотреть и вдруг заметишь... блестинку. Это магическая золотинка, магический камень.

Он говорил с таким подъемом, с такой напряженностью, что глаза светились, он помолодел...

— А не верю я, Леонид Максимович, что вы не были счастливы.

— А я и не ропщу. А вообще-то есть ли оно, счастье? Поверхностный человек, глядя на меня, скажет: «И чего ему нужно? Есть слава, деньги, квартира, живет больше Льва Толстого...

— Вернемся к «блестинке». В ней, как в маленьком зернышке, запрограммирован громадный кедр. Заложены основы того или иного литературного течения. Наверное, основы современной деревенской прозы. Ведь добавить ее мастера ничего не могут.

— Ну, уж это зависит от талантливости.

— Не только. А от широты и глубины захвата жизни не зависит?

— Я не говорил вам о маховом колесе. Запускаем на 100 оборотов и прикасаемся железкой — из железки летят искры. Увеличиваем до 1000 — прикосновение даже тряпкой дает яркий свет. Тряпка горит и освещает все. Вот у Достоевского жизнь прикасается к колесу, крутящемуся с огромной скоростью. У Ю. Нагибина, чью повесть я читаю в «Новом мире», оборотов 150. Не хочу обидеть его. Он талантлив, в бытовых вещах бывает удачлив. Но не дальше и не более того.

— Что вы находите в его повестях — сочинительство?

— Ну, сочинительство не всегда порок. Его и у меня немало. Толстой тоже сочинял: из слов составлял ситуации, из быта, а Достоевский — из философских блоков.

— Быть может, вернемся к проблеме счастья, о котором в «Воре» сказано, что его нет. а есть лишь стремление к нему.

— А что — не так? Вот говорят: залог счастья. Да ведь нет счастья. Счастье — в несчастье. Что такое счастье? Я только что говорил, что живу больше, чем Лев Толстой — это счастье? Достоевский был счастлив? А Чайковский с его проблемами? Не бывает счастья. Счастье — это неподвижность, неизменность. А что не изменяется? Счастье —

часть творческой деятельности. А творчество — рождение, а рожать — трудно.

— Помните слова Маньки: «Ух, какая ледяная земля». Психологически это очень верно. Земля здесь такая же холодная, как небо в «Тихом Доне».

— Верно! Она холодная особенно, когда люди относятся друг к другу жестоко, как Митька к Маньке. Должен буду еще вписать несколько строк, чтобы никаких иллюзий у читателя относительно Митьки не осталось.

— Зачем же в конце романа приписано, что Митька едет излечиваться трудом?

— Вот такие случаи в своем творчестве я и имел в виду, когда писал в статье: «Надо надеяться, что суровый завтрашний критик примет во внимание при оценке наших столь несовершенных, насквозь пропитанных гарью и шлаком великого вулканического извержения, таких противоречивых рукоделий, при виде которых испытываешь смешанное чувство неизбежности исполняемого долга и отчаяния»...

— На странице 615 есть фраза: «Мимо, задевая иногда, проносились искры, мысли, колющие крупицы угля» — так?

— Да, так. Дым, гарь, искры из трубы паровоза. Мысли. И сейчас бы так написал.

— В эпилоге приводится тезис Фирсова о том, что по устройению земного тыла человек вырвется в гордый простор вселенского Океана. Из него выросла «Дорога на Океан»?

— Да.

— Вы считали, что к тому времени у нас уже тыл был устроен?

— Никогда я не был так близок к нашей идеологии, нашему идеалу, которые и сегодня считаю самыми живительными, как в годы, когда писал «Дорогу на Океан», под видом Президента земного шара я вывожу Горького, его имею в виду...

— А вы сознательно вложили в уста Митьки горьковский лозунг «вперед и выше»?

— Как? Разве? Это случилось не преднамеренно, если так...

— В романе фигура Векшина освещается с разных точек зрения: глазами Фирсова, Маньки, Ксении. Это придает образу стереоскопичность. Этот прием вам подсказало кино?

— Нет, не кино. Может быть, живопись. И переделка тоже ведь придает образу стереоскопичность. Появилось еще одно видение Векшина, его второе изображение. Это специфика любимой мной структуры. Постройка. Потом надстройка. Потом пристройка. Вариант, предлагаемый Фирсовым. Потом им же отбрасываемый. Глава написана, включена в книгу, но о ней сказано, что она отклоняется. Вы знакомы с картинами Эшера? У него есть такие алогичные постройки. Быть может, он что-то подсказал...

— Затем вы в законченный роман включили целую главу, в которой Чикилев читает записную книжку Фирсова, заставляя нас еще раз прослушать все то, что мы уже знаем и о блестинке, и о драме Векшина, и о трагедии Маньки Вьюги...

— В этом состоит личная моя драма. После завершения каждой вещи у меня остается много не вошедшего материала, иногда важных мыслей, которые в романе некому сказать. И вот самое дорогое из оставшегося я даю здесь. Даю потому, что главное — в этих добавлениях — квинтэссенция, осмысление. И другой поворот темы. Так, вот так, чуть вот так поворачивается — и вы видите уже с изнанки. Я всегда смотрел на читателя как на соучастника и, веря в него, показываю ему кое-что с изнанки.

И вдруг, загоровшись, похвастал:

— А разве не находка, когда Манька приходит к Фирсову на квартиру и, увидев ее, жена его говорит: «Вот твоя. Поднеси ей рюмочку». И Манька вянет. Старееет на глазах, становится видно, что она б... Оцените!

25 марта 1982 г.

Леонид Максимович звонит из Барвихи:

— Хожу по дорожкам. На каждой вижу себя с Татьяной Михайловной. Вспоминаю, о чем говорили здесь. После прогулок... лежу, читаю книги. Детективы тоже. Наших? Сегодняшних? Тоже кое-что смотрю... Нет, сам не пишу. Делаю какие-то заметки...

— Написали бы рассказ... о Татьяне Михайловне.

— Что вы! Я набит темой романа, как кильками консервная банка. Ни о чем другом не могу думать. Сделал множество вставок... то есть написал на листочках.

Прочитал В. Солоухина «Время собирать камни». Талантлив, но разбрасывается. Уговаривал его писать роман, но, видно, сил недостает, и тут написано все душевно, со знанием дела, но не может дать написанному классической формы.

— Он ведь поэт.

— Да, и от этого легкомыслие у них. На ветру живут, крылышками трепещут.

Л.М. пожаловался, что ушла экономка — работница Маргарита Эдуардовна. Уходя, сказала, что никогда не жила в таком захолустье. Когда шла в экономки, надеялась, что будет среди интересных людей, на приемах, в театрах, гостях. Ни разу этого не было. Никто не бывает, а если и бывают, то все в кабинете с ним. Ей скучно. Передал мне все это, добавив, что он «человек, к общественному потреблению непригодный».

— Л.М., — утешал я его. — Вы должны быть готовы к тому, что все «дамы», что будут наниматься в ваш дом, ко всему прочему, озабочены и матримониальными проблемами, невзирая на возраст.

К тому же, ведь они и не представляют, какая скучная жизнь у писателей — наши жены видят только письменный стол со скрюченной над ним спиной мужа. Но они привыкают и терпят нас, а вот работница ошеломилась. Она и мне говорила то же самое, объясняя свое недовольство скукой.

22 апреля 1982 г.

Леонид Максимович вернулся из Барвихи. Посвежел, но не поправился — все так же худ, меньше становится ростом, теряет былую солидность. Настроение тревоги не покидает его.

— Грядущее страшно. Я-то пожил, а вот детей жалко... Сегодня пессимизм более уместен, чем беззаботный оптимизм. Нельсон был прав, когда говорил, что нельзя недооценивать противника. Природа чувствует опасность. Огрубляются мысли, чувства, поступки людей. Это форма защиты природы от надвигающейся опасности...

9 мая 1982 г.

— Спасибо, что позвонили, — сказал Л.М. — Сижу всеми забытый. Даже на телевидении передавали рассказ о писателях на войне, обо всех вспомнили — о Симонове, Ортенберге, Эренбурге и других. Меня не назвали. В юбилей «Правды» некий Потапов тоже не назвал меня среди печатавшихся писателей на страницах газеты. Разве это не дискриминация?

А когда кто-то выразил ему неудовольствие подобным, он на собрании, кажется, в Доме журналистов заявил, что ему «позвонил Леонов и устроил скандал из-за того, что я не назвал его имени. Чтобы он еще раз не устроил скандала, называю его имя». Вот так-то. Не знаете, кто такой этот Потапов? Чем известен? Уверяю вас, что я ему не звонил и ни разу в жизни с ним не говорил. Впрочем, бросим это...

— Что нового в литературе? Лично я погружаюсь в смирение, а вы?

— Еду в город Горький на конференцию «Горьковские чтения». Будет доклад Чивилихина о Леонове. Перечитал я и статью Горького о вас. Хорошая.

— Чивилихин — человек интересный, знающий. В «Памяти» отличные страницы о Козельске.

— Ю. Бондарев пишет новый роман из жизни киноработников, — сказал я.

— Я верю в Бондарева. Он напишет хорошую вещь. Вообще-то почти у каждого писателя то, что пишется, лишь подготовка к главной вещи. Не исключено, что Бондарев к ней подходит. Потому, что писать о

киноработниках, у которых воздушные корни, — едва ли создашь на этом материале свою главную книгу...

16 мая 1982 г.

Ранний утренний звонок. Л.М. взволнованным голосом:

— Помните, я сказал вам фразу Горького обо мне? И еще Чивилихину. Я выдал ее, чего и стыжусь. Как будто предал Горького. И вдруг сегодня ночью понял, почему он мне ее сказал. Разгадал, в чем дело. Пишешь-пишешь, и вдруг наступает разочарование, неверие в себя. Видишь недостижимость того, к чему стремишься. Вот и я сейчас испытываю такое состояние упадка. Припадки неверия в себя у требовательных писателей наступают задолго до конца. У Горького это с 1931 года. В приступе такого настроения он и сказал, что я талантливее его. Сказал, рассчитывая на опровержение. Нет, не спорьте со мной. Он мог говорить похвалы, рассчитывать на похвалы, возражения, опровержения. Это очень сложное алгебраическое чувство. Конечно, он радовался успехам собратьев. Он — просвещенец. Радовался, что растет талантливая поросль. Хвалил. Но сравнивая с собой, отдавал пальму первенства мне. Он ждал опровержения, а я... ошеломился.

Поспорили. Затем поговорили о «Жизни Клима Самгина». Л.М. снова повторял, что роман создан из всех остатков, обломков, оказавшихся на писательском столе и в конвертах... Я решительно не согласился, считая роман эпохальным, замысел его — продуманным и значительным.

И опять говорит о Горьком. О том, что он видел его под конец жизни, когда он сидел за столом, схватившись в отчаянии за голову. О том, что он сравнивал себя с Горьким и с чувством превосходства думал, что тот пишет прямолинейно, не обладает «боковым зрением», а потом, читая, удивлялся его «мускулистости» и силе.

Сказав, что не пишется, Л.М. пожалел об этом:

— Достигается иногда такая высота, с которой видно все, ничто не препятствует видеть мир в его подлинности, но писать не хочется — нет внутреннего стимула.

26 мая 1982 г.

Сегодня, встретив Володю Чивилихина, проверяя свою память, спросил:

— Л.М. уверяет, что он выдал Горького, сообщив тебе и мне особую похвалу молодому Леонову. Что же ты услышал от Л.М.?

— Горький, выслушав одну из импровизаций Леонова, сказал вроде, что Леонов — большой писатель, крупнее меня. А тебе что-то другое?

— Нет. Смысл тот же.

27 мая 1982 г.

Вечер провели у Леонида Максимовича. Пили чай. Он нарезал две сайки, за которыми сам ходил в булочную (так он сказал). Ольга принесла халву, и он с удовольствием ее ел. Грустно было видеть его теперь, сравнивая с тем, когда была Татьяна Михайловна. В доме многое менялось. Разговор не клеился. О.М. рассказывала о своей поездке на Псковщину. Л.М. вспомнил, как он поехал на родину, недалеко от Высокиничей.

— Вышел на холм. Вон там была деревня — нет ее. И вон там — тоже нет. И той — тоже нет. Что ж, оскудела Россия, разорена русская земля, все тянут на целину, окраины — там возводят заводы, институты, грандиозные проекты осуществляют. Вот и слышали от Айтматова и других, что русский народ исчерпал себя, как когда-то греки, римляне. Главный подшипник, на котором вращается Советский Союз — русский народ — что — всеми ненавидим? Мой народ падает, хочется верить, что упадет он вот так — на четыре лапы, чтобы после падения встряхнуться, напрячь все силы и встать крепче, хотя положение такое, что на него могут и наброситься со всех сторон. Надо идти к народу, сказать ему всю правду. Народ должен направлять свой ум на решение вопросов, не надеяться на власти. Сознают ли «на верхах» это? Как вы думаете, сознает ли это Георгий Марков — руководитель писателей?

— Сознает, но сказать не решается.

— И другие не скажут. Так как на смену интеллигентам Л. Толстому, Щедрину, жившим идеей, пришел интеллигент, думающий о своем благополучии больше, чем об идее. Пришли Чаковский, Кожевников и легион поддакивающих — «лишь бы мне хорошо».

— Л.М., а есть и не поддакивающие нашим властям, а диссидентствующие, но надо еще вникнуть — во имя чего они не поддакивают? Разве во имя России, а не в угоду ли тем, кто спит и видит ее поверженной?

— Так ведь и те, и другие способствуют одному. Когда я написал «Русский лес», то думал, что тотчас создадут комитет защиты народных богатств. Ничего не создали, а меня чуть не затоптали, хотя я предусмотрительно не коснулся положения в текущий момент. Почему же столь пренебрежительно относятся к нашему слову? Вообще, что это за люди, руководящие культурой — все эти Шауры, Беляевы и подобные им? Какое отношение к культуре имеют эти бюрократы? Имеют ли они хотя бы отдаленное представление о ней? Трусливые, скользкие и нечестные люди. Вот ваш Институт мировой литературы кем управляется? Его возглавляют проштрафившиеся номенклатурные деятели — например, Сучков, Барабаш, Бердников и другие. Получив академические звания в результате руководящей деятельности, они

дают ученым ценные указания. Вам, как умному, помогли работать эти указания?

После смерти Поликарпова никто ни в ЦК, ни в Союзе писателей не спросил, что я думаю о литературе. На официальных встречах мне кажется, что и Суслов, и Зимянин, и Шауро больше всего боятся заговорить со мной о литературе.

31 мая 1982 г.

Пришел к Леониду Максимовичу, чтобы поздравить его с днем рождения — 83-летием.

— Лев Толстой уже год лежал в земле, а я все живу...

— Настоящий талант всепоглощающ и жесток. Он забирает у человека все время, силы, мысли и чувства.

— Да, вы говорите почти словами Пушкина. Он утверждал, что «поэзия бывает исключительною страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни», — прочел я цитату из своего блокнота (т. V, стр. 541). Поэтому мало настоящих писателей, может быть десять-пятнадцать...

— А больше и не бывает.

— Кого же вы выделяете? Шукшина?

— По-русски талантлив и по-русски разбросал себя. Надо бы ограничиться, чтобы проявиться по-настоящему.

— Распутин?

— Хорошо талантлив. Если его не испортят похвалами, может написать настоящие книги. А как он дошел до того, что написал предисловие к сочинению Евтушенко?

— Астафьев? Очень талантлив, но удастся ли ему, человеку из народа, в полной мере понять его и масштабно отразить?

Заговорили опять о Горьком. Л.М. спросил меня:

— Вы не считаете, что пришло время заново прочесть биографию и творчество его? По-новому — без упрощений, выпрямлений, умолчаний, нападок. Как отложатся на нем все эпохи нашей истории — время Николая, революции 1905 года, эпоха Ленина и Сталина!

— Да, я мечтаю именно такую книгу написать, но пока у меня не выйдет это.

— Не напечатают? Пожалуй, да.

— Думаю, что напечатают. Всю жизнь я готовлюсь к такой книге. Успеть бы... Но перегружен работой по изданию собрания сочинений Горького. Жду завершения подготовки томов. Это и моя подготовка к книге.

— Титаническая личность.

— Почти. Может, полутитаническая.

— А как вы относитесь к Ремизову? Небольшой он был писатель, верно? Мне кажется, что сейчас несколько преувеличивают значение писателей-эмигрантов. Это понятно, компенсация за умалчивание.

В Бунине не понимаю его отношения к России. С Горьким послереволюционных лет их сближает, что они видели прошлое лишь в отрицательных проявлениях, но ведь была же и другая Россия — Суворов, Достоевский, Сергей Радонежский. Это же великие страницы русского духа.

Мой дед страдал запоем. Когда это случалось, водку носили ему четвертями. Но я не помню, чтобы он в этом состоянии оскорбил бабушку. А что запомнил? Запомнил, как он вышел красный, опухший и сиплым голосом повторял: «Детишек не обижайте!» Почему же Горький в автобиографической трилогии, Бунин даже в «Деревне» выдвинули на первый план все грязное, отрицательное? Порой я объяснял, что отрицательное изображать легче. Ну, как изобразить людей, пьющих чай и разыгрывающих друг друга? А драку изобразить вон как просто. И еще одного не понимаю — Бунин любит начинать произведение с тонкой стальной гравюры, с подробности, отшлифованной до блеска. Вот этой чистописью он меня отталкивает. Обнаруживая ее у себя, я ненавижу самого себя. Нельзя начинать с подробности. Нужна скупость, отрывочность. Тук, тук и — забилося сердце — вот как надо начинать.

— Л.М., не могу согласиться, что у Горького в книгах о детстве все отрицательное на первом месте. Вспомните доброту бабушки, а там и еще много всего хорошего, памятного с лучшей стороны.

— Талант — это разбег, взмах крыльями, их трепет... И вот вы помахиваете ими, а под вами расстилается весь мир, вы видите все ясно, отчетливо, и все можете изобразить... Впрочем, изобразительность — не решающее качество. У Достоевского рассказ преобладает над показом. Смелое столкновение сгущенных идей и — вы захвачены спором, без решения которого жизнь становится немила. Тем более, что мы же решительно ничего не знаем. Как устроен мир? Где стержень? Куда идем?

Вот я в своем последнем романе пытаюсь определить координаты современного человечества, но многое комкаю. Касаясь человека и Бога, многого не договорил, а многое скомкал. И очень боюсь за будущее.

Возвратился к Горькому, рассказав о его встрече с Уэллсом.

— Последний был очень раздражен: «Что вы все хвастаетесь, чем хвастаетесь? Только что провалилось метро». «Которое помогают сделать английские инженеры!», — ехидно заметил Литвинов. «Которых вы не сумели использовать!» — парировал Уэллс... не знаю причину взвинченности англичанина, но, когда я шел на встречу с ним, Крючков мне шепнул: «Не проговоритесь, что приезжала в Москву»

Мария Игнатьевна». Быть может, здесь и крылась причина раздражения.

Сказал о Сталине:

— Возможно, для него социалистические идеи были лишь средством подняться на самый верх, чтобы командовать миром...

Перед самым моим уходом вдруг спросил:

— Как вы думаете, огромный вред нашей стране нанес Сулов?

И сам уточнил:

— Демонически посредственная натура. По-моему, человек жестокий, злой, недалекий и похож — безграмотный.

— Однажды он сказал, что в Белоруссии есть писатель, интересно написавший о птице. Он имел в виду «Плач перепелки» Чигринова — книгу о войне, — заметил я.

— После этого Шауро, конечно, имел самое высокое мнение об этом писателе? — засмеялся Леонид Максимович.

О.М. стала говорить о рассказе Георгия Семенова «Игра в колечко». Л.М. читал рассказ, он ему понравился.

— Сколько невеселого рассказали вам, Леонид Максимович, чтобы настроить на оптимистический лад, — шутя сказал я перед уходом.

— Тут дело в том, что сам я думаю еще мрачнее, — ответил он. — Неужели там нет ума, чтобы сделать то, что надо делать? А в литературе нужно качество. Но какое качество, когда у кормушки Союза писателей рядом слон, тигр, курица, собака, насекомое и — все жрут. Ведь 10 тысяч писателей, живущих только за счет литературного труда и при поддержке СП. Где еще такое? Трудно настоящим писателям в такой толпе жаждущих. Особенно молодым и талантливым трудно пробиться и потеснить околотитературный сброд, мешающий работать. Вот вы, А.И., критик, давний, говорят, член приемной комиссии в Союзе писателей. Почему же вы принимаете без конца?

— Л.М., в Комиссии по приему всегда сложно. Там групповые интересы, как нигде. Если даже кандидат очень талантлив, то его не пропустит соответствующая часть комиссии, не выторговав пропуск для своих избранников, пусть они будут и бездарны. Русскому там пройти, как в игольное ушко. Именно в приемной комиссии я всегда думаю, что надо разогнать Союз писателей, если он так формируется. Зависит все от интересов, настроений, от умения председателя организовать прием достойного. Вы правы, что жить только за счет писательского труда большинство членов Союза писателей не должно. Это способствует графоманству и пробивной силе, но не рождает таланты. Конечно, есть исключения... Однозначно, как лучше организовать прием, ответить не берусь, надо думать вместе...

О записных книжках Л.М. сказал, что они ему не нужны.

— Даже элементарная фраза не может войти непроверенной в произведение. В каких соусах, на каких подливках все это варится и переваривается? Самое же главное — это отбор. Что необходимо взять

в произведение, а что безжалостно отбросить. Современные писатели тащат в произведение все — это и губит литературу, лишает ее золотого обеспечения.

Л.М. вспомнил отчего-то М. Шагинян:

— Шагинян писала по восемь метров в час. Властная, беспощадная женщина. Никого не боялась. В дом Горького хотела войти только с парадного входа, как члены правительства.

15 августа 1982 г.

Были с О.М. у Леонова. С нами пошла Люда Шикина, поэтесса, которую Л.М. рекомендовал в СП, жена болгарского профессора Б. Михалкова. Долгий разговор обо всем.

— Не кажется ли вам, что существует сила, умно разваливающая все и вся? — спрашивал Л.М. уже не в первый раз. — Это началось давно, еще до войны. Почему всем трезвомыслящим людям понятно, что это или то так делать нельзя, а делают именно так, как не надо? Сознательно делают во вред делу.

Перешли к искусству:

— В искусстве не должно быть лигатуры, а только чистое золото. Я как-то говорил Суслову, что у нас «один чеканит, обливаясь потом, золотой рубль, а другой, запасшийся американской машинкой, печатает пачки ассигнаций, в цене же все одинаковы». Тот ответил: «Мы это знаем».

15 декабря 1982 г.

По телефону:

— Вы смотрите телевизор? — спросил Л.М. — Показывают балет «Чайка» с М. Плисецкой. Что же это такое? Тригорин танцует. И Нина...

Я включил телевизор, постановка заканчивалась овацией.

— Это невероятно! — сказал Л.М., — ничего не понимаю. Причем тут Чехов?

— Что делать, Леонид Максимович? Классику не огородишь стеной, которая бы защищала от посягательств. Могли бы и сами сценарий или либретто создать, но легче добиться успеха, сенсации, используя классику. Понимают ли, что драму Тригорина опошляют, а не передают с помощью балетных возможностей? Что им размышления Горация, Буало и других об эстетическом своеобразии жанров?

31 декабря 1982 г.

Давно не записывал бесед с Л.М., но эту запишу. Позвонил он сегодня часов в 12. Голос бодрый, только что вернулся из Софии.

— Был у бабы Ванги. Она говорила быстро, нервно. Я включил магнитофон, но ничего не записал. Оказывается, я вчера не тот рычажок нажал. Наташа готова была меня убить. А что у вас тут нового?

— Вот читаю В. Сидорова («Москва»), все говорят, жаждут приобщиться к восточной мудрости, мистицизму Востока.

— Читал. Интересно, так как и это входит в палитру мысли. Эту краску нельзя исключить. Незнаемое, сложное часто отвергаем слишком поспешно. Мы утилитарно подходим ко многому. Достаточно нарисовать церковь без креста, как могут художника объявить революционером. Надо поднять качество всего, что делаем. Я рассчитываю на торжество здравого смысла в наступающем году. Первые шаги Ю. Андропова внушают надежду. Надо строже, но кнут тоже не помогает. Кнут — татарского происхождения, и татары кое-что нам привили...

В литературе надо качество выдвинуть на первое место. «Цемент», «Неделя» — все это погасло потому, что запас прочности был мал. Помню, на конгрессе показали тарелку Пикассо, на которой была нарисована селедка. «Он делает по сорок таких шедевров в день», — воскликнул П. Элюар. Разве в искусстве что-то изменилось со времен Леонардо и Микеланджело? В труде художника, как и в их время, шедевры не рождаются наспех. Они добываются труднее, чем золото. Сколько раз я заканчивал свои произведения, а они вновь вылезали из-под плиты и беспокоили меня по ночам, не давая спать. Сколько раз переделывал их.

24 февраля 1983 г.

По телефону:

— Пора создавать золотые, а не фанерные вещи большого охвата. Надежды у людей сейчас большие на то, что все изменится в сторону разумности... Говорят, что вещи сложные вряд ли нужны, надо о продовольственной программе писать. Вон — тысячи ржут от глупостей, изрекаемых на сцене, по телевизору. А ведь будто грамотные, многие с высшим образованием — где же культура?

— Диплом еще не культура.

— Вот-вот, я тоже все чаще подумываю над тем, нужно ли тащить к высшему образованию человека, который может быть только дворником или заниматься другим полезным делом? Если образование не развило в человеке умения самостоятельно мыслить, давать всему свою оценку, то или образование не то, или этого человека надо держать подальше от образования.

Обули деревню в туфельки. Между тем, крестьянство — корни, которые непосредственно соприкасаются с землей. Нет этого — нет и крестьянства. Это, конечно, фигурально — насчет «туфелек». Я не за

то, чтобы мы ходили в лаптях. Но за то, чтобы «образование» не уводило людей от дела, в котором можно быть виртуозом. О многом все сильнее задумываюсь. Казалось бы, великое благо «высшее образование», а что-то интеллигенции все меньше. Той интеллигенции, которая жила для высоких целей, а не для себя, умела бы аналитически мыслить, давать заряд всему народу на его же благо. Так? А, может, совсем не так надо было все делать, чтобы сохранить и приумножить великую культуру, защитить ее от сорняков и подделок? Культура это, прежде всего, уметь каждому трудиться и любить труд, который обеспечит не только тебя, но и общество, украсит его и преобразует.

23 марта 1983 г.

Открытие Дома-музея М. Горького в особняке на Никитской (запись О.М.).

Очень много людей, известных писателей, художников, артистов, сотрудников ИМЛИ им. Горького.

Выступления директора ИМЛИ Бердникова, писателя А. Ананьева, директора музея Горького Быковцевой. Она сказала, что при жизни Горького в этом доме не раз бывал Л. Леонов, присутствующий и теперь.

Л.М.: «Много провел счастливых минут в этом доме, продолжая разговоры с Горьким, начатые в Италии».

Художник Соколов (Кукрыниксы) сказал, что он тоже был один раз в доме при жизни Горького, но запомнил на всю жизнь.

Ленточку разрезал Л.М. Леонов. Пошли осматривать библиотеку, кабинет, столовую. Были писатели Ананьев, Стаднюк, Викулов и др. Заметен более других — И.С. Козловский. Леонид Максимович стоял под наведенными на него объективами репортеров.

В столовой накрыт стол. Л.М. сидел в одиночестве на почетном месте. Я поздоровалась и сообщила, что Александр Иванович уехал в Ленинград на похороны друга — академика А. С. Бушмина. Л.М. позвал к себе и усадил рядом. Подошел директор Бердников, но Л.М. меня не отпустил, и он вынужден был сесть не рядом с Леоновым. Чувствуя себя неловко, я пыталась пересесть, но, видно, Л.М. защищался мною от соседства директора.

Разговаривали с Л.М. Сказал, что в Барвихе было скучно. Отдыхал там и Сурков, но с ним «может общаться не более трех минут».

Как раз за столом напротив сидели Сурковы, Эльяшевич, Ананьев, И. Козловский, Р. Гамзатов, Марфа Пешкова. Справа — Бялик, Козьмин и другие сотрудники ИМЛИ.

Узнав, что Александр Иванович на днях уедет на север, Л.М. возмутился, что он не щадит здоровья. Сообщил, что сидящая рядом с Бердниковым дама — директор Литературного музея, вышла замуж за Зильберштейна: «Судите, что будет с архивами». Я успокоила Л.М.,

сказав, что знаю его и в конечном счете этот коллекционер не увезет, а отдаст государству.

Спросила Л.М., как он находит дом Горького теперь, похоже на то, что было? Он ответил, что «нет, другая атмосфера».

Почему-то заговорил о художнике Корине. Л.М. заявил, что он не любит его. Мне тоже казалось, что много стилизации. Попросила Л.М. похлопотать о посещении квартиры Нестеровых, он пообещал.

Рассказал о хозяйственных делах, как питается (готовит домработница), что неприятно было стоять в очереди за обувью, так как узнали его.

Я засобиралась уходить, но еще поговорила с Марфой Пешковой, такой милой и приветливой женщиной, а потом с И.С. Козловским, уже спевшим свой романс и пригласившим меня на день рождения (кажется, завтра). Марфа звала прийти в Музей в обычный день, и «она все покажет по-настоящему».

— Трудно жить, — сказал Л.М. — Все изменилось. В ЦДЛ обедать ходить не могу, хотя рядом. Пойдешь — лезут, амикошонства не люблю. В Дом кино — нет пропуска. Не могу достать кинескоп для телевизора, обещают помочь в Союзе писателей, а то известий не узнаешь.

6 августа 1983 г.

Все реже записываю свои разговоры с Л.М. Сегодня мы — Е. Носов, Ольга Михайловна, дочь Оля и я были у Л.М.

О.М. стала рассказывать о Ниде, где мы отдыхали, что природа там еще сохраняется — удивительные и необыкновенные травы на дюнах, похожие на травы в Коктебеле, но и там покушаются на нее — много строят.

Я сказал, что курянин Е. Носов живет в краю, где такое разнотравье... Е. Носов заговорил о заповеднике — «остались кусочки степи, которые не успели распахать в угоду Хрущеву. Они разделяются на части — те, которые скашивают, и — нет. Если не косят, то разнотравье уничтожается, вырастает бурьян и крапива».

О.М. заметила, что она не очень любит сплошной лес, а предпочитает перелески, лес и степь, просторы, перспективу, даль. Тайги боится.

Леонид Максимович присоединился к ней.

Е.Носов:

— В степи есть что-то завораживающее. Был я в Казахстане, Азии, пустыне, где удивительное время перед наступлением ночи. Вдруг коживает — насекомые и растения.

Л.М. вспоминал:

— Я тоже был с Фединым, Луговским, Санниковым, Павленко, Тихоновым в Туркмении. Мы ездили в Мары. Увидели памятник — могилу высоченную, но и там было написано: «Петя». И еще смешной

случай, о котором написал Тихонов. Нас сопровождал редактор «Туркменской искры» Брагинский. Мы плыли по Амударье на баркасе, не управляя им. Он то приставал к берегу, то отчаливал. Спали в палатке. Вдруг начался ветер-самум, упало крепление, если бы не чемодан, то могло и по голове. В Мерве (Мары) вдруг пришел милиционер и спрашивает: «Кто Леонов? Я должен его сопровождать в уголпрозыск. чтобы сделать отпечатки пальцев». Я обиделся, сказал Брагинскому, который обозвал милиционера дураком. Оказывается, они получили телеграмму, где сообщалось, что в делегации Леонов — «вор, барсук».

Посмеялись. Леонов спросил Е. Носова: «Вы — оптимист?» Тот ответил, что «старается изо всех сил, но не получается».

Л.М. заявил:

— Если сидеть в Переделкине, то все хорошо. Есть в магазине «колониальные» продукты. Но в деревне, какой она стала? Если община объединяла людей, то теперь они разъединены. Раньше деревня была «самозатачивающимся нравственным орудием», не зависящим ни от государства, ни от властей.

Е. Носов:

— Теперь механизатор — главная фигура в деревне. Все у него есть — машина, насосы, электро. А для чего? В душе пусто. Многие люди погрузились в приобретательство. Все имеют — у кого чего больше. Если встречаются два человека, то у кого шапка лучше, того и пропустить надо на дороге.

Л.М. продолжал:

— Да, ведь раньше человек жил и думал, что умрешь, а там надо отвечать. А теперь убежден, что со смертью все кончается, поэтому рви, хватай, жри. Было, построит церковь — доволен. Наверное, должны существовать сословия. В сословном построении общества не все было отрицательным. Как сито, фильтр, просеивающий людей. Другое дело, что, как в сифилисе спирохета проникла в мозг, так при Романовых последних все нарушилось.

А.И.:

— Но почему же такое с деревней? Вы считаете, Л.М., что религия держала многое?

Е. Носов:

— О люмпен-пролетариате в деревне, а теперь он и в городе, на заводе тянет все подряд — это не тот профессионал-рабочий, что был, только и думает, как и что утащить... Люди видят нелепость и непродуманность многих решений начальства. Вот комплексы по выращиванию свиней — явно отрицательное явление, которое все отравляет. Свинина вся дряблая, как стеарин, больная, поросята больные (ревматизм на бетоне), а все рекламируют, как достижение.

Л.М. согласился, что беда, если начальство мало волнует, так или не так что-то делается в хозяйстве.

— Вот насчет битума. Не могу выяснить, кто придумал настилать паркет в квартирах на битуме. Я прочел у Герцена (сына врача), что рак может быть от битума. Так зачем же делать паркет на битуме, если это опасно?

Л.М. еще говорил о Толстом и Достоевском, как всегда, ставя последнего на недостижимую высоту.

На что Е. Носов возразил:

— Но Л. Толстой больше работал на объединение России, а Достоевский ищет у русского слабости.

16 августа 1983 г.

Я пришел в 7 часов вечера на дачу Леоновых. Прошелся по участку. Поразились яблоням за домом, редкостно рясным. Прошел к кактусам, полюбовался самым маленьким, с оранжевым подбоем, похожим на хомячка. Потом сел на крыльцо и стал смотреть на море флоксов, которые разводила Татьяна Михайловна. В их красоте была ее душа.

В доме Наташи звенела посуда. Я решил, что Л.М. там ужинает. Вдруг он появился из-за спины и спросил: «Чего же вы не заходите?» Я ответил: «Думал, что вы ужинаете».

— Нет, не ужинаю и вообще целый день лежал.

— А вы днем не спите?

— Ни одной минуты.

— Читаете?

— Нет, не могу. Читать нынешних? Может, я привередлив или старомоден, но когда начинаю читать, мне кажется, что они не умеют распорядиться словом, эпитетом, не владеют композицией... К столу не тянет. Есть не хочется. Вот лежал с открытыми глазами. Изменения ли природы, климата, политическая ли ситуация или просто возраст — что причина, не знаю. Да и зачем все это, если какой-нибудь маньяк по пьянке или смертельно поссорившись с женой, вдруг нажмет кнопку, и все взлетит к черту.

— Я возразил: «Цивилизация существует тысячелетия. Все бывало, но ведь она не погибла. Между прочим, благодаря искусству. О Перикле известно, что у него гетерой была Аспазия, что он ввел особые законы. Но век Перикла называют Золотым потому, что при нем строили Парфенон, Фидий изваял своего Зевса и золотую Афину Палладу».

— Вот-вот, — перебил он, — и я думаю, если бы у нас были умные правители, они бы оставили после себя не Черемушки, а Лувры.

— А вы? — спросил я. — Вы начали возводить свой Лувр и бросили. Я говорю о вашем последнем романе.

— Я уже вам говорил: *Habet sua fata libelli*.

— А может, вы не хотите, чтобы у нее была другая судьба? Или вы переживаете то, что описал Гоголь в «Портрете»?

— Я взбодрил воз, вывезти который не хватит сил. Вот я сделал статую и вижу, что у нее одна нога длиннее другой. И рука не очень гармонична. И вот я сделал 1200 вставок. Это и есть новые руки и ноги, а приделать их я уже не могу.

— Вы оставляете роман на съедение литературоведческим червям, издайте его хотя бы в том виде, в каком он сейчас есть. Расхваливая многих из писателей-современников, я все жду эпохальных произведений. Что останется от нашей эпохи, действительно величайшей и трагической? Может, три или четыре имени. Останется ли Горький?

— Он останется... У нас не думают о будущем. Издержки нашего пути были так велики, что никто, кроме нас, не рискнет повторить его... Мы ниспровергли все старые ценности: Бога, собственность, личное благополучие, потустороннюю жизнь. У нас была только одна возможность — заменить их интенсивной мыслью каждого человека. Иначе человек бросится к старым ценностям или будет просто хапать, рвать, жрать, что и наблюдается сегодня в опасных масштабах.

— Но ведь революция начиналась именно для того, чтобы каждый дал простор своей мысли, воображению, своим человеческим возможностям. Но где-то, когда-то, кто-то спутал разные понятия, решив, что единомыслие равно одинаковомыслию, что если люди по-разному мыслят в одном направлении, то они не могут быть единомышленниками. Многообразие мысли предпочтен стандарт мысли.

— Известные мыслители — горсть соли или сахара, брошенная в море, разве изменит его вкус?

— И все-таки, Л.М., возвратимся к вашему роману. Больше 30 лет жизни вы отдали ему.

— Да, я прерывался, работая над «Вором», «Евгенией Ивановной». 20 лет назад первый вариант был закончен. Я стал переписывать отдельные части, а они требовали переделки всего остального. Я переписывал по-новому страницы, эпизоды, картины, а вот теперь не могу свести все это в единое целое...

При Николае II была издана карта вот с этот стол. И на ней изображались все важнейшие события, генеалогические древа, исторические ситуации в виде рек, потоков, схлестывающихся течений. Так в потоке исторических вихрей находится человек и человечество. С нами начинается история или кончается?..

Если мы хотим найти выход, мы должны учитывать каждую мысль... Порой неприятный ответ дает больше, чем согласие. Лет 7 назад, когда у Стаднюка был Молотов, я сказал ему: «Пессимизм полезнее оптимизма потому, что он заставляет беспокоиться, думать, искать». Это было осуждено Молотовым, который назвал меня контрреволюционером.

Как вы думаете: на Политбюро каждый говорит, что думает? Трезво и откровенно?

— Не знаю, не думаю, — ответил я.

— Это самое страшное.

— И все-таки, Л.М., памятуя наказ Татьяны Михайловны, я твержу вам: печатайте роман.

— Да, она говорила мне, что просила вас напоминать мне об этом. Но какой роман, если говорят: «Думайте вот до этих мест, до Чаковского, Евтушенко, Ананьева, и не дальше. Говорят, на парткоме СП было высказано подозрительное мнение об отрывках моего романа.

— Сомневаюсь, что это так.

Август 1983 г.

— Вы думаете о смерти,— спросил меня Л.М. — И что вы думаете о ней?

Я ответил вопросом:

— А почему вы спросили меня об этом? Вы думаете о ней?

— Думаю, и очень много. Пришло время, возраст.

— Я думал несколько раз, в критических ситуациях. Например, под Смоленском в 1941 году, в Китае — в 1966 году, в США — в 1977 году. Но как-то размышления о смерти оборачивалось у меня размышлением о том, что такое жизнь.

— Ну и что такое жизнь, А.И.?

— Мне она представляется как непрерывная цепь упущенных возможностей. Но, Леонид Максимович, если бы мне ее дали заново, не уверен, что я сумел бы с умом распорядиться ею. А смерть — что же смерть? Это единственная возможность, которую никто не обойдет.

— Это очень умно и верно, но я думаю, что смерть — это совсем другое. Это нечто очень сложное, когда вам наконец-то открывается все.

— Если открывается, то тут же и закрывается, — возразил я. — Иначе мы бы знали что-нибудь.

— Нет. Я не знаю, есть ли потусторонний мир, но смерть — это нечто очень большое, очень сложное. Это другой этап. Тут существует много теорий.

— И одна из них говорит, что мы встретимся с вами, Л.М., и через много лет.

— Что ж, повторю слова: все правдоподобно в области неизвестного.

Вечером:

По телефону:

— Судьба, — сказал Леонид Максимович, — старушка в сером платочке. Сидит в уголке и смотрит: «Ах, ты жалуешься? Я тебе поддам». Лучше не жаловаться.

— На партийном собрании СП и на съезде писателей я говорил, что отрывки из вашего романа застали нас неготовыми к столь сложному и ответственному разговору на высоком уровне. Выйдет стенографический отчет — посмотрю, оставлены ли эти слова.

Много еще было переговорено в этот вечер, вечер без огня, двумя людьми, сидевшими за большим столом, на котором не было ничего.

21 декабря 1983 г.

Были с О. М. у Л. Леонова.

— Живу как-то мутно, — говорит он. — Возжусь со своим кирпичом и мало читаю. Вообще-то я считаю: все пишется для главного, что впереди. Но я пишу все не то. Какие-то записки, а надо бы главное. Но появляются все новые мысли, дополнительные размышления. А прошить невозможно. Нужен бы человек, который бы пожертвовал для этого жизнью.

— А вы знаете, что главное, что второстепенное?

— Сейчас возникли новые повороты, прочертился сюжет... 10 томов написал, может, готовился к главному... но печатать не буду. Знаете, художник вот так карандашом точно проведет... Когда рисунки Серова демонстрировались в Париже, восхищались тем, что карандашом он передавал даже свет.

Меня мало интересует информационная сторона в искусстве. Возьми газету, протокол и прочти о событии. Главное, по-моему, в том, как преломились те или иные события в душе, в духовном мире человека.

Как-то Ремизов сказал: «Вон в Москве есть Леонов — вот он мой ученик». А я к тому времени не читал ни одного его произведения.

В «Бурыге» есть все, что потом будет развиваться во всех моих произведениях: пейзаж, цирк, кукла... В новом романе есть такая перекличка.

...Рассказал, как 14 марта 1942 года в Чистополе ему приснился огненный конь с двухэтажный дом, который вышел из переулка у Моссовета на задних ногах, прошел до телеграфа, а с него сыпались огненные клочья...

Потом стал рассуждать о наших беспорядках, о неразумии руководства, о том, что «есть какой-то неверный человек в верхах (а может и не один!), который исподволь направляет все не в ту сторону... что нам нужен политический деятель не меньше Ленина».

Позвонил Леонид Максимович:

— Вибрирую, а не работаю. Знаете, если будете писать мемуары когда-нибудь, расскажите, что в 1927 году в Италии мы пошли в Неаполитанский аквариум, где я познакомился с ученым, похожим на бильярдного маклера. Он проводил жестокие эксперименты над осьминогом, каракатицей. Я увидел, как в соседнем аквариуме-клетке

мечется какой-то перламутровый кошелек, а за ним носятся рыбешки. И как только рыбешки приблизятся, он бросается от них, трепеща бахромой белых нитей. Оказывается, он снял с этого существа кожу. Нити — это нервы, рыбешки объедали их... Вот и я похоже чувствую себя — все нервы обнажены. От каждого слова, факта вибрирую. Где уж тут писать?

— Л.М., вам надо немного отстраниться от всего, поберечься. Вы слишком близко к сердцу все принимаете, а здоровье и возраст уже не дают сил...

21 февраля 1984 г.

Сообщили, что умер М. Шолохов. Я позвонил в Барвиху, где отдыхал Леонид Максимович.

— Да, слышал. Недели полторы назад видел по телевизору. Плох был, немощен. Ушел. Много загадочного было в нем. Я сказал о нем две фразы для «Известий».

— Л. М., загадочность гения была у Шолохова.

На другой мой постоянный вопрос он ответил:

— Пишу вставки. Зачем, куда? Кто их приведет в порядок? Знаете, если ребенок после 9 месяцев не рождается, мать погибнет, если не сделать кесарево сечение. А моему — 35 лет, не рождается, а разрывает весь организм.

О текущей литературе:

— Сегодня надо писать крупными блоками, думать о самых главных проблемах. А пишут о чем? Кто у кого оттягал комнату. Разве об этом?

28 марта 1984 г.

В ИМЛИ состоялся традиционный вечер памяти М. Горького (116 лет со дня рождения). Присутствовали писатели: Л. Леонов, О. Гончар, Е. Исаев. А. Кешоков, художник Д. Шмаринов, актриса, исполнявшая роль Вассы Железновой. Я произнес небольшое слово о Горьком. Когда возвращались домой, Л.М. сказал мне:

Вы хорошо говорили о Горьком, честно, справедливо, ни о чем не умалчивач,

17 апреля 1984 г.

По телефону:

— Что с литературой? Какие ужасные стихи напечатаны в «Комсомольской правде». Может, потому печатают такие слабые произведения, что рассчитывают на «возросший ум читателя»?

— Л.М., эти писаки обладают неимоверной пробивной силой, и не всегда редактор в состоянии их придержать, не пустить. А иногда

редактору наплевать на качество публикуемого, он кому-то услужает. К сожалению, теперь как бы существует мнение, что не только писать, но и печататься может каждый — есть талант или нет. Снижается требовательность. А критики потворствуют. А то и хуже — иногда набрасываются на хорошее произведение из-за чисто групповых соображений. Что ж вы хотите, если даже Шолохова всю жизнь не щадят.

— Да. я не раз испытывал это на себе. Ведь вот с «Нашествием». Я ждал худшего, как всегда. Но как только позвонил Сталин, сразу со всех сторон поддержка. Звонки от Маленкова, Александрова, Храпченко...

Вот вы — профессор. Считаете ли вы, что нужны огромные литературные институты, нужна массовая подготовка журналистов? Ведь, если даже у них нет совсем литературных способностей, получив высшее образование, они уже не пойдут в другое дело и будут создавать бездарный фон для писательства и журналистики. Сколько безнравственности в этом.

— Я тоже думал над этим. Мне кажется, что нужно литературное образование, чтобы стать учителем, редактором и т.д., а дальше уж как судьба. Наверное, достаточно для писателей Института повышения квалификации. В особенности для уже заявивших о себе в провинции, чтобы не замыкались в себе.

15 мая 1984 г.

Четырехчасовой разговор с Л.М.

Я сказал, что меня просила «Литературная газета» написать статью «Горький и Леонов». К юбилею Леонова. Он возмутился тем, что поднимается шум вокруг него.

— А.И., скажите откровенно, не говорят ли — «зажился этот Леонов»? Вот вы меня уговорили принять корреспондента из «Литературной России». Побеседовал. И что же она написала? «Леонов, расхаживая по кабинету, говорит...» Вы меня видели когда-нибудь расхаживающим? Я всегда, беседуя с кем-то, сижу в этом кресле или вон на том стуле. Но еще хуже написала о том, что я говорил — примитивно и глупо. Вы знаете, что порой мы говорим об очень сложных вещах и потому разговор сложный, фразы затрудненные... Впрочем, каждый записывает в меру своего понимания того, что слышит.

И в художественном творчестве я ведь не стремился изображать то, что видят все.

На вершине моей влюбленности в коммунизм, в строительство нового мира я задумал роман «Дорога на Океан», где ставился философский вопрос о человечности. Взяв героя из высшего круга (член ЦК), я поставил его в стрессовую, безальтернативную ситуацию,

чтобы показать, разъединяются в нем идея и человек или нет. Он безнадежно болен. И вот этот человек и на краю пропасти остается большим, настоящим. Он — человек идеи по самому существу своему, а не из каких-либо прагматических соображений. Такие люди были. В годы репрессий они оказывались в страшных ситуациях и оставались Людьми с большой буквы, людьми идеи.

Может, человек перенапрягся и поэтому все меньше встречаются такие?

В Италии я рассказал Горькому о существовании романа. О герое — вот его дела в тридцать, сорок, шестьдесят лет. Он работает на нынешний день, но часть, как осадок, уходит вот сюда, в будущее. Потом как бы все переворачивается и сделанное нами сегодня становится прошлым, уходит в фундамент, то, что было будущим, делается настоящим... Горький, глядя на мой рисунок, прослезился и сказал: «Растете, на моих глазах растете».

Когда же роман был закончен, мне позвонил Щербаков, заехал:
— Хороший роман написали.

Он, Щербаков, был хороший человек, а вот другой руководящий, когда я сказал ему: «Что вы делаете? Бьете кувалдой по голове, а я же хрупкий станок?», ответил: «Ладно, ладно, тебя быют, а ты, говорят, еще и пьесу написал!»

Видя, что такого ничем не разубедишь, я ответил: «Так оно как получилось-то... Вот Жорж Санд писала романы в общих тетрадах. Закончив роман, прочерчивала черту и под ней же начинала новый... Я же, кончив свой, увидел, что осталось листов сто бумаги, полсклянки чернил. Подумал: «Чернила высохнут, бумага пожелтеет». Стало жалко, ну я и пустил в дело, чтобы не пропадали». Он разразился хохотом... и отпустил меня подобру-поздорову.

Потом я сказал несколько слов по этому поводу у Горького Сталину. Тут же Горький, подпирая меня, сказал Сталину: «Леонид Леонов говорит от имени великой русской литературы. Он имеет на это право, имеет право говорить от имени русской литературы». Сталин налил только себе рюмку водки, выпил и посмотрел пристально в мои глаза. Я не отвел глаз. Он поглаживая ус, сказал: «Понимаю!» и налил себе и мне. Бухарин заискивающим голосом произнес: «Коба, тебе вредно!» Сталин медленно провел поднятым пальцем слева направо перед лицом Бухарина и сказал: «Мне ничего не вредно».

Знаете, А.И., как-то я посчитал сколько раз смерть дышала мне в висок и насчитал 12 раз.

— Пока Всеволод Иванов не поссорил меня с Горьким, вернее, не очернил меня в его глазах, мне было легче работать.

Я работал, работал, работал по 12-14 часов в сутки. И вот думаю, что останется? Много, говорите? Думаю, нет. Может быть, надо было вместо десяти томов работать по-другому, как Шолохов. Он вложил всего себя в «Тихий Дон», писал его без всяких оглядок. И «Тихий Дон»,

конечно, останется. «Судьба человека» — прекрасный рассказ, но слабее. Помните, когда Андрей пьет водку. Разве так этот эпизод надо было писать? Вот он стоит перед жрущими фашистами: лежат куски мяса, сала. Он должен был бы сказать: вот вы жрете, а у меня умирает с голоду друг. Дайте мне еды, я отнесу ее другу, хотя это его не спасет, а потом я покажу вам, как умеет пить и умирать русский солдат. Я говорю это только вам, чтобы с помощью моих слов не набрасывали тень нечистоплотные люди. Шолохов действительно был очень талантлив.

— Да, но при вашем варианте вы бы имели леоновскую, а не шолоховскую «судьбу человека», — возразил я.

— И это верно.

Больше часа в этой беседе заняли уточнения, связанные с взаимоотношениями Горького и Леонова. Л.М. дал мне 3 листа бумаги и продиктовал рассказ Горького о дальнейшей судьбе Митьки Векшина. Затем рассказал, как перерабатывал «Вора». Жаловался, что мировые события угнетают его, не хочется работать, овладевает почти равнодушие — ведь какие бы умные мысли не пришли, а все идет своим ходом. И афоризм: «Чем становишься равнодушнее, тем интереснее наблюдать все происходящее».

Снова заговорил о недооценке русского народа. Рассказал, как Хрущев присылал Шепилова побеседовать «о литературе и — вообще». Как он просил Шепилова:

«Скажите Никите Сергеевичу, чтобы он не пренебрегал русскими, ибо они еще пригодятся» — и как Хрущева эти слова привели в ярость.

Вспомнил и рассказал трагическую историю гениального строителя Ивана Михайловича Колотилова (взял у него кое-что для Потемкина в «Соти»)

И снова повторил: «Вся мировая культура вращается на русском подшипнике».

— Наша политика недалековидна и малоинтеллигентна. Помните «блестинку»? Блестинка в глазу — это интеллигентность, которая видит на 20 веков вперед.

— Отношением Горького ко мне я очень дорожил. Мне всегда нужен человек, который бы вовремя говорил одобрительные слова. Что такое творческий акт? Беспрецедентное столкновение неодолимого желания сделать нечто ценное и яростный приступ сомнения в способности. Ведь чистый лист — это зеркало твоей бездарности. Кстати, Фадеев боялся оставаться наедине с листом бумаги и убегал.

Л.М. Удивлялся тому, что Фадеев обещал Сталину в свое 50-летие, что он напишет произведение, которое привлечет внимание всего человечества, что сам он и «под дулом Берии не пообещал бы».

Я повторил, что должен написать статью «Горький и Леонов».

— Что ж, напишите, что он первым обратил на меня внимание, прислал очень доброе письмо и вообще высоко отзывался. Но я никогда

не обольщался похвалами. Даже после того, как «Вор» имел сертификат Горького, я роман переделал. Горький — это большой человек. И меня всегда занимал вопрос, чем я привлек его внимание. Возможно тем, что брал очень трудные ситуации? Или емкостью фразы, емкостью деталей. Слышал, что Горькому понравилось выражение «возрасти». Пыляев у меня говорит о себе: «Пора на гроб доски воровать». Тут все: и то, что человек пожилой, и то, что он не жулик, и то, что не много преуспел в жизни. Может, его привлекали и библеизмы, то, как я их развертываю. В новом романе они тоже есть.

По телефону Л.М.:

— Я закопался под землю на 100 метров и теперь боюсь, что все это рухнет мне на голову. Делаю все новые варианты, более полнокровные, но их надо вживить. А кто это сделает? Первый набросок был тороплив, неполон. Теперь едва ли хватит сил довести все до конца. Лет мне, как вы знаете, много. Но... все хорошо...

Нынешние писатели даже не догадываются, что в повествовании должна быть своя внутренняя мелодия, нервотура. Нельзя просто написать эпизод и вставлять его в произведение: нарушится кровеносная и нервная структура, связывающая все. Мелодия, строй, сказ, каждая деталь. Я не люблю Ремизова за то, что он описал в романе, как в летний день смердит труп. И сказы его не люблю. Искусственные, выдуманные. Это совсем не то, что, скажем, у Шукшина. У этого было умение услышать фразу с неподдельной интонацией и передать ее так, что я взволнуюсь, — понимаете? Хотя талант его еще не развернулся... Зачем он разбрасывался? Он мог стать большим писателем...

— Когда я пишу, то придаю значение всему: оттенку слова, количеству слов во фразе, абзацу: если что-то очень важное, то и абзац побольше, менее важное — абзац покороче. Из-за этого не люблю вычерки, предпочитаю писать карандашом и стирать резинкой. Работаю над страницей, пока не будет ни одной помарки. Так любил работать. Теперь- то не то — привыкаю к машинке, ибо не разбираю своего почерка...

— В эти сорок лет определяется будущее последующих 400! Октябрьская революция не конец, а начало беспримерных катаклизмов. Думаю, что в следующем веке будет исключительная вспышка религиозности. Литература вернется к глобальным, масштабным темам и строгому рисунку.

27 мая 1984 г.

Л.М. говорит:

— Я оказался жертвой собственного просчета: создать эпическую вещь, соединив эпичность с ювелирной отделкой каждой детали. Я расковыриваю фразу за фразой, пытаюсь добраться до алмаза,

отделяваю каждый узор, орнамент по всему платью. Между тем, такие произведения, как «Война и мир» или «Братья Карамазовы», создаются из мощных глыб, крупных блоков, и ажурные орнаменты на этих глыбах ни к чему. Все должно восприниматься издали, а кто издали присматривается к орнаменту? Лучше даже, если все выступает в некоей дымке. Видимо, поэтому ни Толстой, ни Достоевский не стремились к предельной отделке, а порой сознательно относились к ней небрежно. Вы правы, это тоже прием, иногда действующий на читателя неотразимее ювелирной работы.

И, как всегда, сменив резко тему, спросил:

— Этот Беляев кем поставлен управлять литературой? И откуда у него страх перед словом «русская»? Правда, что, говорят, он изъял и уничтожил рукописи неопубликованных рассказов Шолохова?

— Этого я не знаю.

— Я же говорил вам, что вашу статью о моем этюде из романа «Литературная газета» не напечатает...

— Напечатает, Л.М.

— Бывают моменты, когда пишут для словесности, — ковырнуть какое-либо особенно словечко, как делал Хлебников. Пишут ситуациями, пишут образами. Пишут и идеями — это уже серьезно. Наконец, пишут блоками двадцативековой толщи. Таков сегодня момент: надо взять самый длинный аршин, ибо Рим окружен, лангобарды и готы у стен его. И сегодня писать, как зять оттягал у тестя квартиру или как предместкома ссорится с парткомом — просто недостойно храма. Но мало кто способен мыслить «блоками». Я попытался и — увяз. Не могу вытянуть воз, раздавливает он меня...

30 мая 1984 г.

Л.М.:

— Человек и родная страна, земля, народ в их взаимоотношениях — когда между ними происходит какое-то странное недопонимание, когда перед человеком встает вопрос: как поступать, если тебя не понимают или ты не понимаешь?

Есть три решения этой темы в моем творчестве. Одно из них дано в «Евгении Ивановне», другое — в «Нашествии»: самое категорическое и ясное — личные боли, обиды и даже большее должно отступить, если речь идет о родной земле, ее благе.

Новый роман мой тоже начинается с того, что в моем творчестве произошла какая-то странная неуправка, непонимание его, жду ареста (так было: как-то С. Динамов встретил В. Катаева и спросил: «Валя, не хочешь прокатиться по Леонову?» На что тот ответил: «С удовольствием» — и вскоре появилась статья, недоуменно вопрошавшая, как может терпеть меня общество). Я оказался в изоляции — никто не заходит, избегает встреч даже с моей женой.

Поэтому перед вечером раз, другой, а потом чуть не ежедневно я сажусь на трамвай, уезжаю на окраину, там иду мимо каких-то штабелей и т.п. к небольшому обнесенному оградой парку. Выясняется, что это бывшее кладбище. Однажды вижу через забор какой-то огонек. Нахожу лаз, пробираюсь на огонек и оказываюсь перед церквушкой. Вошел. Все запущено. От мозаики остались ноги, рука, часть лика. Людей нет, но идет служба. Поют дружно — мужчина с черной бородой и рядом некрасивая, но привлекательная бедная девушка. Она поет, а сама все время смотрит в сторону и чуть вверх. Пробираюсь чуть дальше и обнаруживаю там изображение ангела. Заметил, что они словно перемигиваются. Далее описывается, как я постепенно знакомлюсь с Дуней, ее отцом и другими людьми, при священнике. Он выговаривает им за разговор со мной. Беседа моя с ним тоже не получается. Я сказал, что журналист и хотел бы написать серию очерков об архитектурных памятниках, но он сурово ответил, что негоже в наши времена, когда реализуется величайшая мечта Карла Маркса, отвлекать внимание строителей и т. д. Но еще раньше я узнал, что сын священника учится в университете, где деканом Шатаницкий. А далее — резкий прыжок. Всего этого как бы не было.

Встречаюсь с Шатаницким. Он поручает своим ученикам рассказать мне, как произошел мир, где мы находимся и т. д.

Еще переход: есть микрочастицы и есть их апричастицы безграничных размеров. Это такие великаны. И вот один из них сидит и держит в руках Вселенную, разложил ее на две части, потом одну из них снова на две части, еще раз, еще... и вдруг на одной из них увидел церквушку, садик, кладбище и... послал ангела посмотреть, побеседовать с Дуней. Помните, я рассказывал вам о книге, в которой было помещено генеалогическое древо жизни: вода, из нее выползают живые существа, дорастают до человека, потом начинается Вавилон, Греция и т. д. Вот и мне хочется установить, где, на каких координатах Вселенной находится сегодня человечество, где я нахожусь со своей болью. Это очень важно. От этого зависит ответ, решающий ответ на вопрос, мучающий сегодня каждого человека и всех вместе.

— Л.М., впервые вы изложили мне канву романа, о котором я пока не имею четкого представления. То, что это будет роман значительный, философски насыщенный, я не сомневаюсь. Он рождается в муках. И это залог того, что мы должны ждать нечто важное о человеке и для человека...

31 мая 1984 г.

Сегодня 85-летие Леонида Максимовича. Он пригласил нас прийти к 11 часам. Прошел в кабинет, где, как всегда, сел напротив в кресло. Л.М. поблагодарил за статью. Поговорили о том, как вчера его показывали в телевизоре. Внучка Настя в восторге, что ее показали.

— А.И., прошу вас никому не рассказывать о романе то, что я говорил...

— Нет, конечно, но ведь мы и до половины не дошли еще, вы продолжите?

Пришло начальство и писатели: Шауро, Беляев, Марков, Стукалин, Верченко, Сартаков, Озеров, Алексеев, фотограф. Вначале рассаживались в кабинете, что было сложно. Шауро расспрашивал, как работает приемник.

— Да, туда вставили что-то, и он все принимает. Но мне некогда слушать, надо работать...

Г. Марков: «Мы знаем, что вы — великий труженик. Вот и вчера вы говорили, что надо без конца переписывать...»

М. Алексеев: «Если у человека не будет таланта, то хоть сто раз перепиши, а у нас немало таких “тружеников”»...

Леонид Максимович: «Когда я преподавал в Литинституте, то сказал, что, к сожалению, в литературе талант обязателен... И все же работа — у меня был брат, перед войной ему предложили возглавить Комитет мер и весов. «Зачем тебе, — испуганно спросил я, — тебя быстро расстреляют». На что он ответил, что уже назначили. Он взялся за работу и первое, что он обнаружил — снаряды не лезут в пушки. Так что работоспособность дает результаты.

Прошли в столовую, где был накрыт стол стараниями дочерей, прежде всего Наташи. Расселись, но молчали. Тогда Беляев спросил: «Как ваши кактусы?» Шауро добавил: «И растения?»

— Все это запущено, — отвечал Л.М. Более 80 сортов Л.М. отправил в Ботанический сад. Многие сорта женьшеня сторожиха продавала за десятку, в том числе и корень, которому было 37 лет. А это не было хобби. «Из этого моего увлечения вырос “Русский лес”. Я почувствовал, что все связано — деревья между собой, с землей, с людьми».

Тут Г. Марков произнес тост: «Вы — живой классик, мы вас любим, ценим, гордимся вами. Желаю вам здоровья».

— Спасибо, спасибо.

— Первые мои выступления о лесе появились еще до войны... А теперь тоже надо защищать лес. Если вы обладаете властью, надо обратить внимание на то, что в мусорных ящиках находится половина бумаги, а можно бы очистить город и одновременно спасти миллионы деревьев. Вот журнал «Англия» выходит на бумаге из макулатуры.

Б. Стукалин сказал, что он много этим вопросом занимался и этому придает значение Косыгин. Создали три фабрики, но нет машин, отбеливающих от краски. Купили машины, но недостаточно, т. к. надо делать миллионы тонн из вторичного сырья.

Появились сотрудники ИМЛИ им. Горького, и начальство собралось уходить.

Началась вторая волна чествования. Бердников, директор ИМЛИ, сказал: «Вы живой классик. Мы все вас ценим, любим» (повторил Маркова!)

Л.М. пересказал разговор с Горьким о «Воре», напомнив, что переработку романа он как бы предвидел... Свой неизданный роман уподобил двенадцатипудовой свинцовой кукле, которую носишь в себе и разродиться не можешь.

Пришедший Пастухов сказал, что они только были в Грузии, где средний гонорар писателя — 320 рублей.

Л.М.:

— Но у нас нет различия, платят не за качество.

Однажды я мечтал купить Библию XVI века. Особенно нравилась Гравюра, где Ной переписывает животных, перечисляя парами (верблюды, петухи). Союз писателей напоминает эту гравюру, где все из одного конверта. Вспомнил, что обратил внимание на это Сулова.

А также слова Н. Хрущева, что он «опасный человек», которого в зале слушают так, что урони булавку, было бы слышно.

Г. Ломидзе ответил, что Л.М. — активный член Отделения литературы и языка АН.

Л.М. долго говорил о писательском труде. Писатель работает, прежде всего, для себя, у него должны быть самые высокие критерии, которые он предъявляет себе. Я понимаю свой труд, как маниакальное заболевание, когда спишь ли, моешься ли в бане, а мысли все о своем произведении. Микеланджело соскочил ночью и пробежал в Сикстинскую капеллу, приготовил краски, поднялся на леса, сделал мазок и пошел домой... В 1927 году Горький дал мне книгу одного литературоведа, где рассказывалось о том, что Флобер ночью прошел к столу, чтобы поправить эпитет, но исправив, увидел, что надо менять и все другое, потому что вся кровеносная система нарушается...

В. Щербина вспомнил, как Л.М. рассказывал об учителе, что он понес свою первую книжку ему — учителю Кулькову. Сторож узнал его и спросил: «А Очарков где?» Это мой однокашник. Я ответил, что он умер, а сторож сообщил, что и учитель умер.

— Много лет спустя, когда я писал «Взятие Великошумска», решил прославить фамилию Кулькова. Вдруг в 1948 году получаю письмо от его дочери, которая когда-то мне нравилась. Она спрашивает — нельзя ли встретиться?

Однажды пришла сутулая старая женщина, на голове у нее была наколка, прикрывающая лысину. Рядом с ней здоровый мужчина — ее брат. Он просил помочь возвратить ему комнату, которую забрали, когда он эвакуировался.

Сказал еще об одной своей просьбе: «Я овдовел и прошу, чтобы мне дали женщину». Ответил ему, что вот это уже не в моих силах, даже если я депутат.

Гости, заметя утомление Л.М., уходили. Нас он не отпустил. О.М. ушла к Наталье Леонидовне, а я оставался.

Потом были еще издатели из «Художественной литературы» во главе с В.О. Осиповым. И еще новая волна писателей: Ф. Кузнецов, Ю. Бондарев, П. Проскурин, А. Иванов, В. Поваляев, Алексин.

Л.М. сообщил, как у Горького, когда там сидели Сталин, Бухарин, Шолохов, Ягода наклонился к нему и многозначительно сказал, что американцы написали о нем хвалебную статью.

О возникновении жанров он рассказал почти анекдот.

В доме, где праздновалась свадьба, парочка спряталась на чердаке, между балками. Вдруг потолок провалился, и девица упала в обнаженном виде на стол. За ней летел матрос, но так как это был наш советский матрос, он подтянулся и исчез. Если бы остановиться на этом, то был бы комический жанр. Но я увидел эту женщину в больнице с запрокинутым и необыкновенным лицом. Она упала на бутылку и переломила позвоночник. Вот и другой жанр.

Ю. Бондарев спросил: «Будем мы читать ваш роман?»

Л.М. ответил, что он забыл даже содержание. «Писатель должен укладываться в биологический период — 7-9 лет, а я — 30 лет. Многие главы написал заново, которые нельзя просто вставить, требуется длительная работа, чтобы не нарушить капилляры. Книги имеют свою судьбу, будут редакторы».

Овчаренко: «Воля автора — закон, но она не защитит ваше произведение от произвола, если издание будет осуществлено без вас».

Ю. Бондарев: «Читали “Воспоминания современника о Тургеневе”?»

Л.М.

— Нет, не читал, из-за глаз.

Ю. Бондарев: «Тургенев как эстражник в литературе. Я раскрыл “Отцы и дети” и увидел, что это невозможно читать. Не понимаю, почему нам подсовывали его в школе. “Бежин луг” — это прекрасно, а вот романы? Его сентиментальность, его обращение к читателю».

Л.М.: «Имеет значение атмосфера. Перечитывая речь Достоевского о Пушкине сейчас, можно удивляться, почему она вызвала такой резонанс. А вот в тех условиях слова: “Смирись, гордый человек...” воспринимались совсем по-другому». Я тоже помню, как Тургенев отнесся к Достоевскому, одолжившему у него деньги. Как он даже забыл, сколько одалживал, прислав человека за ними! Это барство было характерно и для Толстого».

Ю. Бондарев заметил, что позиции Л. Толстого всегда сложны.

Л.М. возразил: «Почему он развенчивает Гете, Бетховена, Шекспира?»

А.И. Но ведь, услышав Бетховена в исполнении Танеева, Л. Толстой покаялся, что он сказал глупость. Л.М. рассказал о Гольденвейзере, как Толстой отрицательно оценил его композиции и как, играя в карты, тот

уронил рубль и стал ползать под столом, а Л. Толстой поджег крупную ассигнацию и светил искавшему рубль.

Л.М. продолжал «нападать» на Л. Толстого, заявив, что «Воскресение» — несильный роман, а главы с религиозной окраской не интересны.

А Ю. Бондарев сказал, что и они интересны.

Л.М.: И Достоевский, и Л. Толстой могли взять сюжеты у Кони. Меня Горький называл лучшим сюжетником, но я знаю, что бы мы ни выдумывали — в жизни лучше. Металл и керамика не соединяются, а в жизни соединяются.

Я как-то позвонил Горкину (Верховный Суд), чтобы посмотреть отработанные судебные дела, а он закричал, что никаких дел у него нет — так он был перепуган.

Ю. Бондарев: «Вот наша эпоха в этом факте!»

Из речи Бондарева: «Ну, что тут говорить — вы — живой классик. Мы желаем вам здоровья, счастья, душевного устройства».

Были еще речи А. Иванова, Ф. Кузнецова, П. Проскурина.

8 августа 1985 г.

Звонок Л.М.

— Читаю «Игру» Ю. Бондарева. Он очень талантлив. Я делаю все свои ставки на него. Роман интересен. По телефону я сказал, что кое-где сюжет не прояснен. Не понял, виноват ли Крылов перед Скворцовой? А если не виноват, то почему еще до суда к нему все так относятся? Возможно, автор спешил, а время требует очень точных формулировок. Впрочем, он говорит о таком важном и горьком, что заниматься ювелирной отделкой почти кощунственно. Спешить опасно, но и медлить, как я, вряд ли умно. Ведь у меня нет главы, которая бы не имела менее трех редакций. Вот и сейчас, возьму главу, перечитаю, не узнаю, не понимаю ее химической структуры и — пишу заново. Книгу надо завершить в один биологический цикл, а он длится пять—семь лет.

— О В. Распутине, его повесть «Пожар». Это скорее политическое выступление, но и замечательная повесть. Сначала меня смутило, как он без конца перебивает размышления героя картинами пожара. Потом понял: говорится так много горького, что перебивка необходима, а?

— Вы правы...

— Как мы живем? Сидим на несметных кладовых природы и того, что сделано руками, а все в недохватах. Думаю, что, может, М. Горбачев что-то понял, сказав: «Надо спасти народ, страну!» У него должен быть продуманный план? Мне больше не на кого надеяться. И если это очередная болтовня с целью захвата власти, если он обманет, то просто незачем жить. У меня 6 орденов Ленина. И если что-либо случится, не моя вина.

— Об Астафьеве. Он из той же когорты талантливых. Но когда пишет, то пестрота, как на киноленте. Он и Распутин обладают отличным языком, богатым, ярким. Вводят этнографический элемент. Это затруднит перевод их произведений. Меня тоже трудно переводить, а их еще труднее. А образ главного героя в «Пожаре» очень удался, хорош. И вся повесть — хорошая.

12 августа 1985 г.

Были с О.М. у Леонова. Он стал сухоньким и маленьким старичком. Правый глаз почти прикрыт, и правая сторона рта будто припухшая, чуть перекошенная. Говорит затруднительно. В связи с очередными академическими выборами, где меня опять прокатили, он обращается не ко мне, а к О.М.

— Сердитесь, О.М.? Поверьте, я делал все, что мог... Но со мной ведь никто и нигде не считается. Не обижайтесь. И простите, ради Бога.

— Л.М., — сказала О.М., — разве дело в вас? В Отделение литературы и языка проходят не ученые, а должностные лица и угодники. Бывают редкие исключения, допускаю, но это только для прикрытия. А кто у власти — в ЦК и в отделении — ведает культурой? Пропустят они русского ученого, если даже семи пядей во лбу? Никогда! Эти выборы существуют только для убийства настоящих ученых. Я категорически против участия в них Александра Ивановича.

— Будем на этом считать инцидент исчерпанным, — сказал я. - О.М. произнесла свою речь: «Доколе, о Каталина?»

В телевизоре показывают балет:

— Знаете, — переключился Л.М., — по-настоящему я оценил красоту нашего балета в Нюрнберге. Во время процесса американцы привезли свой балет. И когда я увидел кобылоподобных, косолапых и с толстыми ляжками их балерин, то произошло просветление. Потом Чулаки дал мне постоянный пропуск, и я ходил часто на балет, ходил как на праздник. Да, вы правы, для Улановой балет будто и не профессия, а праздник.

А как хороша Максимова! Видел я ее как-то в роли, где много озорства, шуток, задора. В этой роли она вровень с Улановой. Хотя, в общем-то, всем им до нее, как до неба.

10 августа 1984 г.

Л. Леонов рассказывал о романе:

— Роман возник из фактов моей биографии. Он так и начинается: «После неуправки в моем профессиональном деле, я ждал... Это было после “Метели”. За мной не приходили пока, но я ждал. Знакомые отвернулись, друзей я сам не хотел ставить под удар. Однажды, через

знакомых, я назначил единственному другу свидание за Даниловским рынком, на церковном кладбище. Вот оно-то и перенесено в роман. Там была церквушка, в ней служил мой внучатый племянник, но к описываемому времени церковь была закрыта. А он жил тем, что чинил обувь и примусы. Это тоже перешло в роман вместе со мной. Я стал часто ездить в полюбившееся место. Однажды ночью, идя вдоль ограды, увидел огонек. В стене, напоминающей стену в Доме творчества в Переделкине (из красного кирпича и решетки), был лаз. Через него я вошел за ограду и добрался до церквушки. Несколько нищих старух на паперти, в церкви тоже старушки. На клиросе псаломщик с черной пугачевской бородой и девушка лет 18, худенькая, хрупкая, болезная. Поют. Она куда-то смотрит в сторону, на стену. Глянул я, а там ангел в рубахе ниже колена. Вообще-то ангелов рисовали у входа: ведут запись нерадивых, опаздывающих. А этот — здесь. Вгляделся я и вдруг обнаружил: девушка и ангел переглядываются. В переглядке их не любовь, а что-то большее, звезда что ли, объединив их знанием того, чего я не знаю. Дуня в обруче из кос, газовом шарфике, излучает свет. Пытался познакомиться, но она ушла. Я бежал за ней по кладбищу, натываясь на надгробья, могилы и кресты, которые как бы оберегали ее.

Часто бывая, однажды я вышел на полянку и увидел псаломщика. Он сидел на лавке. Я присел и сказал ему, что газетчик и пишу статью. Угостил его куревом. Он сказал, что пытался сажать здесь табак. «Ничего, жизнь укорачивает, но слабоват», — сказал он. Оказалось, что за спиной у него не дрова, а кирпичи из могильных плит.

«Какие тут мраморы были», — сказал дед. Но тут подбежал мальчишка и велел: «Финогеич, батюшка просит». Тот, не простившись ушел. Я приблизился к окну и увидел сидящих за столом попадью с распухшими ногами, Дуню, рослого с надвинувшимся на лоб черным чубом парня. Батюшка говорил Финогеичу: «Многоглаголанье с неизвестными не доведет до добра». Вдруг они оба обернулись в сторону окна, словно почувствовав, что их подсматривают. Я отскочил в темноту. На крыльцо вышел парень и сказал: «Кто хочет померяться со мной силой?» Я бежал к ограде, даже наступил в лужу. Но посещать полюбившееся мне место не перестал. Беседовал с попадьей, и она сказала, что у них родственников за границей нет. Беседовал с батюшкой, но он сказал, что стыдно исследовать предрассудок, когда народ реализует великое учение. Однако я узнал, что чубатого парня зовут Никанор Втюрин, что он любимец профессора Шатаницкого. Я отправился к последнему. Вскоре догадался, что этот умный, но развязный, насмешливый декан философского факультета — резидент сил другого мира. Догадался, что жизнь вынудила и батюшку водиться с этой силой, ибо он верит в главный догмат — искупление. Ангел же Дымков прибыл «с высот». Он даст три версии создания Богом человека. От скуки, бессмысленности собственной жизни. Это вы

читали. Третья версия — моя самая дорогая находка. О ней не скажу и вам: боюсь, проговоритесь, ее и украдут. Дуня тоже обладает способностью видеть прошлое, будущее. Но повесть я веду через несколько преломлений, а не от себя. Как рассказывается — из этого тоже выступает характер человека. Вот почему концепции Дымкова излагаю не я, а Втюрин. Последняя прогулка тоже передается Втюриным, а рассказала ему обо всем Дуня, когда они сидели между кладбищем и свалкой и он положил ей голову на колени...

Всю весну и лето Л.М. переделывал «Мироздание по Дымкову», уговорили его отдать в «Новый мир». Он назначил встречу 8.VIII, но я хоронил Тендрякова и не смог прийти. Сначала прочитал я и сказал, что берем, а потом приехал Карпов и сказал, что он согласен со мной, что это «очень сложное повествование, вызовет поток писем, но будем печатать в №11».

Он опять стал рассуждать о «Пожаре» Распутина.

— Конечно, описание должно даваться цельно. Но тут пожар — пружина, которая держит в напряжении читателя, разрывы же заставляют воспринимать каждую часть размышлений героя как этап, что ли, или как нечто не менее важное, чем услышанное раньше. Писатель не может не думать над тем, как удержать внимание читателя. В этом отношении «Пожар» композиционно построен безошибочно. О положении в деревне Распутин рассказывает мужественно, с гневом, нет, вы правы, с большой печалью, с горькой печалью.

— Думаю, что речь идет не только о деревне. Это только обозначение всей России — своего рода иероглиф: деревня — Россия. Но вы же сами говорили, что горечь не порок и что живительная гормональная сила произведений Горького состояла, между прочим, и в том, что они отменно горьковаты для ума...— А я и не осуждаю Распутина за горечь.

О.М. спросила, был ли у Л.М. В. Карпов?

— Да, был, сидел часа полтора, принес «Полководца», просил прочесть хотя бы начало, чтобы иметь представление. Я почитал, но представления не получил. Генерала я этого не знаю...

— А книга пользуется большим успехом, — заметил я.

— Успех есть, а литературы нет...

О.М. заинтересовалась, читал ли он ругательную статью о Бондареве?

— Читал, но не согласен. Не понял, зачем это напечатано. Видимо, какая-то политическая возня. Ведь он очень талантлив и написал хороший роман. Правдивый. Но кому-то не нравится, что писатель говорит о тяжелой жизни и невозможности спокойно работать тем, кто талантлив. Честен и предан русскому искусству.

— Может быть, принесет пользу автору. Ведь вас тоже били всю жизнь, — сказал я.

— Нас всех бивали понемногу чем попадя и как больней.

Заговорили о художниках. О Корине.

— Не нравятся мне его геометрические углы. С их помощью человека не создать.

— Да, мне его Горький не нравится.

— Ну, Горький был действительно угловатый. Костистый. Тут еще куда ни шло. А вот в «Руси уходящей...» Там у него юродивый — идиот идиотом. А ведь юродивый всегда знал нечто, чего не знали другие. Впрочем, в 1926 году я побывал в монастыре (работал над «Сотью»). Умирал там один старец из мужиков, святой. Ожидали от него пророческих слов. А он: «Огня бойтесь!», «Баб бежите!», «Кобыл берегите». Остался мужик — мужичьем.

28 августа 1985 г.

Весь вечер просидел у Л.М. Он угнетен всем: и поведением Рейгана, и собственной забытостью, тем, что сорок лет работает над романом, выключился из его атмосферы и не знает, что с ним делать, и тем, что год его работы над новой редакцией Дымкова В. Карпов оценил в 470 рублей, да еще в благодарность попросил почитать свой роман.

Я стал уговаривать дать в печать еще один фрагмент, например, начало романа.

— Ни за что! — возопил он. — Не знаю, как теперь с ним быть вообще, какие редакции предпочесть.

— Давайте все! — сказал я.

— А что? Если как прием: глава в первой редакции, во второй, в третьей. Да, надо печатать разные варианты одной и той же главы не как результат забывчивости автора, а как прием. Я думал над этим. Сейчас Ольга Яковлевна (мой редактор) читает рукопись. Я отдал ей все варианты. Посмотрим, что она скажет. Вы правы, роман надо печатать.

— Говорят, что Чаковский дает советы Горбачеву в области литературы... Я волнуюсь, что же тогда будет с литературой?

Тут же рассказал, как в 1925 году был в Коктебеле с Михаилом Булгаковым.

— Вы правы, он не был франтом. Правда, бабочка, белая сорочка, хороший костюм...

— А «Мастера и Маргариту» вы так и не прочитали, а там, как у вас, дьявол.

— Да потому и не прочитал, что у меня тоже дьявол. Я знаю шаржирования, заостренности у Булгакова, его взгляд на дьявола... У меня же совсем другое... И я не хотел ни спора, ни подтверждений, не хотел хоть в чем-либо быть связанным. А что касается обстановки, то в

Коктебеле был еще писатель, не то Кузенин, не то Горбачев... Мы решили по вечерам собираться и обсуждать наши литературные дела. Собрались на следующий день. Он предложил прежде чем говорить о литературе, выяснить наши политические убеждения... На этом наши встречи закончились.

Присутствует ли в моем новом романе сатана? Он чувствуетеся. Дымков однажды ощутил его присутствие рядом и — побледнел, внутренне задрожал: все-таки сатана обладает этим царством, а Дымков — командировке, да и по чину не крупен. Я расшиваю гипотезы по религиозной канве, ибо это даст возможность подчеркнуть их глобальность и историческую протяженность. Говорите, так поступил Булгаков в «Мастере и Маргарите»?

Рассказал, что недавно демонстрировали по телевизору фильм, был снят в 1971 году, хотели вырезать часть моих «Размышлений у старого камня», я воспротивился. «Размышления о камне» были написаны для «Правды», набраны, лежали два месяца, Замятин испугался, не напечатал...

6 ноября 1985 г.

Поздравил Л.М. с праздником.

— Спасибо. Как съездили? Как относятся к нам?

Я ездил в ФРГ на симпозиум. Сказал, что популярность Чехова колоссальна. Сам насчитал десять изданий к юбилею на немецком языке.

Спросил, не надумал ли он напечатать роман.

— Он будет напечатан в 2052 или 2054 году.

— Но вы же подумывали...

— Чтобы решился, нужно, чтобы мне сказали, что в моем романе Действительно нуждаются, и дали бы мне машинистку, которая бы не вырывала моих листочков, не засовывала бы их в сумочку... Но... нет у меня сил свести все это, вшить эти вставки, разбросать их, на какой редакции остановиться...

— А дать их как прием...

— Продолжаю над этим думать... Но что делать со вставками?

26 ноября 1985 г.

С 7 часов вечера был у Л.М. Он еще больше постарел. Но — мышление предельно напряженное и ясное.

— Дрожал за Михаила Сергеевича, ведь миллиарды людей слушали его. Тут любой может сорваться. Он выдержал... Я верю в него. Конечно, ему мешают, но нам надеяться не на кого.

— А если бы вы встретились, чтобы вы сказали ему?

— Я бы сказал, что я русский писатель, люблю свою страну, свой народ, свой язык, уезжать никуда не собираюсь. Я знаю, что сейчас есть более неотложные проблемы, чем литература. Но, как во всем, в литературе надо поддерживать, стимулировать все самое настоящее. Я никогда не был поклонником литературы как бытописания. Для меня она форма напряженнейшего и деятельного мышления, которое сегодня больше всего необходимо. Нужно мыслить, опираясь на опыт всего человеческого существования в прошлом и с историческим разворотом, по крайней мере, до 2050 года, когда будет людей 10-15 млрд и возникнут проблемы почти неразрешимые в результате того, что люди будут испытывать трудности даже от перенасыщения собой пространства.

Так же, как вы, удивлен, что новые госпремии выданы сугубо посредственным серым книгам, вроде книги Бердникова. Это определенно М.С. подсунули, чтобы скомпрометировать его требование поддержки всего настоящего, качественного.

— Л.М., не обольщайтесь в отношении Михаила Сергеевича. Он — «демократ наоборот» — т. е. для себя. Политикан, вот увидите.

— Нет, вы его недооцениваете.

— Лучше скажите — продвинулись с романом?

— С романом ничего не получится. Вчера придумал настоящую жемчужину — связку для двух вариантов главы. Но и в том, и в другом варианте есть удачи. Как их соединить? Не знаю... А о быте... У меня бытовые детали очень точные, но не ради их самих. Герой держит руку над горящей свечой, но она его не обжигает, ибо жизнь обожгла еще страшнее. В третьем действии — мороз его тоже не берет.

Потом стал говорить о втором томе «Мертвых душ», как о страшном выбросе непереваренной пищи через фистулу в боку.

После этой резкой оценки Гоголя пили чай. Но вдруг Л.М. почувствовал сильную боль в боку и даже лег.

— После еды боли в желудке. Продолжаются 2-2,5 часа, — сказал он.

2 января 1986 г.

Обстоятельный разговор с Леоновым с 7 до 11 вечера. Ему не везет. Накануне открытия VI съезда писателей РСФСР он сломал руку (большой и указательный пальцы). Опухоль еще сильная, писать не может.

— Пытался начать одним пальцем, не получается. Сажу часами, когда не болит живот. После операции муторное состояние часа 2,5 после еды.

Смотрю телевизор. Большие надежды связываю с Горбачевым. Молод. Улыбается, умеет держать себя и, видимо, знает положение в стране, знает, что и как надо делать. Сдвинуть Гришина — это немало.

К съезду наверняка получит большинство и дай ему Бог успеха. Ведь тридцать лет разлагали народ, и он потерял присутствие духа. Как на Руси умели работать, а теперь либо не умеют, либо не хотят. Надо же! Конечно, некоторые нации исчерпывают себя. Англичане примирились с тем, что не являются ведущей нацией. Наш народ тоже стал мельчать и силой, и духом, но не исчерпал его. Чтобы разложить его, в нем пробудили собственность. Это страшная путаница, связанная внутри человека со множеством других и взлелеянная сотнями веков. Знаете, я над этим много думал. Помните в «Дороге на Океан»: дашь мне метр земли и я на нем для себя выращу райское дерево. Через тысячу лет, в коммунизме, рассматривая своего прямого наследника Петю и сидящего рядом с ним неизвестно чьего Алешу, вы на вопрос, кому отдать большее счастье, произвольно кивнете в сторону Пети. Вот какая это сила. Ее-то и разбудил Брежнев. Но я верю, что новое руководство покончит с этим. Кажется, только у Сталина в годы войны была такая популярность в народе, какой сегодня пользуется Горбачев, и это обнадеживает. Иначе мне больше надеяться не на кого.

— Л.М., популярность Сталина в военные годы была им заслужена по делам. А вот Горбачев получил ее путем обещаний. Не надул бы. Не верю я ему. Тракторист, гармонист, орденосец, два факультета МГУ, а вот ни я, ни мои товарищи в МГУ не могли поступить, а ведь имели данные, но не имели блата. А его будто ведут все выше и выше. Что-то это мне не нравится. Какова цель у этого «меченого»? Мы пока не знаем. Но в народе боятся «меченых» — таково поверье.

— Вы — скептик, А.И. А Беляев все еще работает с культурой в ЦК? Сколько вреда он своим невежеством, непониманием всей тонкости нашего труда нанес литературе. Надзиратель у великой идеи.

Когда я написал «Метель», нарисовав пятидесятилетнюю женщину, утешающуюся с 26-летним, кто-то шепнул Маленкову, что это намек на его матушку. Меня пригласили. Жданов стучал кулаками, а Маленков хотел сжечь глазами. Я думал, что не уцелею: «Попробуйте поставьте, узнаете, что из этого будет». Он же увидел в «Золотой карете» лишь изображение разрушенной России. «Леонов рисует страну в развалинах. Ну, пусть только поставит!»

Я отвлек Л.М. в сторону современной литературы, сказав, что прочел «Имитатора». Интересный характер, но, кажется, просчет в том, что неталантливый человек не назовет себя бездарным.

— Нет, отчего же? Может и назвать. Что такое талант? Вот, скажем, он строит самолет, все в нем прекрасно — талантливо... Другое дело — гений. Этот вдруг решает строить самолет без крыльев или даже без мотора. Может разбиться — гениальность всегда трагична.

— Чем вы объясняете, что даже самые талантливые наши писатели не делают рывков, равных рывкам вашего поколения?

— Может, недостает таланта? Хотя и Бондарев, и Распутин, и Белов, Астафьев очень талантливы. Сколько лет Распутину? Сорок восемь? А главного своего произведения пока не написал. Пора бы.

— Быть может, сдерживает приверженность их к факту, документу?

— Не люблю документа. Он бесцветен, лишен психологии. Мне интересна история не в фактах, а в ее отражении в человеческой личности, не происшедшее, а то, что разыгралось в сознании и душе, не то, что люди идут в бой, а как старушка украдкой крестит их и, то, что происходит в их душе и сознании, когда они бегут в атаку.

Я уже говорил вам об изображении леса у реки и его отражении в реке, уходящего в глубины и потому вызывающего ощущение бесконечности. На этом основана литература.

22 марта 1986 г.

В Переделкине встретил Арона Вергелиса, который сообщил, что у В. Катаева инсульт. Я посочувствовал. Не так уж давно я беседовал с В. Катаевым. Он, кажется, немного старше Л.М. Арон сказал, что В. Катаев не любил Леонова. Я знал это так же, как и то, что эта нелюбовь была взаимной. Л.М. не скрывал этого. Я понимал, что мы, люди другого поколения, не можем представить в полной мере, какие страсти одолевали их.

Как-то Л.М. сказал: «Ловко подлез этот мальчишка под обнимающую руку Горького и потом извлек из фотографии максимум возможного...»

Л.М. так и не простил В. Катаеву того, что он враждебно выступил против него.

10 апреля 1986 г.

Журнал «Советская литература» на иностранных языках готовит специальный номер, посвященный Л. Леонову. Хотят также дать репродукции его любимых картин, титулы книг, фоторукописи, а также несколько статей. Дангулов предложил О.М. дать статью о Леонове для этого журнала.

12 апреля 1986 г.

Идем к Л. Леонову с О.М., которая договорилась с Л.М. об интервью на тему: отношение его к всемирной культуре и литературе.

Я спросил об иллюстрациях для специального номера журнала.

— Пусть возьмут портрет, вот тот, что в прихожей. Цветной Качуры-Фалилеевой. Я там похож. У меня не было квартиры, только койка. Я сидел на ней и, положив фанеру на колени, писал. Она нарисовала меня за работой.

О.М. обратилась к Леонову, сказав, что:

— Уж раз речь зашла о картинах, то, разрешите, Л.М., спросить вас: «Что особенно вы цените в зарубежной живописи?»

— Прежде всего, итальянцев. И среди них выделяю Микеланджело и Леонардо да Винчи.

— Чем же вас привлекает Микеланджело?

— Взрывчатый характер. Необычайная требовательность и суровость. Помните доску, которой он швырнул в Папу?.. Дюрер послал ему свою книгу «Пропорции человеческого тела». Микеланджело сказал, что Дюрер ничего не понимает в человеческом теле. Я убедился, увидев в Мюнхене длинные тела Адама и Евы. Математически верно, а по существу Дюрер разобрал человека, а когда стал собирать — не сошлось...

Но и у Микеланджело есть свои странности: слишком большое тело Христа в «Пьете», маленькая голова Моисея. Но неповторимо как передана в Сикстинской капелле «вольтова дуга» между перстом Бога и перстом Адама. Микеланджело идеализировал человеческую фигуру, а Дюрер хотел прогнать ее через математику.

Л.М. показал книгу «Леонардо да Винчи», изданную Сабашниковым в Париже.

Поговорили о Средневековье. О.М. утверждала, что там не меньше ценностей, чем в Возрождении. Сказывается еще неправильная точка зрения на Средневековье, недооценка его.

Л.М. вспомнил, что еще Горький считал необходимым издать историю папства, ибо папы — порождение своей эпохи. Папа Бонифаций VII пробрался к власти, как лисица, правил, как лев; умер, как собака с голода, ибо боялся, что отравят и ничего не ел.

О.М.

— Я знаю, что вы любите Брейгеля за манеру отражения им действительности.

— Да, я люблю фламандцев, кроме Рембрандта. Но у него потрясающе изображен старик в «Блудном сыне». Остальное меня не обольщает. Да, Брейгель, например, его «Возвращение с охоты». Его вещи, отдельные эпизоды в них можно рассматривать в лупу. Может, это повлияло, когда я переделывал «Вора», рассмотрев как бы некоторые звенья в лупу.

О.М. Может быть, в результате переделки «Вор» что-то и потерял?

Л.М. Не в этом дело. На нем лежал отблеск его времени. Между тем, Векшин плохо относится к людям. Думает обо всем мире, человечестве, а к конкретным людям относится недостойно. Ест их хлеб, а ими пренебрегает. Ему понадобились деньги, он забрал 40 рублей, хотя с них люди надеялись начать новую жизнь. Неспроста героиня, вглядываясь в фотографию, говорит: «Хочу рассмотреть, есть ли у тебя сердце хоть с горошину».

В новой редакции я усилю это.

О.М. «Вор» — это ваше самое любимое произведение? Будет новая редакция?

— Да, будет. Видите ли, все те, какие были, слишком автобиографичны в смысле личных переживаний.

Что касается художников, то время и возраст меняют оценку даже любимых когда-то произведений. Мадонна у Рафаэля теперь мне кажется уж очень спокойной. Многие мои оценки изменились.

— Л.М., меня всегда поражает, с каким знанием и как точно вы пользуетесь латинскими пословицами, античными образами. Два года я учила латинский язык, и, стыдно сказать, я не всегда понимаю и помню эти пословицы. Вы учили иностранные языки?

— Я не учился в университете. Меня не приняли из-за Достоевского. На экзамене я назвал его любимым автором. Удадьцов начал ругать Достоевского. Я встал и ушел.

В гимназии я учил старославянский, латинский, французский и немецкий. Но к латинскому языку я относился с особой добросовестностью. Знаете, если бы я был министром, как говорят, я бы ввел изучение латыни в школе. Она очень дисциплинирует мозг, это разминка для мозга. Мы теряем интеллигентность и интеллектуализм, умение размышлять и мыслить, логику. А что касается языков, то это только обучение в гимназии, а ведь меня не приняли в университет. Просил Союз писателей прислать мне учителя французского языка — не прислали, подумали, наверное, что буду еще на чужом языке вести подозрительные разговоры. Знаете, как ко мне относятся? Мне разрешают быть. У меня есть в произведениях и двусмысленности, которые не в мою пользу.

— Л.М., о каких двусмысленностях может идти речь? Если вы иногда говорите намеками, не прямолинейно, то где эта открытая критика у других? Разве что у злопыхателей, которые зарабатывают спекуляцией шансы на Западе — диссидентствуют, чтобы пристроиться. А вы болели всегда за свою страну и народ.

— Скажите, Л.М., а античная литература интересовала вас?

— Я же не проходил университетов и поэтому не имею систематических знаний, но, изучая латинский, я читал многое из античных авторов.

— Кто же ваш любимый автор среди множества писателей всех времен?

— Мне не нужно готовиться к ответу на этот вопрос. Достоевский, конечно.

— Меня поразила ваша мысль о Шекспире и Достоевском, то, что вы считаете, что Шекспир ближе к Достоевскому, чем к Л. Толстому.

— Я признаю Шекспира как очень большое и важное явление и стою перед ним с обнаженной головой. Достоевский — это наше личное, национальное, северное. Он порожден Петербургом, царизмом, славянофильством и др. чисто национальными явлениями. Это наш

национальный Бог. Как-то предполагалось, что я буду делать о нем доклад. Я теперь рад, что мне не дали его сделать, ибо сломался бы, говоря о Достоевском, чем он особенно дорог мне. Диалог — это всегда поединок. В этом плане меня оболевают и Шекспир, и Достоевский. Шекспир — весь железный, написан несмываемыми буквами. Шекспир — вечная отливка, а Достоевский — еще не устоялся, все еще трепещет, растворен в эмоции, у Шекспира — герои одного колера, а герои Достоевского такие животрепещущие — этот с румянцем, тот бледен, с тенью.

— То есть вам ближе Шекспир своей эпичностью, «шекспиризацией», и вы считаете Достоевского своего рода продолжением Шекспира с его умением отразить всю сложность, многообразие и подвижность жизни? Но и в сравнении с Шекспиром вы отдаете предпочтение русскому гению?

— Думаю, что да!

— А как вы оцениваете критику Л. Толстым Шекспира? Традиционный вопрос, но разные ответы бывают.

— Думаю, что не кокетничал ли Л. Толстой, когда критиковал Шекспира, как когда критиковал царизм, Бога, утверждая свою смелость и оригинальность мышления.

Я не люблю «Воскресение» Л. Толстого. Считаю, что у Толстого в манере изображения жизни обыкновенная трехцветка, а у Достоевского есть и ультрафиолет.

— Вы — интеллектуал в литературе. А как вы относитесь к подчеркнуто интеллектуальной линии в литературе, например, во Франции — Вольтер — Франс?

Л.М. резко отрицательно оценил «цинизм» Вольтера, когда вставляют клистирную трубку в зад ангела, бросают «дохлых кошек в небо». Перо и бумага, конечно, «допускает цинизм, порнографию, но я нет, не лежит душа».

О Гете он отозвался отрицательно.

О.М. спросила: «А “чертовщина” в “Фаусте” не увлекает?»

— Нет. Другой подход. А «Вертера» можно читать только под хлороформом. Все логизировано.

— А как вы относитесь к Фолкнеру, Маркесу?

— Не могу Фолкнера читать. Маркес? Знаете, в цирке фокусник тянет изо рта необычайно пеструю, яркую ленту... У нас тоже есть подобные писатели.

— Американский критик Эдмунд Уилсон утверждал, что вы, Джон Дос-Пассос и Мальро пытаетесь создать настоящий социальный роман и отдавал предпочтение вам.

— Мальро не читал. А Дос-Пассос, у которого разные шрифты, стенограммы, раздробленность фразы? Нельзя литературу создавать на разговорном языке. Необходим элемент условности. Разговорный язык

надо переводить на компьютер. Когда говоришь с читателем, надо быть застегнутым на все пуговицы и не утомлять его мусором.

Люблю Бальзака, но сейчас замечаю, что многое у классиков задлинено. Я говорю молодым писателям, что, если на первые 15 страниц читатель потратит 80% отпущенного на Ваше произведение напряжения, то он его не прочтет. Нужно строить инженерию романа так, чтобы он постепенно, но неодолимо увлекал читателя.

15 июня 1986 г.

— Конечно, в моем возрасте ум начинает сдавать. Может быть, я поэтому плохо понимаю, что происходит, а? Но все же понимаю, что идет все как-то не так. Решили все переделывать. Но переделывались ведь первоначально самого бытия, а это требовало осторожного отношения ко всем генетическим кодам. Их нарушение и обернулось пьянством, смертельной усталостью людей...

Пришел С.В. Викулов. Пожаловался, что у него неприятности из-за публикации рассказов В. Астафьева.

Л.М. сказал, что он высоко ставит и В. Астафьева, и В. Белова, и Распутина... Блистают, переливаются в их произведениях языковые богатства. «Плотницкие рассказы» — отлично. Но хотелось бы большей масштабности, твердости, уверенности. А может, этого недостает из-за того, что в народе, крестьянстве все меньше людей, которые ходили по земле твердо, ибо глубок корень был?

А правда, что Распутина стали окружать, угождать ему люди, погубившие в свое время Твардовского? Скажите ему, что жить русскому писателю лучше всего среди своих. Иначе впоследствии он будет сожалеть, как сожалел Твардовский. Он сказал как-то Суркову: «Я попал в капкан. И на работе, и внуки даже у меня не из своих...» Вон как легко взяли они Карпова на журнал. Но это не беда. Расчетлив, сам хотел, чтобы его взяли, ждал подходящей цены. А Распутина погубят как писателя. Я уважаю народ, сохраняющий себя тысячелетие среди чужих, произнося тосты: «В следующем году — в Иерусалиме». Но русскому писателю вернее оставаться среди своих.

— Л.М., — успокоил его я, — Распутин — цельный человек, с сильным природным началом, независимым характером и большим талантом. Это не пуговица без ушка. Он всегда будет самим собой.

18 февраля 1987 г.

В «Правде» помнился фрагмент романа Леонова «Спираль». Обсуждали весь вечер. Своего рода пробный камень для публикации всего романа.

— Ирония. Все иронично, — твердил Леонид Максимович.

— Такая жестокая, испепеляющая? Вы правы. Больше нельзя церемониться ни с «нашими», ни с «вашими». Поможет ли?

— Не знаю.

20 февраля 1987 в.

Вместе сочиняли ответ на нападки по изданию Горького.

Беседовали с Леонидом Максимовичем о моем изгнании из «Нового мира» в связи с приходом нового редактора С. Залыгина. Я сказал, что абсолютно не огорчен уходом из журнала, куда меня отправляли по жесткому настоянию Отдела культуры ЦК. Был я там не ко двору. Разве, что при С. Наровчатове, который ценил меня, как специалиста. Всесильный и однозначно настроенный аппарат, состоящий в основном из очень реактивных дам, держал в руках всех редакторов, включая А. Твардовского. После смены его я встречался с Александром Трифоновичем и всегда, еще с 50-х годов, был с ним в хороших отношениях. В новую редакцию ввели шесть, кажется, человек во главе с Косолаповым. Но создали миф, что погубитель Овчаренко. Смешно. Долгое время я вообще не принимал участия в работе журнала, писал в ЦК, чтобы меня освободили, так как не хочу отвечать за то, что делается без моего участия. Солженицын, не вникая ни во что, а настроенный аппаратом, тоже не обошел меня «вниманием».

Я стремился привлечь новых, талантливых авторов, которые прежде не очень рвались в журнал, невзирая на его именитость. Работал при С. Наровчатове, при В. Карпове. А вот «русофил» С. Залыгин прислал мне письмо об отставке, даже не соизволив встретиться и объяснить причины ее. Конечно, я знаю, что он расплачивается за желанное им назначение с той группой, которая никогда бы не пропустила в редакторы человека, не способного услужить и слушаться.

Я и сам бы не работал в журнале при очень двойственном С. Залыгине. В среде молодых русских писателей он считается учителем и другом. Они не догадываются, что он более дружен с другими. Мы видели это в Переделкине. Никогда не общался с ним ни в вашем доме, ни у М. Алексеева, ни у И. Стаднюка, а с Рыбаковым я не связан.

Как критик, я писал о С. Залыгине, одно время увлекаясь темой «Сибирь». Даже в лучших своих произведениях — «На Иртыше», «Соленая Падь», явно переоцененных критикой, в том числе и мной, он не был до конца искренним. Робко держал камень за пазухой, но во имя привилегированного положения в обществе тщательно скрывал это. Осторожный пересмотр истории коллективизации виден в связи с образом Степана Чаузова. Искусственный образ Брусенкова подтверждал, что С. Залыгин искал в прошлом то, что могло утвердить в скептическом отношении к советской власти. Если ты понимаешь что-то и проник в суть вещей, то скажи сильно и прямо, в духе Шолохова. В

«Комиссии», где все искусственно, рефлектирующее начало перенесено в сконструированные диспуты крестьян, весьма похожих на захудалых интеллигентов 60—70-х годов, ведущих споры на кухне, где можно безнаказанно показать кукиш в кармане советской власти.

— Он — не художник, — сказал Леонид Максимович. — Я пытался читать его произведения. Но не осилил. Все сделано умело, но без художественного горения.

— «На Иртыше» — талантливо, — возразил я.

— Пробовал читать. Не пошло. Имитация. Вы говорите, что его ставят в «шолоховский ряд»? Не знаю. А вот публицист он хороший. Все подсчитано, убеждает. Он не инженер? Статьи деловые и точные.

— Он — мелиоратор.

Заговорили о романе «Полководец» В. Карпова. Он лежал на соседнем столе.

— Пробовал читать, но тоже не пошло. Интересные факты и новые. О войне что ни пиши, все будут читать. Но нет здесь настоящего художественного дара. Присмотрелся, как делают и составляют к факту факт, склеивая их выдуманным личным причастием к рассказываемому. Но это не та «выдумка», которая совершенно необходима в художественном произведении. Ползание у ног великой действительности и остается лишь ползанием.

Что-то вы суровы, Леонид Максимович. В книге есть даже военные открытия.

— В настоящей литературе они должны оборачиваться художественными открытиями. Сравните хотя бы «Горячий снег».

23 февраля 1987г.

Л.М. позвонил из Барвихи:

— Очень плохо чувствую себя. Неладно с сердцем, делают уколы камфары. Вы знаете, я человек непрактичный, а мне хочется сделать для вас что-нибудь хорошее. Скоро будут выборы в Академию. Я и раньше старался помочь вам, считая, что вы более достойны, чем многие избранные, но у меня ничего не получалось. Теперь я хочу, чтобы получилось. Слушайте меня, как Главного редактора, который убедился в ваших высоких научных знаниях. У меня здесь нет машинки. Я продиктую вам свое письмо, перепечатайте, а я подпишу.

— Л.М., стоит ли об этом? Вы переутомлены. И нравственно. Полежите дня два-три, ни с кем не общаясь. Я участвую в выборах, чтобы еще раз подтвердить, что дело не в знаниях, и не в работоспособности, и не в верности русской литературе, а совсем в другом...

Он продиктовал свое обращение в Академию. Я знал, что мне не поможет и его ходатайство с очень высокой оценкой моей работы по изданию Горького. Но его забота меня очень растрогала. Я любил

Леонида Максимовича не только, как писателя, но и как удивительного человека.

4 мая 1987 г.

И снова Л.М. вспоминал о Горьком, повторяясь:

— Когда мы поднимались от виллы в гору, Горький сказал ту самую фразу, которая потом держала меня всю жизнь на ногах и которую я вам однажды сказал, а не надо было, чтобы не приняли меня за хвастуна.

5 ноября 1987 г.

Четвертую неделю, либо в среду, либо в четверг, я появляюсь в шесть часов у Леонида Максимовича. И мы идем гулять. Ходит быстро. По улице Воровского, в переулках. Таким же быстрым темпом говорит. Рассказал о заседании экспертной комиссии в Отделении литературы и языка по выборам в Академию. Как часть кандидатур отклоняют согласно, кивком головы. В другой раз говорят: «Просил Дмитрий Сергеевич Лихачев. Рекомендуем». «Мои кандидатуры были встречены гробовым молчанием. Но о вас сказали, что оставляют, а вокруг Трубачева началась перепалка. Оставили его, но боюсь, что этот зловещий синклит провалит».

Обсудив эту тему, перешли к литературе.

- Прочитал роман Рыбакова — спекулятивен. Да и не роман это, а беллетристика на потребу. Нельзя сокрушаться над несчастной судьбой похотливого мальчика, не замечая драмы большого народа, связанной с неотвратимой необходимостью любой ценой выиграть время, создать заводы, фабрики, колхозы. Ведь в эти годы был и страшный голод, когда гибли тысячи людей, а писателю не до них.

Вот В. Астафьев — это органически талантливый писатель. Есть у него этакий блеск, естественность, природность, хотя нельзя перенасыщать произведения диалектизмами. Скажите ему об этом. Это снижает силу самой талантливой книги его «Царь-рыба». У В. Белова тоже есть «тузовые» произведения, но последний роман написан вполсилы. Евг. Носова читал мало. Ни на кого из них не похож Распутин, бесспорно талантливый и самый серьезный писатель. О Бондареве я уже говорил. По-настоящему талантлив, но с некоторых пор не появилось ли самодовольство, а это может погубить его, как писателя.

15 марта 1988 г.

На прошлой неделе Л.М. читал «Котлован» А. Платонова. Пожаловался, что читал с большим трудом... «Есть какая-то нарочитость во всем... Не могу читать...»

Сегодня, когда по телефону я на его вопрос, что нового в литературе? — ответил: «Все читают “Чевенгур”, он переспросил: «Хорошо написано?» Я ответил, что в той же манере, что и «Котлован». Сказал, что, понимая право писателя и так видеть, и так изображать нашу жизнь, я никак не возьму в толк, столь ли примитивными были люди, давшие миру Толстого и Достоевского, сознавшие новое общество и мощное государство? Конечно, народ многолик и противоречив, рядом с умным есть и дураки, с работающим — пьяницы и балаболки, — но кого же больше? Видел и сам таких, каких изображали Горький, Шолохов, Малышкин, Леонов. Теперь сомневаюсь, были ли такие или большинство за платоновскими типами?

Л.М. ответил: «Не понимаю, чем продиктованы произведения А. Платонова? Неприятием общества? Неверием в людей? Презрением к ним? Может, усталостью и равнодушием? Как бы то ни было, читать его тягостно».

18 марта 1988 г.

По телефону Л.М. спросил, кто это написал в журнале «Москва» статью «Встречи с Леонидом Леоновым»?

Сказал, что прочел с интересом. Обычно статьи о себе читает с раздражением, а здесь по делу. Подумал об Ольге Михайловне, но у автора другая фамилия, что и сбilo с толку. Решил, что склероз, забыл, кому все это говорил.

Узнав, что она в Греции, просил передать спасибо и сказать о готовности выполнить ее просьбу о продолжении беседы.

23 марта 1988 г.

В пять тридцать вместе с А.А. Михайловым и Вяч. Шугаевым пришли к Леониду Максимовичу. Он был в ударе и говорил обо всем. Меня предупредил, чтобы я не удивлялся тому, что часто повторяется в разговорах.

Вот некоторые мысли, записанные мною во время разговора.

— Горький называл меня превосходным сюжетником. Но ведь это жизнь лепит так здорово сюжеты.

— Самое сильное в пьесах Горького — напряжение поединка в диалогах. Но важен тон. Ошибка нынешних режиссеров, не исключая и Товстоногова, — крик в спектаклях. А кричать не надо. Можно крикнуть: «Пошел вон!» А можно и иначе: «Так как у меня болит сердце, прошу — уйдите!» И во втором случае действие будет сильнее. Понимаете?

— Да, в одном из писем я сказал Горькому, что «жалко, что мы не договорили». Горький: «Да». И спросил: «О чем?» Признаюсь, я хотел сказать ему: «Не приезжайте!»

— Разве все писатели могут не работать, чтобы прожить? Большинство же членов СП не работают. Талант надо поддерживать, но именно талант. А у нас в писательской книге десять тысяч фамилий. Чем занимаются эти люди?—

Потом стал рассказывать о взаимоотношениях со Сталиным, многое из этого я слышал раньше.

Снова вспомнил, как В. Катаев написал против него статью.

Рассказал, что вынужден был сочинять сценарии, а Пырьев ставил по ним короткие фильмы, не указывая настоящего имени сценариста.

Написал Сталину, не подучив ответа. А затем телеграмма Храпченко, что нужна пьеса. Как вернулся в 1942 г. в Москву, уговорили его прочесть пьесу в ЦДЛ и разделали под орех. Сидел с другом за рюмкой водки, закусывали луковицей. Звонок Поскребышева, а потом Сталин, похваливший пьесу и пообещавший помочь ее поставить.

Я спросил: «Леонид Максимович, ведь вначале в пьесе были политические мотивы ареста?»

— В первой редакции, но из осторожности в окончательном тексте я сам это убрал, — ответил он.

29 марта 1988 г.

В прошлый раз, когда мы гуляли, Леонид Максимович сказал:

— Странно, на прошлом съезде писателей Ю. Верченко уговорил меня подойти к Горбачеву. Тот сказал, что давно мечтает со мной познакомиться, поговорить. Вот уже почти два года не может найти времени.

Но вчера в Художественном театре был вечер в связи со 120-летием Горького. В президиуме были Горбачев, Яковлев, Воротников, Ненашев и другие. Между Леоновым и Горбачевым сидел Г. Марков. который не отодвинулся, когда они заговорили между собой.

Сегодня Леонид Максимович позвонил мне в 8 утра:

— Я вчера был на вечере. Ах, вы тоже были? И сидели в президиуме? Как же я вас не видел? А ведь в моем разговоре с Горбачевым и вы фигурировали. Дело в том, что «голоса» передавали о том, что в США предпринимается полное издание писем Горького, якобы Гарвард располагает большим количеством автографов. Михаил Сергеевич спросил, что я по этому поводу думаю. Я ответил: «Надо посоветоваться с А.И. Овчаренко, он — лучший в нашей стране знаток Горького и сейчас занимается подготовкой писем к изданию. Конечно, американцы попытаются опубликовать письма, которых мы до сих пор не печатали из-за политических соображений. Но мы, — сказал я, — не

должны бояться печатать письма, не совпадающие с официальной ортодоксальной точкой зрения. Писатель имеет право на политические оттенки, поиск истины, даже заблуждения». На что Михаил Сергеевич заметил, что надо вернуться к этому вопросу, пригласив специалистов. Он сказал об этом А.Н. Яковлеву. Имейте это в виду. Видимо, вас в ближайшее время пригласят.

Потом заговорил о том, что новое здание театра МХАТ ему очень не понравилось. Мрачное, темное, как склад...

4 апреля 1988 г.

Вчера я прилетел из Иркутска, где виделся с В. Распутиным, В. Астафьевым и другими русскими писателями. Как только позвонил Леонид Максимович, он забросал вопросами: «Как здоровье В. Распутина? Не жалуется ли на травму, пишет ли? Как к нему там относятся?» Сказал, что завтра приду и все расскажу.

Пришел и сказал, что вернулся в очень тяжелом настроении. Мне кажется, что В. Распутин живет в полной изоляции, что местные власти рассыпаются перед ним в любезностях, но в душе едва ли жалуют, т. к. ничего не делают для реализации его просьб не о себе, а о городе. В городе дефицит продуктов, воровство и т. п. Литературное окружение — тоже непросто. Думаю, что некоторые завидуют его талантности. Хотя сам В. Распутин не жаловался, но в его глазах такая тоска.

Я сказал, что в Иркутске неожиданно для себя столкнулся с каким-то яростным отношением ко всему нашему прошлому. Особенно, со стороны тамошних евреев. Л.М. заметил, что и в Москве готовится какой-то документ с нигилистическим отношением к нашей истории и — вдруг взорвался:

— Да так оно и должно быть. Еще Ленин ненавидел Россию и русский народ. Не от хорошей жизни он написал «О национальной гордости великороссов». Только из политических соображений, в душе считая величайшим предрассудком эту самую гордость. И Троцкий так считал, и Сталин, и Хрущев. Дорогой Александр Иванович, поймите: ведь формула «Сталин — это Ленин сегодня» была абсолютно верной.

Выслушав рассказ о моей беседе с секретарем Иркутского обкома о том, что ни одно решение Политбюро по Байкалу так и не выполнено, а «верхи» истекают словами, Л.М. с горечью сказал:

— Топят все в словах либо от бессилия, либо... решили покончить с советской властью. Нет альтернативы между советской властью в том виде, в каком она ныне влачит свое существование, и полным развалом хозяйства. Так как же восстанавливать настоящую советскую власть, обуздать бюрократию?

Услышав, что в Иркутске я познакомился с экономистом Антоновым, спросил:

— Что за человек? Меня очень заинтересовали его статьи.

Недоумевая по поводу дифирамба, спетого Ф. Бурлацким в честь Хрущева, Леонид Максимович назвал последнего «бездарным самородком».

На мои слова о талантливости драматурга Вампилова, его способности заглядывать под корку фактов и в обыкновенном обнаруживать значимое, Леонид Максимович ответил:

— Я читал его пьесы, но как-то они меня не заинтересовали. Из всей этой грозди считаю самым талантливым В. Шукшина. Очень острый глаз, чуткое ухо.

Опять заговорили о В. Астафьеве:

— Если бы ему побольше культуры при его-то таланте, может быть, его бы не распирала так любовь к Макарову? А то ему кажется, что в лице этого критика явилась ему сама культура. Разве был он таким человеком, перед которым так надо склоняться?

14 апреля 1988 г.

Гуляем с Леонидом Максимовичем. Он почувствовал слабость. Вернулись домой и сидели за чаем, беседуя часа три. Я передал ему содержание своего разговора с Василием Беловым, в частности, сказанные им слова: «Русский народ полег на полях брани, тот, что остался после Гражданской войны и коллективизации».

— Ну, если В. Белов так думает, тогда у русского народа не осталось никакого будущего, ждать нечего, — заметил он.

Очень сердито отозвался о только что появившейся в «Правде» редакционной полосе:

— Неумелая, бестактная, грубо попирающая элементарные нормы демократии, подносящая кулак к носу каждого, кто думает не так, как автор ее.

Заговорили о негативной оценке, ныне распространяемой такими, как Н. Анастасьев, В. Коротич, на всю советскую литературу предыдущих десятилетий. Протестуя, все же согласился со мной, что и Горький, и он, и даже Шолохов думали о нашем человеке, преувеличивая его достоинства, его новые качества, его идейную устремленность. Я покался и в своих грехах в этом плане. Согласился и с моим утверждением, что мы не извлекли для всего нашего дела уроков из того, о чем Горький говорил в «Несвоевременных мыслях». Оставил ему эту книгу почитать.

16 апреля 1988 г.

Погуляли часик, сели пить чай. Во время прогулки я рассказал то, что знаю якобы о беседе В. Белова с М. Горбачевым, продолжавшейся полтора часа в пятницу. Василий Иванович откровенно сказал, что народ русский истаивает, что сегодня ничего не поставлено на пути

геноцида. Л.М. прервал: «А я во время беседы в Художественном театре рассказал Горбачеву, как Хрущев присылал ко мне Шепилова и я тому сказал: “Передайте Никите Сергеевичу, чтобы он не пренебрегал русским народом. Этот народ еще может пригодиться!”». За это меня потом вычеркнули из общественной жизни.

Я спросил, что ответил Горбачев?

— Ничего. Промолчал, никак не выразив своего отношения. Знаете, В. Белов поступил правильно, решившись на полную откровенность. Может быть, Михаил Сергеевич находится в плену «нечистых сил»? Возможно, и я бы решился на откровенность, если бы он меня принял. Но напрашиваться не буду, особенно после статьи от 5 апреля в «Правде» — нечестной и нечистой, и верноподданнического шума, поднятого вокруг нее. Не могу согласиться и с чисто утилитаристским подходом к литературе. Настоящего-то пока ничего нет. Что сейчас читают? Поднимают шум вокруг Платонова, а я не осилил «Чевенгур» да и «Котлован». Блевотный, искусственный, выдуманный язык. Я не думаю, что на этом языке он смог бы говорить с женой, детьми. А почему считают, что с читателем можно? Не могу согласиться с вами, будто многое в творчестве Платонова — от Щедрина. У того было и чутье, и такт, и мера в употреблении вывернутых слов.

После чая началась исповедь о своем творчестве. Л.М. сказал, что, может быть, после него из его произведений ни одно не останется.

— Я делал их честно, но делал из материала обжигающего, материала нередко остававшегося непонятным и мне. С бесчисленными изъятиями, оглядываясь то и дело на цензуру. Что уж скрывать: пугали беспрерывно и бояться было чего. Бабка Ванга сказала, будто пять раз смерть дышала на меня холодом, проходила рядышком. Думаю, больше. Один из таких случаев — у Горького — те секунды, которые я выдержал, глядя в глаза Сталина. Другой случай, когда Берия сказал, что надо бы «копнуть» Леонова. Сушил я сухари и после того, как Молотов подписал постановление о снятии «Метели» как контрреволюционной. Кстати, в 1944 году, когда приезжал де Голль, я был приглашен на прием. Он проходил в доме на Спиридоньевке. Стою. Идет Молотов. Остановился, спрашивал, как я живу. «Хорошо». — «Хорошо?» «Да, у меня все есть». Прошел. О чем думал? Возможно, удивился, что, несмотря на подписанное им постановление, живу хорошо. Хотелось бы знать, как он в последние годы относился к Сталину, после ареста его жены. После смерти самого Сталина?

— Насколько я знаю, остался до конца верен Сталину, вел себя по отношению к нему безупречно. Не называл его ни мерзавцем, ни негодяем. Да все эти слова «страшный», «жестокий» и т. п. по отношению к таким людям и не применимы. Шекспировские характеры не определяют отдельной доминантой. В древние времена изобретались более точные определения вроде — «бич божий».

Стали говорить о «Несвоевременных мыслях» Горького.

— Да, начитался я. Все прочел внимательно. Какая трагедия! Автор «Матери»! «Мать» — это мать человека. И вдруг, когда его мечта стала сбываться, когда его человек на всех парах устремился к тому, к чему его звал писатель, он, писатель, дико испугался, стал хвататься за буфера, чтобы удержать от того, к чему сам упорно призывал. Дико растерялся. Когда мы напечатаем и эти статьи и, особенно, его письма без купюр, — это будет совершенно другой Горький, неожиданный Горький. Когда Ленин устремил своих сторонников, да еще с оружием в руках, к социалистической революции, Горький только тут увидел, что значит Ленин, сколько опасных взрывателей на этой его идее. Он перепугался: «Что же это будет?» Я же думаю о страшных внутренних перепадах, терзавших душу Горького в последние два десятка лет. Помню, как в 1931 году, собираясь домой, он выбросил горы бумаг за окно дома в Сорренто и, безоглядно радостный, поджег их. Одну из машинописных страниц я вырвал из огня и взял на память. Он ехал радостный, несмотря на нашу стычку, он был предельно внимателен и нежен. Ведь после чтения им «Сомова» я промолчал.

А ведь еще три года назад, когда я на его вопрос о том, что нового у нас тут, ответил: «Да вот, ловят вредителей», он, глядя в окно, приобнял меня правой рукой, а в левой держа мундштук с сигаретой, сказал: «А я думаю, нет ли вредителей в этом самом учреждении». И махнул головой вверх. И вот... неожиданная ситуация... чуть не каждый день встречается со Сталиным в вурдалачном особняке Рябушинских, говорят на «ты», перебивая друг друга. И так год, другой, хотя Сталин становится все холоднее, сдержаннее. Бегают вокруг Бухарин, Радек, Ворошилов, переводят в нужную минуту обостряющийся разговор на литературу. Им лестно все же, что с самим Горьким или пусть подмоченным, но графом А. Толстым они на равной ноге. А вместе с тем, потихоньку вводят дистанцию, приучают писателей к ней. Как-то А. Толстой, в присущей ему амикошонской манере, сказал: «Вот, Климент Ефремович, собираюсь позвонить вам и зайти поговорить...» И вдруг тот в ответ: «А зачем звонить, зачем заходить, зачем говорить? Не надо». Понимай в меру ума. Можно понять, что сейчас и поговорим. Но разговора-то больше не было.

А потом настала очередь «поставить на место» и самого Горького. Я рассказывал вам, как в 1934 году пришел к Горькому неожиданно. У него собрались ученые. Он вышел, извинился, попросил меня пройти в библиотеку посмотреть новые книги. Я склонился над одной редкостной книгой, поднялся, чтобы пройти с нею к окну, и... столкнулся глазами со Сталиным. Он смотрел на меня, явно забавляясь моей растерянностью. Быстро вышел Горький: «И.В., сейчас я провожу собравшихся у меня ученых». И ушел. А те, видимо, разговорившись, не могли остановиться. Немного подождав, Сталин ушел, никому ничего не сказав. Когда Горький вошел снова, я только развел руками. На следующий день позвонил Поскребышев, сказав, что Сталин ждет

Горького. Он уехал немедленно, вошел. Поскребышев извинился: «Пока вы ехали, к т. Сталину неожиданно явились военные. Он просит вас подождать». Горький прождал сорок минут. Поскребышев несколько раз ходил к Сталину, а потом сказал, что «т. Сталин сегодня не сможет вас принять».

Вот... удар... Какая жестокая мстительность, а?

И что испытал Горький? Вижу его, как он стоял. Шадровские усы, сощуренные глаза. Мягкие туфли. Шляпа с полями на два пальца шире обычных. Европейский человек. Тонкий ценитель всего прекрасного. Как никто, понимая Достоевского, спорил с ним. И вдруг — поворот судьбы. Он, этот красавец и аристократ духа, пишет о Сталине, что «вот уже десять лет он замещает Ленина на труднейшем посту вождя партии», с трибуны писательского съезда заявляет о «неутомимо и чудодейственно» работающей «железной воле Иосифа Сталина», даже поступает ради дружбы с этим человеком своими литературными вкусами, в общем остававшимися безупречными. Ведь и в его отзыве о третьем томе «Тихого Дона», и в его письме о «Дороге на Океан» произошли сбои. Не пойму, что продиктовало ему неотправленное мне письмо о «Дороге на Океан»: его предложение «втянуть» подстрочный текст в роман или даже издать его отдельной книжечкой.

Тут я вмешался:

— Да ведь это мнение Сталина, а Горькому сообщил его Щербаков.

— О! Ведь мне Щербаков давал такой совет, повторив: «Ваш роман читали и надумали... как вы отнеслись бы к мысли перенести подстрочный текст в основной?» Я решительно отказался... Да, а с каким подъемом ехал А.М. в Москву в 1931 году, на крыльях летел... шутил, смеялся. В Мюнхене водил нас пить пиво. В ту самую пивную, где позже Гитлер начинал пивной путч. Да, повороты судьбы...

Мне рассказывали, что как-то после заседания в «Наших достижениях» он сказал: «Со всех сторон обложили». Последнее его время перед уходом было тяжким. Он оказался в изоляции. А ведь он так любил, чтобы было вокруг много людей. Вообще это была широкая натура. Денег никогда не жалел, помогал всем.

13 мая 1988 г.

Встретил в Союзе писателей Виктора Астафьева. Как мне показалось, он обрадовался и полупшепотом сообщил:

— Жду сигнала. Должна произойти беседа с «самим». Возвращаюсь из Америки.

— Пойдем к Леониду Максимовичу, познакомимся.

— Хотелось бы. Да вот должен ждать сигнала по телефону. А позвонят они сами.

Через пять минут выяснилось, что Михаил Сергеевич принять сегодня-завтра не может. И мы отправились к Леонову. По дороге

Астафьев рассказывал о своем горе — смерти дочери от инфаркта, о болезни жены, говорил о сыне, внуке — в общем, о семье, что его очень волновало.

Я потерял вход в дом Леонова. Это развеселило Виктора Петровича, и мы как-то легко вошли.

Леонид Максимович сразу заговорил о главной своей заботе:

— Россию спилили, как дуб, а чтобы не пустила новых ростков, в пне пробурили дырку и всыпали порошка, который проест до самых кончиков корней и все расползется. Задели ген. Вы верите в возрождение нашего народа?

— Да ведь народа-то нет, — ответил Астафьев. — Остались лоскутки. Ну, немного в Сибири, но ее тоже приканчивают. Хочу поговорить с Михаилом Сергеевичем. Просил об этом А. Яковлева, тот обещал устроить встречу. Я заметил, что не о литературе буду говорить, а только о Сибири, России, об отношении к ней. Придумал четыре вопроса.

— Поговорите, но учтите и мой опыт. Я постоянно помню об этом. Хрущев прислал ко мне Шепилова, чтобы узнать, что я думаю, а потом, после моих слов о значении русского народа для всей страны, больше меня не замечал. Загадка?

— Но надо говорить, кричать — пока не поздно: что делают с природой, землей, недрами...

— А вы ничего не боитесь?

— Боюсь. Не дай Бог нам русского Пиночета. Ведь требование расправиться со многими из нас звучит все сильнее. Меня грозят убить грузины. Грозятся евреи. По ночам звонят и угрожают. Письма с угрозами. Да ну их к черту.

Л.М., я восхищен вашими публикациями из романа, вы мне о нем расскажете?

— Да что ж рассказывать? Задумал я его в 1939 году, написал 5 листов, отвлекся на «Русский лес», потом переделывал «Вора». И вот у меня уже одна, другая, третья редакция. А читанные вами отрывки — это вставные новеллы, как в «Барсуках», четыре их, а основное повествование обросло со всех сторон. Как я справлюсь? Напечатано не будет.

— Я особенно люблю «Евгению Ивановну», — сказал Виктор Петрович. — Когда прочел, обомлел. И есть там что-то глубокое, до чего никак не доберешься.

— Вот-вот. Я считаю, что у каждого настоящего писателя в каждом произведении есть тайничок. Все — в нем, и все — ради него.

— Меня часто угнетает написанное мною, приводит в отчаяние.. да и грамоты не хватает, знаний.

— Я тоже испытываю часто отчаяние. Но работаешь, работаешь... и вдруг озарение — все проясняется.

Леонид Максимович сказал:

— Но «Печальный детектив» бесформен, публицистичен, хотя своевременен и написан горячо.

— Я из рукописи вычеркнул 10 листов. У меня там были такие страшные эпизоды, что сам Достоевский содрогнулся бы. Но не мое это дело собирать страшное. И без того ворчат: сгреб всю грязь, чтоб измазать народ...

Поспорили о диалектизмах.

Виктор Петрович:

— Теперь я меньше нагнетаю диалектные слова, хотя и жаль — они придают яркость, свежесть.

Потом удивительно пересказал содержание и художественные достоинства виденного им в Латинской Америке фильма «Последний император». Оба обругали и «Котлован», и «Чевенгур». Виктор Петрович сказал, что «не осилил», а Леонид Максимович — это невозможно читать. Зачем подавать на стол хлеб, не стряхнув прилипших опилок, стружек?

Коснулись вопроса, кто пишет, а кто не пишет.

Л.М. сказал:

— Мы-то с вами знаем, что настоящий талант требует полной самоотдачи. И он одолеет все, если настоящий. Вот, некоторые пьют... Пьют, когда есть трещина в таланте, ее заливают, чтобы не была видна. Были свои причины пить у Фадеева, Шолохова, Твардовского — здесь другое. Но Пушкин не пил, Достоевский, Бальзак — нет.

Заговорил о Маркесе: «Пока читаешь — интересно, дочитал — что осталось?»

Л.М. показал альбом «Баня», уговорил написать и меня, и Виктора Петровича.

Виктор Петрович спросил, верит ли Л.М. в закономерности?

— Что понимать? Закономерность: пролетела комета, и полезли тираны Гитлер, Муссолини, Сталин, Мао, Пиночет, Пол Пот. А в мистику вы верите? У Августина есть фраза, что ничего-то мы не знаем. Но мы-то знаем кое-что.

— Да вот было в армии. — И Астафьев рассказал, как однажды испугался идти через заросший бурьяном бугор, расстрелял его и вернулся, а утром оказалось, что холм начинен минами.

— Есть в мире всеопределяющий иероглиф, — сказал Л.М. и перевел разговор на трагическое будущее, ожидающее человечество через десятилетия. Вся трудность перестройки в том, что мы жрали семьдесят лет недоброкачественную политику, ею питались, из нее чеканили фальшивые купоны, а усомниться в них не позволяли портреты Маркса, Энгельса, Ленина.

Тут Виктор Петрович отошел к телефону. Мы с Л.М. перекинулись несколькими фразами. Л.М. сказал, что Астафьев не только талантлив, но и умен.

— «Царь-рыба» — вещь блистательная сама по себе. Язык у него превосходный. Одно слово я придумал, употребил в романе и вдруг встретил в «Царь-рыбе». Пришлось у себя вычеркнуть. Почему? Не заимствую найденное другими.

— О чем говорите? — спросил В.П., возвратившись.

— Л.М. тебя хвалит.

— Вы по-настоящему талантливый, — сказал Л.М.

— Спасибо. Для меня это отличная поддержка, хотя я вижу, что неровно написал и «Царь-рыбу», там есть и провалы. Культуры мне не хватает.

15 мая 1988 г.

Л.М. говорит, что в его романе речь идет о больших, чуть ли не космического масштаба потрясениях, включая сейсмические катаклизмы, экологию, перенаселенность планеты, катастрофическое положение культуры и многое другое.

— Ясно, что ваш итоговый роман является результатом долгих и мучительных раздумий о смысле жизни, о сущности человека, об устройстве общества. Я благодарен судьбе, что мне повезло постоянно общаться с вами, присутствовать на ваших беседах с писателями. Встречи с вами всегда заставляют отойти от обыденности, бытовой суеты и задуматься, для чего ты живешь. Многие из тех, кто приходит к вам, в том числе и большие писатели, по-моему, очень волнуются, боятся попасть впросак, не соответствовать. Наверное, даже молятся...

Кстати, Л.М., а как вы относитесь к религии? Какую роль она играет для вас? Как вы оцениваете теперешнее массовое «хождение в религию»? Может быть, это очередная инициатива «верхов»? Сначала заставить народ отказаться от веры. А теперь хотят дать религию, чтобы народ смирился, терпел все, что будут творить. Ведь атеистам навязать веру нетрудно, но это не та вера, что каждый приобретает, приобщаясь к святыням, искренне, с болью, с желанием послужить Богу и людям, жить по совести и милосердию. И возможно ли народу стать верующим, когда одновременно начали вести целенаправленное разрушение нравственных основ его жизни, тех религиозных заповедей, что и коммунисты вынуждены были учитывать в своем «моральном кодексе»?

— Думаю, что православие необходимо и полезно для духовного единения русского народа перед надвигающимися катастрофами. Самое страшное, что не укреплено человеческое начало в людях. Человек, открывая атомную энергию, не создал перед тем себе хорошего умственного и нравственного хозяйства. И это может обернуться страшным развитием событий.

Может быть, теперь православие — единственный способ восстановления русского народа. Мы — большой народ, в какой-то мере

раздробленный множеством других наций. Но тут важно еще — кто ведет церковь. Где Сергии Радонежские? Где настоящие проповедники и пастыри, заботящиеся о судьбе русского народа?

А то ведь суетливые Мени воцарятся в церкви, расколют ее и внесут только смуту и отчаяние в душу православных. Ведь большинство русских были «сделаны» атеистами, а таких легче всего приобщать к любой ереси, сектантству, так как они далеки от православного просвещения и ни в чем не разбираются, а хотят приобщаться. «Церковь должна быть воинствующей», — я поддерживаю это. Общался я с владыкой Питиримом, игуменом Андроником, внуком отца Павла Флоренского, и другими священниками. Нельзя простить властям уничтожение священников, многие из них были настоящими пастырями. За это еще воздастся не только советской власти, но и всем нам, позволившим уничтожать священников. В «Пирамиде» у меня есть эта тема. В XXI веке будет страшная вспышка веры.

14 мая 1988 г.

О взаимопонимании Леонид Максимович размышлял:

— Я учился в гимназии, а Горбачев в комсомольской школе — возможно взаимопонимание?

— Разве дело в этом? — сказал я. — Если даже не учился в гимназии, трудно понять этих «держателей» советской власти, разваливающих ее. Может, их в подобных «школах» переподготавливают на антисоветчиков? Смотри кто учит, какова профессура. Вот до войны рассадником сплоченных и нацеленных на ключевые властные посты кадров был МИФЛИ, который возглавляла сестра Землячки, руководившей расстрелом тысяч русских военных в Крыму, а потом, в военные годы, бывшая замом у Шкирятова в Комиссии партконтроля ЦК. В этот институт русских парней почти не брали. После войны кадры формируются на гуманитарных факультетах МГУ. Я давно профессор этого университета, но всегда уклонялся от работы в приемной комиссии. А другие из года в год сидят в приемных комиссиях, чтобы провести всех «своих» и отсеять чужих. Пора бы уже принимать всю молодежь, а потом отсеивать нерадивых за непригодность.

Стали обсуждать, как рождаются мифы — из ничего или чего?

Вновь я просил Леонида Максимовича поспешить с публикацией романа. Я уговаривал его, несмотря на то, что редактор одного журнала сказал мне, что в ЦК ему советовали: «Боже тебя упаси получить роман у Леонова» Однако какая жгучая ненависть у этих «руководителей культуры» к Шолохову и Леонову! Ведь именно в Отделе культуры мне «разъясняли», что не надо публиковать материалы профессора Хьетсо, отвергавшие обвинения Шолохова в плагиате. Под предлогом — «никто и не сомневался в авторстве

Шолохова». Настоящие-то специалисты не сомневались никогда, но продолжают другие публикации, подобные слухи постоянно распространяются в обществе. Каково Шолохову?

А Солженицын благословил клевету на Шолохова. Чем это объяснить? Некоторые считают, что завистью. Ведь, как художник, он слаб. Он и политик, и в политиканстве мастер. В ранних рассказах проглядывала возможность стать настоящим писателем. Но и то — замахнулся на изображение судьбы человека из народа, а мелкость изображенного объекта подрывает само понятие человека. Может, свою психологию лагерного приспособленчества отразил? Встречал я русских людей, которые прошли эти страшные лагеря, и поражался их возвышенной душе, их оптимизму. Андрей Соколов у Шолохова тоже из тяжких испытаний, а именно он, а не Иван Денисович передает нам дух времени. Никто не оспаривает реалии изображенного Солженицыным лагерного быта, но ему не дался образный портрет того времени. Художник — не бытописатель, а ваятель образов, через которые бьется время.

Леонид Максимович сказал:

— Когда я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», то это было для меня потрясением. Но не в художественном плане, а в политическом мышлении. «Красное колесо» и другие его произведения я уже одолеть не смог, хотя и пытался. Солженицын — не художник, но серьезно смотрящий на жизнь общества литератор, политический мыслитель.. Он берет важные тезисы, которые требуют большой ответственности и зоркости. Когда прикасаешься к великой трагедии народа, должны быть чисты помыслы — будто ты на костер идешь. Никакой спекуляции, желания что-то выиграть, кому-то услужить.

— Читатель любит критикующих и критиканов и часто не задумывается, во имя чего ведется критика, что может последовать за ней и кому она в таком виде выгодна. Отрицательное изобразить легче, чем положительное. Может, задача честного художника заключается всегда в том, что он должен заботиться о душе читателя, чтобы ее не опустошить, не ввергнуть в отчаяние, не сократить просвет в темном туннеле. Важна цель — во имя чего Солженицын проявил смелость?

Май 1988 г.

Разговор по телефону.

Леонид Максимович:

— Трудно не понять тех русских писателей, которые, живя на своей земле, не пожиная лавры за рубежом, так как не чернят свою Родину, испытывают постоянно чувство ненужности, ущемленности. Их обходят, не замечают, ругают за малейшую попытку сказать правду об истории, своем народе, жизни. Диссиденты в чести и за рубежом, да и здесь только и разговоры о них. За то, что они чернят все подряд —

политику, коммунистов, бескультурных дикарей — русских. Но если русский писатель, любящий свою землю, попытается что-то действительно отрицательное в нашей жизни критиковать, то ему достается побольше, чем диссидентам, жирующим на антисоветизме и антируссизме. Попробуй напечататься, пройти через цековских политцензоров, через мелких критиков, злых и подлых, выполняющих заказ «групповщины» — не пускать! Если ты хочешь не разрушения советской власти, а только ее улучшения, если ты не русофоб, то тебе придется отбиваться не только от «западников», но и от русичей, «солнцевых внуков», готовых всегда критиковать друг друга, не знающих национального самосознания, самоподдержки.

— Да, Леонид Максимович, — сказал я, — в результате поддержки верхов, сплоченности колонны «западников» или как их там назвать, все больше газет, журналов выталкивают, отвергают настоящую русскую культуру, литературу. Благодаря отличной организованности, протрубят о юбилее, о величии, покажут и расскажут такое о бездарных «талантах», что поверит не только рядовой читатель. Профессор начинает сомневаться — может, чего-то не понял, когда улыбался над попыткой вдвинуть Высоцкого, Окуджаву в ряд Пушкина?

А сколько больших русских писателей, которых интересует не собственный интеллигентский пупок, а судьбы русского народа и других народов, испокон веков живущих с ним рядом, замалчиваются. Даже тогда, когда блистательно появляются целым течением «деревенщики». На них смотрят, как на инородное для литературы тело. Комедия. Где чувство меры? Переделкинское сознание «детей Арбата» подавляет настоящую русскую литературу.

А ведь поколение, которое на своих плечах вынесло войну и победило, воспитывалось, кстати, вне зависимости от национальности, на великой русской культуре, которую создавали и не только русские. Возьмите советские песни. Ведь многие авторы их евреи, а хвала и честь им, они были патриотами той земли, где родились, какая бы она ни была. Отсюда — нравственное здоровье поколения.

А что теперь будет? Какое поколение, возрастающее уже не на той культуре, придет?

20 мая 1988 г.

Я позвонил Леониду Максимовичу, чтобы сообщить, что завтра уезжаю в Дубровник на конференцию выпускников Вильсоновского центра. Когда-то я стажировался в Вашингтоне в этом центре и вдруг стал «выпускником».

Леонид Максимович был удивлен и сказал, что обычно выпускники американских центров «имеют другое дыхание». Я отшутился, сказав, что американцы меня явно недоучили и недовоспитали, но все-таки

поеду на встречу, чтобы немного передохнуть и посмотреть, говорят, красивейший Дубровник.

21 мая 1988 г.

Только я высадился в отеле «Аргос», как встретил Володю Солоухина, хотя он и не был «выпускником». Обрадовался и провел в его обществе несколько дней. Когда мы оставались вдвоем, то говорили об очень личном.

Говорили и о Леониде Максимовиче. Солоухин его очень любил, как великого писателя и редкого, по-русски своеобразного человека. В течение нескольких дней в Дубровнике я наслаждался не только красотой природы и древнего города, но и лицезрением удивительного самобытного человека, слушал, иногда под плеск моря, как музыку, его необыкновенную речь, диалектное произношение, даже не «оканье», а более местное, «олепинское», что ли, когда в начале слова слышится не «о», а «у» — «убязательно», «упешил». На мое замечание Солоухин ответил, что у меня точный слух, если уловил эту особенность их говора.

Обычно же нас постоянно окружали «выпускники» — слависты. Чаще других — Михаил Давыдович Левин из Иерусалима, Питер Редуэй — из Вашингтона, Франсуа Конт из Сорбонны. Разговоры, разговоры... Больше всего о политике, о нашей стране.

Как-то Питер спросил:

— Отчего это у вас всегда чего-нибудь недостает?

— Оттого, — всерьез отвечал Солоухин, — что считать у нас настоящему не умеют. Вот, скажем, туалетная бумага. Почему ее не доставало? Потому, что планировали расход по головам. А голов-то оказалось куда меньше, чем ж...

Ох, и смешно же они захлопали глазами — и Конт, и Питер. Только Левин, выехавший из России, все понял и захохотал.

Я Володе сказал, что у России так много заботников, они так неотложно думают о ней, чтобы в случае чего немедленно помочь ей советом, что нам лучше отдохнуть, не сидеть на конференции, погулять по городу, купаться, сидеть на пляже. Так мы и сделали.

По приезде домой позвонил Леонову и рассказал, что было в Дубровнике. Конечно, и анекдот озорной Солоухина, что развеселило Леонида Максимовича.

26 мая 1988 г.

Уже в шесть утра мы вместе с дочерью Ольгой приехали в город Горький, где в очередной раз проводились «Горьковские чтения», а я среди других выступал докладчиком. Вместо заключительного слова

отвечал на главный вопрос — забыт ли Горький, надо ли его защищать от начавшихся нападок.

На юбилейном заседании во МХАТе Горбачев якобы сказал: «Что, уже и на Горького нападают? Надо защищать. Я пришел поддержать вас».

Да, идут атаки против Горького. Ф. Искандер, «Удавы и кролики», редакционное выступление «Юности», Д. Лихачев о «Докторе Живаго» и «Матери» («Огонек») и другие. Мне кажется, что это лишь начало. И это на фоне того, что повсюду за рубежом не падение интереса к Горькому, а рост его. Дело не в том, каковы достоинства Горького-писателя. Здесь — политика и мелкое разрушительное политиканство. Все сокрушается, если разрушить святыни, справедливо считает Леонов.

Я вспомнил слова Леонова, который совсем не однозначно относился к Горькому, но мудро считал, что есть писатели — они в истории останутся не сами по себе, а как олицетворение целой эпохи, выражение жизни народа на определенном этапе его развития. Бесполезно их отодвигать от истории русской литературы, они-то и составляют эту историю.

Думаю, что и сам Леонид Максимович из плеяды таких писателей. Горький не случайно сказал Сталину, что Леонид Леонов имеет право говорить от имени русской литературы. А ведь тогда еще не были написаны ни «Русский лес», ни «Пирамида».

Конечно, все не так просто. Сам Леонид Максимович в беседе с болгарским профессором Христо Дудевским, моим учеником, заметил: «Художник — зеркало определенной кривизны. Он никогда не даст точное отражение эпохи потому, что эпоха делается на тысячах координат, а художник, в лучшем случае, на десяти. Но его произведение значительнее, чем документ».

Июнь 1988 г.

Составил «вопросник» из 23 конкретных вопросов. Леониду Максимовичу о его произведениях. Он отвечал на них. Необходимо это знать от самого автора для моей будущей работы о нем.

В последнем вопросе о «Русском лесе»: «По убеждению Вихрова, Октябрьская революция была сражением не только за справедливое распределение благ, а, пожалуй, в первую очередь за человеческую чистоту. Это — и ваше убеждение, больше, чем Вихрова? Образ «русского леса» — «символ такой чистоты? Духовного обогащения?»

Леонид Максимович отвечал:

— Это одна из сквозных тем моего творчества. Утрата этого символа угрожает гибелью всему. Когда в Октябре семнадцатого года мы начали все это, какой-то капилляр был нарушен. Надо сказать, какой. Поправить. У меня есть фраза, но я вам ее не скажу. Смысл же

таков: чтобы человек работал больше, чем от него требуют, нужна надежда, заинтересованность...

Вы правы, литература не может только ставить вопросы. Она должна отвечать на самые коренные из них. Я не настаиваю на безупречности, правильности своего ответа. Возможно несколько систем. Система должна быть гармоничной, ясной.

В «Пирамиде» я «хотел показать ландшафт эпохи, его философское осмысление. Может быть, это лишь версия».

Июнь 1988 г.

Опять отчего-то заговорили о критиках. Леонид Максимович вспомнил, сколько от них претерпел. Сказал, что А. Ахматова в «Листках из дневника» замечает, что О. Мандельштам «больше всего почему-то ненавидел Леонова». А Паустовский, возглавлявший «обсуждение» «Русского леса»? А Катаев?

— Леонид Максимович, это не критика, а братья-писатели. Может, зависть одолевала или еще что.

— Но и от критиков только разносы — во времена РАППа и их последователей.

— Кажется, что теперь критика более благожелательна к вам — классику. Много похвал.

— Похвалы ценны, если умны.

— Еще будут у вас настоящие критики, еще придет время. О вас трудно и боязно писать. Да и как охватить и осмыслить столь огромный мир, космос, созданный вами?

— Началось резкое снижение нравственного и мыслительного уровня общества, а критика разве не часть его?

— Нет, Леонид Максимович, надо верить в прогресс или же, если нет, то в смену миров, цивилизаций, формаций — чего там еще?

Так обрываются записи А.И. Овчаренко. В конце июня — июле их больше нет. 8 июля мы выехали в Ниду отдыхать. Сначала планировали поездку в Дубульты (возле Риги), уже были выписаны путевки, но, когда Александр Иванович пошел за ними, его в Литфонде, где выдавали путевки, почему-то стали упорно уговаривать поехать в Ниду, так как на Рижском взморье якобы грязная вода. Он позвонил мне. Как бы что-то предчувствуя, я не хотела соглашаться на замену места отдыха, но он меня уговорил поехать в Ниду. 20 июля утром после небольшой прогулки по пляжу, вошел в море, а через несколько минут его без сознания вынесли на берег. Прекрасно плавал, не был на глубине, ни инфаркта, ни инсульта. На берегу литовцы спасали его жизнь, появился пульс, но в приехавшей «скорой помощи» не оказалось прибора

импульса (электрошока). Так потерялась жизнь, все было таинственным и странным. Уходя рано утром на почту, Александр Иванович сказал мне, что видел плохой сон и, обеспокоенный — не случилось ли чего с дочерьми, которых мы не взяли с собой, решил позвонить в Москву. Успокоившись, что с детьми все в порядке, я так и не спросила, что за сон, ставший вещим, видел он.

При жизни Александра Ивановича в нашем доме всегда бывали писатели, ученые, и свои, и зарубежные. Он поддерживал отношения с большинством русских писателей, писал о них, помогал в случае с трудностями при издании, отыскивал талантливых молодых, вводил их в журналы, в издательства, всегда поддерживал в Приемной комиссии Союза писателей.

Почти не умолкая, звонил в нашем доме телефон. Но профессора Овчаренко не стало. И так уж повелось у русских — большинство тех, с кем он был связан, не утруждали себя, чтобы душевно поддержать семью, сохранить память о нем.

И только Леонид Максимович Леонов в течение шести лет после ухода Александра Ивановича ни одного дня не забывал о нас. Наверное, мы бы не выдержали, если бы этот удивительный человек не принял в нас такого участия. Доброта его была безмерной, если учесть его возраст, болезни, утраты. Нравственный облик этого старого человека на фоне все более развивавшегося в это время бездушия, озлобления, общественной ломки, оказал на меня и моих дочерей неизмеримое влияние, поддерживал нас.

Помня, как Александр Иванович хлопотал, чтобы роман «Пирамида» был издан при жизни великого писателя, я всегда спрашивала о том, продвигается ли работа. Знала, что с Леонидом Максимовичем сотрудничали многие редакторы-секретари, которые должны были помочь ему «вживить» более тысячи вставок в текст первого варианта романа, найти им должное место в огромном объеме его, — О .Я. Афанасьева, В. Хрулев, В. Дементьев, М. Лобанов.

Работала и дочь Леонида Максимовича — Наталья Леонидовна. Но роман все не был готов к изданию, считал его автор.

Настойчивую заботу об издании романа проявил Б.И. Стукалин, друживший с Л.М. издатель П.Ф. Алешкин энергично организовал атмосферу необходимости быстрого издания.

О своей роли в журнальном варианте издания романа в «Нашем современнике» рассказал недавно Г.М. Гусев, очень любивший Леонова.

Но Леониду Максимовичу нужен был редактор, способный свести воедино всю его огромную работу, обладавший математической памятью, чтобы держать в уме все эти вставки, помнить их место, разбираться во всей сложности философских поисков, теологических и религиозных (иногда даже оккультных) построений. И не повредить капилляров живого организма романа.

Те, кто знал требовательность классика не только к другим, но и к себе, могут сказать, что дочь профессора А.И. Овчаренко — доктор филологических наук Ольга Овчаренко, работавшая в течение более двух с половиной лет с Леонидом Максимовичем, не щадила своего здоровья. Автор романа подтвердил, что это его авторский текст, и думаю, что хоть в какой-то мере испытал облегчение, сняв с себя тяжкий груз неоконченной работы.

А наша семья, более 25 лет знавшая Леонида Максимовича, чем могла, отблагодарила его за доброту и величие души.

Еще и еще раз мы кланяемся великому писателю Земли Русской, Мудрецу и Провидцу.